

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ф.Я. ЧЕРОН

НЕМЕЦКИЙ ПЛЕН И
СОВЕТСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

И.А. ЛУГИН

ПОЛГОТКА СВОБОДЫ

YMCA-PRESS



ОСНОВАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

6

YMCA-PRESS

11, Rue de la Montagne-Ste-Geneviève – 75005 - Paris

Ф.Я. ЧЕРОН

НЕМЕЦКИЙ ПЛЕН И
СОВЕТСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

И.А. ЛУГИН

ПОЛГЛОТКА СВОБОДЫ

ISBN 2-85065-108-7

ISSN 0295-7469

World © by the Russian Social Fund
for Persecuted Persons and their Families

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ ЧЕТЫРЕХ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

(книги 6 и 7 серии „Наше Недавнее“)

Возьму на себя подтвердить полновесную правдивость того крайнего голодного отчаяния, до которого доходили пленники германо-советской войны в немецких лагерях. Именно это, в разных сходных вариантах, я слышал в советских тюрьмах 1945-47 годов от многих наших пленников, добровольно или насильственно возвращенных в СССР и на родине снова брошенных за колючую проволоку.

Но самых потрясающих свидетельств нам не предстоит тут прочесть. Скольким случайностям надо было сойтись, чтобы наши рассказчики уцелели. У кого не было облегчающих поворотов личной судьбы, кто испытал более ужасное и длительное — те давно в могилах. И их — м и л и о н ы, бойцов Красной армии, преданных Сталиным.

Мне уже приходилось писать в „Архипелаге“, что эти несчастные наши воины были т р и ж д ы преданы коммунистической властью:

— они были отданы в плен бездарным военным руководством без возможности сопротивляться и часто безоружными;

— отвергнув Женевскую конвенцию, советская власть отеклась от них, лишила не только помощи своей, но и международного Красного Креста, какая была у военнопленных всех других наций, поставила вне всякого статута и законной защиты — ниже уровня скотины, которую все же берегут из хозяйственного расчета;

— и вдобавок она объявила всех выживших — „изменниками“, и судила.

Думаю: и вся человеческая история не знала такого бесстыдного отношения правительства к собственным солдатам, попавшим в плен.

Наши рассказчики захватывают и смежные жизненные полосы нашей истории: чего стоила военная подготовка в СССР и вождение войск; картины военного хаоса 1941 да и 1942 годов; судьба *остовцев* — советских гражданских лиц, увезенных в Германию; безвластные, анархические недели в разгромленной Германии; затравленность во всей

Европе гонимых жертв позорной Ялты; и свирепые тени насильственной репатриации в СССР: советское „освобождение” стоило немецкого плена!

Всех этих вопросов (и к ним взывает присоединиться абсурдная и преступная мясорубка „московского ополчения”) строго запрещено касаться в СССР. Но и эмигрантская печать за десятилетия мало осветила их, — таков и по-сегодня великий страх над выжившими.

Предлагаемые две книги помогают нам заглянуть в эту черную дыру отечественной истории.

А. Солженицын

Декабрь 1986

Ф.Я. ЧЕРОН

НЕМЕЦКИЙ ПЛЕН И
СОВЕТСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ



1. ТИМОШЕНКОВСКИЙ ГОД

Попал я в плен 27 июня 1941 года, на пятый день после нападения Германии на Советский Союз. Путь, который привел меня в конечном счете в немецкий плен, начался в марте 1941 года. От Сталиногорска (ныне Новомосковск) этот путь протянулся до Белостока, где тогда проходила граница между Германией и Советским Союзом после передела Польши.

Я попал в Сталиногорск во время призыва в ноябре 1939 года. Тогда в армию призывали всех, кто раньше пользовался отсрочкой от воинской повинности. Эту группу составляли, главным образом, учителя. Много тысяч отсрочников пополнило ряды армии, это была своего рода мобилизация. Точно не помню возрастного ограничения, но мне встречались люди от 18-ти до 45-ти лет. Школы остались без учителей, но Красная армия пополнилась людьми с образованием. Сталину нужно было заполнить новой силой, новыми образованными кадрами пустоты, появившиеся после чисток 1937 года.

Советское командование наметило сделать многих из нас офицерами. По прибытии в один из полков тульского военного корпуса, части которого располагались в Туле, Калуге, Сталиногорске и Ефремове, нас начали настойчиво уговаривать поступать в военные училища для подготовки офицерского состава. Очень многие отказывались, потому что большинство не любило вообще военную жизнь.

Началась бессмысленная и, казалось, бесконечная муштровка. Сначала добровольцев в военные школы было очень мало, но под ежедневной тяжестью жестокой муштровки их процент увеличился. Помню, было и несколько случаев, когда забирали в эти школы по приказу.

Если не офицеров, то решили сделать из нас сержантов, младших сержантов и младших политруков. В нашем полку, который стоял тогда в Сталиногорске, в школу сержантов определили около 400 человек. Нас всех поместили в одно трехэтажное здание, разделили на несколько взводов и начали усиленно вгонять в нас дух безотказного повиновения. Шесть дней в неделю, кроме воскресенья (а с приходом Тимошенко на пост министра обороны и в воскресенье), нас изнурили физически и опустошали духовно. По вечерам,

когда голова уж отказывалась принимать что-либо новое, мы были обязаны присутствовать на политзанятиях.

С приходом С.К. Тимошенко бессмысленное физическое истязание еще усилилось и достигло своего апогея в зиму 1940-41 года. В стужу и морозы, которые иногда доходили до 20 градусов, в дождь и слякоть русской осени и весны — занятия всегда проходили на полях и в лесах, окружавших наши военные казармы. Часто мы уходили на несколько километров, подальше от казарм. Под команды "ложись!", "ползком!", "бегом!" выматывались последние силы. И так несколько часов подряд. Ум переставал работать, и мы как роботы исполняли команды. Иногда сами командиры видели бессмысленность такой муштровки и прекращали ее, если можно было всему взводу спрятаться в кустах или в ложине где-нибудь. Но далеко не все делали это. Они сами боялись: если внезапно нагрянет командир выше рангом, тогда попадет и ему и всем нам. Занятия в таких случаях могли продлиться на час-два. Среди особенно "заядлых" командиров выделялись украинцы, но, может быть, это просто совпадение в моем частном случае.

Зимний холод не давал стоять на месте, надо было "танцевать", чтобы ноги не отмерзли. Среднерусская возвышенность известна своими холодными ветрами и стужей. Иногда снега и мало, а холод пронизает до костей. Эти зимние дни запомнились на всю жизнь. Даже сейчас, спустя почти полстолетия, когда пишу эти строчки, мне показалось, что в комнате похолодало и стало неуютно. Можно все перенести — голод и холод, трудности и лишения, если это хоть как-то оправдывается логикой, умом. Но во всей этой тимошенковской бессмыслице не видно было ни цели, ни направления, ни результатов. На всю жизнь она отравила сознание и оторвала какой-то кусочек жизнерадости. Потом в плену пришлось пережить большие ужасы, а все же тупая муштровка оставила шрам в сознании, который не стерся и через полстолетие.

Нас выгоняли на улицу как собак, и не пускали в казармы до темноты. Это не восемь, не десять часов — а от темна до темна. Даже плохой хозяин смилуется над своей собакой, она заскулит и тронет сердце хозяина, он впустит ее в сени или в сарай. Нам же нельзя было ни скулить, ни жаловаться. Нам было запрещено и просить, и молить, и вопить. Таков был приказ бездарного наркома. Даже больных выгоняли на занятия, если температура была не выше 38,5°.

Солдатам старше 30-ти лет не по силам было это физическое изнурение. Многие валились с ног и не могли идти на ужин, просили принести в котелке "второе". Но они не могли и прилечь на кровать, это было строго запрещено. Ложиться можно было только после отбоя. Даже сесть на кровать не разрешалось. Если бдительный старшина ловил провинившегося, то наказанием была мойка полов после отбоя. А когда же отдохнуть? Когда набраться физических сил для следующего дня? В пять часов подъем, и никому никакой скид-

ки. А часто бывали подъемы ночью по тревоге. За 1-2 минуты надо было одеться, выбежать на площадку и стать в строй. Опоздавшим опять наказание. У многих солдат ночью сводило ноги спазмами, и от сильной боли сон уходил.

Пища советских солдат была бедной. Запомнился каждодневный гороховый суп. Можно сказать, болтушка из гороховой муки. Это на завтрак, и сухари вместо хлеба. На обед редко мясо, иногда рыба. Многие от той пищи страдали изжогой, но никаких средств против избыточной кислотности не было. Нельзя было даже купить простой соды в магазине. Да и когда купить? Первые шесть месяцев нас вообще не выпускали в город. Казармы окружены забором и, конечно, охраняются часовыми. Уход из казарм без разрешения пахнет военным трибуналом. Жили только надеждой, да и то загнанной поглубже, что через два года этой страшной службы опять придет свобода.

Среди нас было много людей старше 30-ти, у которых остались семьи с детьми. Молодым и неженатым было легче, мы не переживали за жен и детей. Сколько писем, полных отчаяния, получали семейные солдаты. Когда спустя несколько месяцев я уже был сержантом и командовал взводом, мне приходилось выслушивать боль и безнадежность этих писем. У многих семьи остались без всяких средств к существованию. Как прокормить детей? Как удержаться на квартире? Было несколько солдат из Москвы, чьи семьи выселяли из квартир, и бедные эти солдаты ничем не могли помочь ни своим женам, ни родителям. У меня был солдат по имени Старостин. До армии работал на подшипниковом заводе в Москве. Его семью выселили из квартиры, мольбы и просьбы помочь он получал чуть ли не каждый день, а что он мог сделать в своем бесправном положении? Какими только отборными словами он не ругал советскую власть! И почти не скрываясь. Говорил, что ему все равно, пусть судят, пусть сажают, говорил, что судьбы горше, как у него, не может быть. Знал он про концлагеря и ничего не боялся. Конечно, все дело времени, и кто-нибудь да наступит на него. Но разве он был один в таком положении? Их были тысячи. Полное бессилие как-либо помочь семье да и себе самому давило дополнительным грузом на голову солдата. А куда денешься? Бегств из нашего полка было немного. Отчетливо помню бегство одного татарина. Что случилось с ним, трудно сказать. Официально нам объявили, что его, мол, поймали и дали десятку. Пойди проверь.

Бывали и самоубийства. Обыкновенно часовым, охранявшим военные склады или другие военные объекты, давали настоящие боеприпасы. Вот один из наших солдат и нашел легкий выход — застрелился. Но об этом никто не говорил громко, официально все молчали. Только через солдат, бывших в одном с ним карауле, стало известно про это самоубийство.

На политзанятиях нам строчили марксизм-ленинизм, диалек-

тический материализм, который как горох об стенку отлетал от нас, потому что все это было так далеко от действительной жизни. Не только физически изнуренные солдаты не понимали этой неразберихи, но и никому, даже более смышленным, она не шла в голову. Прививалась не вера в Родину, в добро, в традиции русского народа, в прошлое России, не говоря уже о религии, которая спокон веков была неременной частью жизни русского народа, — долбилося только одно: овладей диалектическим материализмом и ты будешь неуязвим для врага, будешь как под непроницаемым щитом, и пули и картечь тебе будут нипочем.

Весной 1940 года, то есть через 3-4 месяца после призыва и муштровки, из нас сделали младших сержантов и сержантов. Некоторых отправили в другие части, а многих оставили в Сталиногорске и вручили каждому взвод солдат для продолжения учений. Теперь уже мы подавали команды: "ложись", "вставай", "беги". Мы не были такими усердными, как наши учителя. За это нам попадало.

Сталиногорск в те времена был центром Подмосковского угольного бассейна. После разоблачения Никитой Хрущевым "культы личности" его переименовали в 1961 году в Новомосковск. Когда наш полк стоял в Сталиногорске, это был город бедный, угрюмый, неуютный и полный грязи осенью и весной. В зимние месяцы дул холодный пронизывающий ветер. На главной улице тогда было несколько высоких зданий-коробок, окруженных не то избами, не то домами неопределенного стиля. На всем лежала печать бедности и лишений. Во время войны Сталиногорск был на очень короткое время оккупирован немцами. Но и за это время они сумели затопить угольные шахты. Потом я узнал, что для восстановления этих шахт после войны, или даже еще во время войны, был организован концлагерь. В 1945 году туда отправляли и многих советских военнопленных и остовцев из репатриационных лагерей.

В марте 1941 года из нашего полка отобрали несколько десятков человек и направили в Тулу, где находился штаб корпуса. Туда же съехались сержанты, старшины и младшие лейтенанты из других частей корпуса. Через несколько дней мы поехали в Москву (никто не говорил, куда мы едем, военный секрет). В Москве мы простояли двое суток в вагонах. К нам присоединилось еще около сотни человек, и на третьи сутки мы двинулись на запад. Следующая остановка была в городе Калинин, бывшей Твери. Привезли нас в военный городок, и мы влились в человеческий поток, состоявший из нескольких тысяч подобных нам.

Потом с каждым днем все больше и больше прибывало и сержантов, и офицеров со всех концов Союза. Здесь нам было привольно. Никаких занятий, никаких лекций. Так что мы играли в волейбол, в шахматы, читали, каждый занимался тем, что ему в голову пришло. Большинство из нас пробыло в Калинин около трех недель. Погода была хорошая, но вдруг 4 мая подул холодный ветер

и пошел снег. Стало холодно, а у нас уже не было зимнего обмундирования. Некоторых из нас отправляли патрулями по городу в субботу и воскресенье, потому что комендатура не могла справиться с громадным количеством военных в городе. Нам был дан приказ останавливать всех пьяных в военной форме, не взирая на чин. И тут первый раз в моей жизни я увидел размах пьянства среди офицеров (тогда "командиров") всех видов войск.

Останавливали мы многих, в комендатуру отводили немногих и только в тех случаях, когда человек был вдребезги пьян и лежал на тротуаре или под забором. Многие отпрашивались, просили довести их до жилья. Были и такие, что надрались до чортиков и адреса не могли назвать. Помню одного подполковника, вернее то, что он говорил:

— Ребята, я здесь рядом живу. Помогите добраться. Перехватил. Все равно скоро все рухнет. Видите, сколько нашего брата гонят на границу? Не зря. Войны не избежать. Ничего, ребята, пошли.

Такого мне никогда не приходилось слышать, и это было ошеломляюще. Никто нам о войне не говорил такими словами. Видно, подполковник знал много больше, чем мы.

Потом уже в плену я встречал многих, кто был в Калининe, и они говорили, что за предыдущие дни через Калинин прошло 50-60 тысяч солдат и офицеров на формирование новых частей на границе. Мы были слишком молоды, чтобы анализировать обстановку. Офицеры с опытом видели во всем этом что-то другое, чем мы. Или они были больше информированы? Солдат — это пешка, которой манипулируют, управляют, посылают на смерть. Нас отучили думать самостоятельно. Не только нас, а все население страны. За нас думали и, надо сказать, плохо думали, как показали первые дни войны.

Десятого мая одним эшелоном отправили несколько сотен из нас. Куда мы едем и зачем, никто не говорил и, мне кажется, никто не спрашивал. Но разговоров было много. Вернее, было много догадок. Говорили разное, сошлись на том, что мы едем на формирование новых частей. Но куда — никто не знал. Так мы проехали целую ночь с частыми остановками. Рано утром поезд остановился в каком-то лесу. Группами по несколько десятков человек мы выгружались и шли дальше в лес. Через несколько сот метров открылось большое поле и на нем сотни палаток, человеческий муравейник. Для нас уже были палатки. Сколько глаз мог видеть, все пространство кишело военным людом, это был палаточный городок. Скоро стало известно, что мы недалеко от Минска на формирующем пункте. Слухи поползли, что здесь формируют танковые и десантные полки. Недалеко от бесчисленных палаток находились двух- или трехэтажные дома. В этих домах шла отборка в формируемые части. Простых красноармейцев среди нас не было. Это были почти исключительно младшие сержанты, сержанты, старшины, младшие лейтенанты, лейтенанты, младшие политруки.

В основном, как мне показалось, здесь шел отбор в парашютно-десантную дивизию. Из тысячной толпы прибывших отбирали лучших для десантников. Принимали только тех, кто прошел специальную медицинскую комиссию и целый ряд физических упражнений. Может быть, слово упражнения не совсем подходящее. Нас, например, заставляли прыгать с определенной высоты в кучу стрембованных опилок. Надо было приземлиться на ноги и не падать. Доктора принимали каждый по своей специальности, и не все доктора были военные. Вдоль коридора стояли очереди у каждой двери. Здесь же делали анализ крови и мочи. Когда я пожаловался, что у меня бывает боль в области сердца, то меня выслушали три доктора и сказали, что не находят никакого физического недостатка. Установили, что боль давали межреберные нервы, которые время от времени могли воспаляться. Все требования я прошел: и медкомиссию и физупражнения. В моей анкете везде стояло слово "годен". Анкету нам выдавали в начале, и с этой анкетой каждый солдат шел от одного доктора к другому.

Моего друга Николая Г. не приняли. У него оказалось что-то не в порядке с сердцем. Всех, не прошедших медкомиссию, определяли в другие приграничные части и отправляли группами.

Мне не хотелось расставаться с другом Колей, поэтому я не спешил сдавать анкету. Немного подумав и поговорив с другими, я решил рискнуть, взять новую анкету и попробовать счастья провалить медкомиссию. По глазам был доктор-старикашка, которому было безразлично, кто прошел и кто не прошел комиссию. Да вряд ли он и запомнил меня в лицо среди этой многочисленной толпы. Пошел я с новой анкетой к нему и сказал, что плохо вижу на правый глаз. Это была правда, я уже не мог целиться правым глазом и перешел на левый. Случилось это зимой 1940-41 года. Никто этому не придавал большого значения, потому что я был в пулеметном взводе, и стрелять из Максима можно с ориентировкой на левый глаз. Первый раз я сказал глазнику, что стреляю с левого плеча и никаких затруднений нет. Я тогда еще думал, что Коля пройдет комиссию. Теперь мне пришлось говорить, что я был в нестроевой части. Собственно, почти никаких вопросов глазник не задавал. Поставил что-то в анкете и оставил ее у себя. Такое было правило, что если не прошел, то анкета оставалась у того доктора, который не пропустил. Анкета, по которой я прошел комиссию, была в кармане, а та, что не прошел, пошла в нужное место. По правде сказать, прыгать с самолета я тоже боялся.

Значит, все благополучно. Поедем вместе с Колей, куда пошлют. Расставаться с ним никак не хотелось. Он был такой весельчак, пел и играл талантливо на гитаре, и был хорошим другом. Но не тут-то было. Мою первую анкету видели несколько человек из нашей группы, включая старшину, который и доложил об этом политуру. Он только что окончил училище в Харькове и тоже прохо-

дил и прошел комиссию в парашютисты. Ему было не больше 22-23 лет. Он сказал, чтобы я дал ему мою первую анкету. А я ее уже порвал и выбросил к этому времени. Он был возмущен и сказал, что хочет поговорить со мной. Пошли мы в лес, подальше от других. В тени деревьев он начал читать мне лекцию. Пугал даже трибуналом. Без сомнения, тогда все было возможно. Миллионы невинных наполняли советские концлагеря. Стало страшно. Набравшись смелости, я ему сказал:

— Товарищ младший политрук, встретились мы с вами не по нашей воле, нас свели обстоятельства. Сегодня мы вместе, а завтра разойдемся и никогда не встретимся опять. Давайте разойдемся по-дружески. Лично вам я ничего плохого не сделал. Я просто боюсь прыгать с самолета и мне хотелось бы не расставаться с Николаем Г., он мой друг.

Не знаю, дошли ли до него мои слова, или он почувствовал, что я испугался трибунала, или еще почему, но он сказал:

— Хорошо. На первый раз пусть пройдет так. Но вместе с Николаем Г. вы не поедете.

Так оно и вышло. На следующий день Николай уехал с группой, не прошедшей медицинскую комиссию в парашютисты. Куда они ехали, им не говорили. Провели мы с ним в разговорах несколько часов. Он пел печальные песни под гитару, планов на будущее не строили. Было грустно. О встрече не мечтали. Я потерял навсегда своего лучшего друга. Пути наши разошлись в разные стороны, и судьба никогда не привела встретиться.

После Калинина и этого лагеря под Минском, в тысячном водвороте людей, съезжающихся и разъезжающихся, в голове зарождались мысли, что это все не напрасно, что за этим что-то кроется, что в этом есть какая-то цель. О войне нам абсолютно ничего не говорили. Мирный договор с Германией был заключен. С кем же тогда воевать? Четких очертаний этих мыслей я не могу вспомнить теперь. Что-то подсознательное копошилось и не находило явного выхода. Никаких обсуждений или споров между солдатами не было. Своих мыслей никто не доверял другому.

В военный лагерь под Минском каждый день приезжало и уезжало по несколько сот человек, в основном младшего командного состава. Откуда приезжали, узнавалось из разговоров, но куда уезжали, оставалось секретом.

Через два дня после Николая и я уехал в группе 30 человек. Не доезжая 25 км до Белостока, мы сошли на станции Гродек. Пройдя километров 8, вошли в маленький польский городок (местечко) Михалово. На краю городка находилась военная часть. Вернее было бы сказать, там были казармы будущей военной части. Наш лейтенант предъявил какую-то бумагу часовому, и мы вошли в большой двор, окруженный со всех сторон зданиями барачного типа. Все они были новыми и еще пахли свежей сосной. По всему двору стояли

сосны, иногда группами, иногда в одиночку. Двор был пуст. Оказалось, что там было только 60 человек, включая штаб.

Это был остов будущей части, начиная с сержантов, лейтенантов и выше. Надо только было влить солдатскую массу, чтобы заполнить пустые места. Часть значилась под номером, и нам сказали, что мы будем составной частью противотанкового корпуса. Пополнение и оружие ожидаем со дня на день: противотанковые пушки, укрепленные в кузовах полуторатонков, пулеметы и винтовки. А пока что во всей части было только 40 винтовок для часовых и патрулей. Все это говорилось как-то неуверенно, и было такое впечатление, что никто толком не знал, когда придет оружие и пополнение.

О нашем назначении и о будущей части с нами всегда говорил один и тот же майор. Говорил о танках, по которым мы будем стрелять, но чьи это будут танки — определял одним словом "вражеские". Становилось понятно, что нас готовят к войне. Войне с кем? С Германией? С кем еще воевать на польской территории? Никто не осмеливался задать прямой вопрос, помня о мирном договоре 1939 года.

Наш майор пустился даже в детали, как мы будем расстреливать вражеские танки, а потом быстро передвигаться на другое место, чтобы уложить еще несколько десятков танков. В теории выглядело даже занятно.

Кроме лекций по тактике первые дни мы ничего не делали. Иногда выходили в поле, в лесные заросли. Сидели и разговаривали, под видом занятий. А дни были прекрасные: теплые, солнечные. Все цвело, рожь подымалась в человеческий рост, мирно пели птицы, и хотелось, чтобы никогда не кончились эти июньские дни.

Недели через две, думаю, что это было 10, 11 или 12 июня, прибыло пополнение в 600 человек. Это все были 18-19-летние здоровые парни. Большинство — выпускники средних школ. Они уже были в военной форме. А затем, спустя несколько дней, еще 300 человек. Жизнь забила ключом: устройство в бараках, разделение на взводы, разъяснение военной службы, политзанятия, маршировка строем.

Оружия не было, о нем только говорили, ждали со дня на день. Обещали через три дня, неделю. Потом совсем перестали говорить. Только 40 винтовок и были оружием для всех нас. Командного состава тоже не хватало, особенно лейтенантов и выше. Сержанты исполняли должности лейтенантов, и никто толком не знал, что делать с этой массой невооруженных и необученных солдат.

Новоприбывших в город не выпускали, а нас начали выпускать только через десять дней после прибытия. Жители этого городка были поляки, евреи, белорусы, как и во всех городах западной Белоруссии. Говорили по-польски и по-белорусски. Кое-кто плохо по-русски. Для игры в волейбол знание языка не обязательно, и мы играли с местной молодежью. Вокруг волейбольной площадки образо-

вывалась толпа местного населения, в основном, молодежи. Здесь начинались знакомства, особенно с девушками. Но не помню, чтобы я был в городе больше, чем два раза.

За неделю до начала войны мы получили, наконец, первое наше оружие. Это были новенькие полуторатонки. От железнодорожной станции их перегоняли целый день и поставили все 50 в два ряда, предварительно хорошо почистив. Они блестели на солнце, и солдаты обходили их кругом и радовались, наконец мы получили что-то. Через два дня ожидалось противотанковые пушки, даже называли станцию, где они находятся. Но прошло и два, и три дня, и никакие пушки не пришли. О винтовках уже перестали говорить.

Много лет спустя, уже после войны, я читал критику союзников, что Сталин так старался угодить Гитлеру, гнал бесчисленными эшелонами нефть и другие материалы для военной машины Германии. Гитлеровские самолеты, заправленные советским бензином, бомбили Англию. Составы шли на запад в Германию днем и ночью. А для своих нужд не хватало вагонов. Угодать старался "мудрый вождь" на свою же голову.

Наше первое оружие — 50 новеньких машин, стояли чинно, но было только 12 водителей. Вели спешный набор в водители и обучение быстрым темпом. Но разворот был медленным, а времени до страшной минуты мало.

Машины стояли аккуратно, в два ряда, и мы их обходили с любовью каждый день.

За три дня до 22 июня, начала войны, я был начальником караула в части. Часа в 4 после обеда вызывает меня начальник спецотдела, в чине полковника.

— Почему вы не арестовали неизвестного лейтенанта, свободно расхаживающего по территории нашей части? — грозно спросил меня полковник.

— Какого лейтенанта? Их много здесь, и я не знаю каждого в лицо, — был мой ответ.

— Вы же начальник караула. Вы должны знать, вы должны были спросить документы, — еще громче сказал полковник.

— Я не мог спрашивать документы у каждого командира. На это надо иметь какие-то основания. Я не видел подозрительного лейтенанта.

— Как не видел? — заорал он на меня. — Это был шпион, а вы прошляпили. Занимались тем, чем не нужно. Вы должны были его арестовать. Я вас отдам под трибунал!

С каждым словом спирепство нарастало, и страх вселялся в меня. Потом начался допрос, откуда я приехал, из какой части, где родился. На его обвинения я просто не знал, как отвечать и что отвечать. Я молчал. Мне хотелось его спросить, почему он сам не арестовал, если знал, что это был шпион? У него, вероятно, были свои доносчики, своя шайка. Почему же они прошляпили? Но я боялся

ему сказать это. С подобными типами я никогда не встречался раньше, и я просто не знал, как с ним разговаривать. Я растерялся под тяжестью его обвинений, хотя никакой своей вины нигде не видел.

— Хорошо. На первый раз прощаю, но заведу на вас дело, в котором и зарегистрирую этот случай, что вы упустили шпиона. Можете идти.

Как ошпаренный выскочил я из его мрачной комнаты. Никому об этом не рассказывал, потому что начспецотдела приказал мне молчать и никому ни слова. В продолжение нескольких часов я все думал, как этот НКВД-ист узнал о неизвестном лейтенанте? До сих пор не могу додуматься. Может быть, он просто решил быть "бдительным" и оправдаться перед вышестоящим начальством, предав кого-нибудь трибуналу? Иначе он мог показаться бездейственным. Заслужить себе честь и повышение страданиями других — у этих типов не вызывало угрызений совести.

2. ВОЙНА

22 июня 1941 года. Подъем по тревоге в четыре часа утра. Приказ по баракам бежать в ближайший лес и собираться всем там. Без вещей, все оставить на месте, даже кровати не убирать. От барачных до леса было не больше двух километров. За несколько минут вся часть собралась там. Приказано была прятаться под кустами, за деревьями. Через 30 минут стало очевидным, что никто за нами не гонится. Отменили приказ прятаться. И вот тут-то нам сказали, что немцы перешли границу и двигаются в нашем направлении. Потом пошли слухи, что караул ночной видел пролетающие самолеты и слышал далекие взрывы бомб, а затем зарево пожаров. Оказывается, станцию Гродек бомбили. Никакого официального приказа или инструкций не было. Самый длинный в году ясный солнечный день не вселял в душу ни тревоги, ни опасения. Кругом было так тихо и прекрасно, что слово "война" не дошло до сознания, не обрело своего ужасного значения. Капли росы дрожали на траве и листьях деревьев, пели птицы, вокруг стояла июньская тишина. Просто не верилось, не принималось, не осознавалось.

После нескольких часов в лесу было объявлено, что можно возвращаться в бараки. Кто объявил — не помню, да и не видел. Без всякого строя, группами побрели в часть. Столовая была открыта и можно было завтракать. Порядок и дисциплина рассыпались на глазах. Никто больше не выстраивал нас, а только слухи, исходя откуда-то, передавались из уст в уста. Прошел слух, что через два часа часть двинется в поход. Надо с собой забирать все личные вещи. Две машины назначались для этих вещей. Потом пришел приказ от-

крыть вещевой склад, и всем военнотружущим разрешалось брать все, кто что хочет. Было около 11 часов дня.

Командного состава не было видно. До сих пор не представляю, что с ними случилось, куда делись старшие командиры полка. Словно их метлой смело. Красноармейцы бродили бесцельно и не знали, что делать. Разные слухи поползли, были преувеличенные, искаженные и часто неверные. Никто этих слухов не опровергал. Все принималось за чистую монету.

Уже трудно было не поверить, что совершилось что-то страшное, с чем мы никогда не встречались. Война на самом деле? Куда же идут немцы? Куда нам идти или бежать? Что же делают наши войска на границе? Что означает "немцы перешли границу"?"

Создавшийся хаос в нашей части перешел в неорганизованное бегство. Не нашлось ни одного командира, чтоб установить какой-нибудь порядок. Получалось так, что они убежали, оставив на произвол судьбы своих красноармейцев.

Я думаю, старшие командиры просто испугались и не знали, что делать, как воевать с 900 невооруженными и необученными солдатами, у которых не было никакого понятия ни об армии, ни о войне, никто из них не держал даже винтовки в руках. Трево думаю, действительно, что с ними делать?

Да и тем из нас, кто уже прослужил в армии около двух лет, никогда не говорилось, как вести себя на случай войны. Нам только вливали пропаганду, что мы всегда побеждаем, что мы самые сильные, самые передовые в мире, что нам море по колено. Наши самолеты летают выше всех, дальше всех и лучше всех. А сейчас и политруков как метлой смело.

Двор части пустел. Несколько человек толпились у вещевого склада, стараясь выбрать вещи получше, не думая, зачем они. Я видел нескольких солдат и сержантов с туго набитыми вещевыми мешками. Это как бы вместо оружия, которого у нас не было.

Прошел слух, что мы отступаем на восток и было названо место сбора нашей части. Так как ни у кого карт не было, то поняли так, что это в направлении Минска. А как отступать, в каком порядке, не было сказано ни слова. Потом другой слух, что каждый по-своему пусть отступает на восток, и все соберемся на сборном пункте.

А что случилось с нашими 50-тью новыми машинами? На 15 машин нашлись водители. Потом было объявлено, что если кто может мало-мальски управлять машиной, пусть садится и уезжает. Ключи в каждой кабине. Когда в последний раз я взглянул на машины, то там еще оставалось не меньше 20-ти. Думаю, что там они и остались стоять в чинном порядке.

К продовольственному складу подъехал лейтенант и, увидя меня рядом, приказал погрузить в машину несколько мешков сухарей и консервы. Во дворе еще бродили кучки солдат. Можно сказать,

что мы уезжали почти последними. У самых ворот, откуда ни возьмись, в кузов прыгнуло два политрука с набитыми вещевыми мешками. Как потом выяснилось, они запаслись продуктами.

Выехав на дорогу, мы влились в цепь машин. Движение было медленным. По обочинам дороги шли толпы красноармейцев, большинство с винтовками. Но порядка никакого не было. Только пыль стояла кругом да шум машин. Много солдат расходилось в стороны, подальше от дороги. Сколько мог глаз видеть, все пространство на восток было занято хаотично отступающей "непобедимой Красной Армией". Трудно было осознать и поверить, что мы бежим, даже не видя врага. Бежим в беспорядке, без руля, без водителей. Как лодка в море с оборванными парусами.

Над головами уже летели немецкие самолеты. Нас не бомбили, бомбардировщики летели куда-то на восток. Их было много, одна волна за другой. И никто по ним не стрелял.

Когда мы подъехали к станции Гродек, лейтенант велел шоферу остановиться, а он сбегает на почту послать жене деньги. Станцию бомбили ночью, следы разрушений были налицо, а лейтенант все еще не верил, что грянуло что-то ужасное.

На станции Гродек собралось много машин, и немецкие самолеты, пролетая мимо, запустили несколько очередей по отступающим.

Прождали мы лейтенанта минут 15 и потерялись в водовороте машин и людей. Дольше было бесполезно ждать. Лейтенант, вероятно, потерял нас, или что-нибудь другое случилось с ним. Политрук, что посмелее, взял команду и приказал ехать. Мы опять в потоке машин и людей. В нашу машину можно было еще взять человек пять-шесть, но новый командир всем отказывал. Только один смельчак сержант вскочил и сказал, что не сойдет. И политрук смирился, к моему удивлению. Новая обстановка диктовала новые законы.

Выехав на главную дорогу на Барановичи, мы попали под первую бомбежку. Взрывы бомб и свист пуль наводили страх. Но попадание в машины было плохое. В первую бомбежку не было ни одного прямого попадания. Самолеты бесконечно строчили из пулеметов и, думаю, были ранены. Мне кажется, во время первой бомбежки люди спрыгивали не со всех машин. Потом, увидя раненых, все разбежалось при появлении самолетов по сторонам дороги и пряталось, где только было возможно. Горящие машины сбрасывали под откос, и убитых сбрасывали, а сами продолжали ехать дальше. С каждой бомбежкой раненых и убитых прибавлялось, а также горящих машин. Сначала немцы боялись спускаться очень низко, думая, что по ним будут стрелять. Но никто не стрелял. Никто такого приказа не давал. Собственной инициативы не было.

Картина убитой девушки в белом платье осталась на всю жизнь из этой цепи бесконечных бомбардировок, стонов раненых и горя-

щих машин. Она сидела на каком-то ящике, прислонившись к кабине. Пуля пронзила ее грудь и струйка крови сделала полосу на белоснежной кофте. Голова откинулась на кабину. Открытые глаза смотрели в небо. Пульса не было. Наша помощь ей больше не нужна была. Молодость, красота и смерть застыли вместе. Почти столетие картина убитой девушки в белом не ушла из моей головы. Позже смерть встречалась почти на каждом шагу, но эта вот осталась со мной.

Никто больше не подбегал к этой машине. Все спешили впрыгнуть в кузов и уехать дальше на восток. О трупах убитых никто не заботился в первые дни войны. Их убирали с дороги, под кусты, или просто под откос.

С наступлением темноты наш шофер свернул на проселочную дорогу, надеясь быстрее ехать по ней. Но ехать в темноте без фар было не лучше. Мы часто сползали с дороги, и приходилось останавливаться, выталкивать машину на дорогу и ехать опять. Со всех сторон виднелось зарево пожара. Горели города и деревни. Волковыск горел ярким пламенем.

На утро мы опять выехали на дорогу к Барановичам. Оказалось, что далеко не уехали, хотя и потеряли всю ночь. Здесь опять было столпотворение: тысячи людей, тысячи машин.

По обеим сторонам дороги уже много лежало убитых, и военных и гражданских. А раненых было еще больше. Все просили что-нибудь поесть. У нас в машине были сухари и консервы, но я что-то не помню, чтобы я ел. На мое предложение сбросить раненым мешок сухарей политрук сказал, что мы возем продукты для своей части на сборное место. Но когда мы приблизились к группе раненых, голодных, грязных и запыленных солдат, сидящих на обочине дороги и просящих как бы милостыню, то я сбросил им мешок сухарей и десяток консервных банок, несмотря на протесты политруков. Они грозили мне наказанием по приезду в сборное место. А потом встречалось все больше и больше тяжело раненых. Опять им тоже по мешку. Протестов со стороны политруков больше не было. Вероятно, они сами увидели, что положение безвыходное, что надо помогать.

Немцы не оставляли нас больше, чем на 20 минут. Один налет шел за другим. Только немногим машинам удавалось спрятаться в кусты или под деревья. Везде шли, ехали, бежали люди, спасаясь от немцев. Вместо армии шла толпа. Мне кажется, ни о чем не думалось. Одно было очевидно, что мы позорно бежим.

Где-то недалеко от Барановичей и рядом со Слонимом дороги от Бреста и Белостока сходились клином в большом лесу. Если не ошибаюсь, это был угол Беловежской пушчи. Там уже было несколько сот машин, если не тысячи. И военных и гражданских тоже было несколько тысяч. Бросались в глаза большие грузовики с авиационным бензином. Так как многие машины были уже почти с пу-

стыми баками, то стали заправляться этим бензином, хотя кто-то говорил, что машины не будут работать на авиационном бензине.

Почему остановка? Почему мы не двигаемся дальше? Распространился слух, что немецкий десант на выезде из леса держит дорогу. Уже этот десант расстрелял не одну сотню отступающих.

Вероятно, это было так. А машин и людей все прибывало с каждой минутой. Разведывательные самолеты летали над головами и видели, что происходит в лесу. Выжидали лучшего момента, чтобы это скопление разбомбить.

Назад уходить было нельзя, впереди немцы-десантники. Значит — это ловушка. Слухи ползли от одного к другому, преувеличивались, устрашали и пугали. Бомбежка ожидалась всякую минуту. Здесь впервые я увидел попытку какого-то полковника остановить бессмысленное бегство. Он стоял в кузове машины, кричал, что это позор, что мы должны организовать "оборону". Вероятно, он был сам сконфужен, потому что обороняться было нечем. Против самолетов ничего не было, если не считать, что нашлись две машины с укрепленными максимами в кузовах. Но что могли сделать два максима против нескольких десятков самолетов? К тому же, как стало известно позже, каждый немецкий самолет был защищен броней снизу. Пули бронь не брали.

Только единицы подходили к машине, где стоял полковник, и слушали его. Основная же масса народа стала отходить и высматривать, куда бы уйти. Большинство военных без оружия. Наверное, многие бросили винтовки, — не может быть, чтобы многие части на границе, подобно моей, не были вооружены. Все понимали, что здесь ловушка, что скоро начнется бомбежка и все будет сожжено. Надо спасать свою жизнь, уходить из леса в поля, покрытые рожью.

Выйдя из леса, мы пошли с ориентировкой на восток. Карт у нас не было, местность эту мы не знали. Старались не заходить в населенные пункты. Это было где-то в треугольнике: Брест — Белосток — Барановичи. Если бы были карты, то можно было довольно легко попасть в Пинские болота, в непроходимые заросли или же в Беловежскую пушу. Немцы тогда шли только по главным дорогам и сеяли страх своими небольшими десантами.

Вскоре мы уже смелее шагали по лугу, по зарослям, прятались в небольших кучках деревьев. Большой лес нам не попался. Мы только шли по направлению к нему. Он виднелся где-то впереди.

В тени мы присели отдохнуть. Самолеты бесконечно ревели, до нас доносились взрывы, и вскоре позади, над тем лесом-ловушкой поднялся черный дым, закрывший все небо как тучей. Взрывы бомб перемешались со взрывами цистерн с авиабензином. Горела техника, горел лес. Одна волна бомбардировщиков сменялась другой.

Мы поспешили уйти еще подальше. К нам уже присоединялись те, кто попал под бомбы и остался жив. Рассказывали, что в лесу

оставалось много людей, но более или менее точной картины никто не мог описать. Да и что описывать? Полная паника и бегство — вот картина нашего отступления.

Самолеты уже кружились и над нашими головами и если замечали несколько человек, то строчили пулеметами и даже бросали бомбы. Были даже случаи, когда самолеты охотились за одиночками. Вот как немцы свободно себя чувствовали! Какой позор! И ни одного нашего самолета. Хотя бы один для поддержания духа. Сколько раз мы молили об этом, и все напрасно. Позже стало известно, что почти все наши самолеты были уничтожены немцами на земле, не успев подняться в воздух.

Пикирующие самолеты сбрасывали бомбы и безнаказанно расстреливали массу людей, бегущую из проклятого треугольника. Никто не видел немецкого десанта, но, по-моему наблюдению, все верили в существование немецкой засады по другую сторону леса. А как легко можно было бы уничтожить этот десант, пусть даже в несколько сот человек. Но не нашлось такой силы, чтобы остановить хаос. Трудно поверить, как все развалилось буквально на глазах, за 24 часа или меньше. Вероятно не было никаких указаний частям от высшего командования, а командиры отдельных полков или дивизий боялись брать ответственность на свою голову. Типичный страх сталинской эпохи. Не хотелось верить, что кучка немецких десантников может держать тысячи людей, уничтожая их и группами и в одиночку.

Армии больше не существовало. Были разьединенные группы в пять, шесть или больше человек. Ими кишели леса и поля Белоруссии. Под вечер 24 июня уже встречались солдаты, переодетые в гражданскую форму и без оружия.

Голод брал свое, и все деревни, которые встречались на пути, были полны отступающими, выпрашивающими что-либо поесть у местного населения. Большинство хат были открыты настежь: мол, заходи, бери что найдешь. В большинстве случаев ничего не было, кроме воды. Если немцы замечали с самолетов скопление людей, то сбрасывали бомбы на деревни. Каждая встречаемая деревня носила следы бомбежки.

Я шел иногда в одиночку, но чаще присоединялся к разным группам. Все шли все равно без какой-либо ориентации и цели.

Ночью идти боялись, чтобы не наткнуться на немцев, которые уже по пятам преследовали нас. Но они ехали только по главным дорогам, поэтому мы держались вдали от дорог. Мне кажется, на вторую ночь мы слышали непрерывный шум танков, который продолжался несколько часов. Потом был слух, что это были наши танки, отступившие так далеко, на сколько хватило бензина. Говорили, что потом их сожгли или потопили, чтобы не достались немцам.

Мне кажется, что первые две ночи я совсем не спал. Сон не шел. Прислушивался всю ночь к шуму войны. Даже не помню, о чем то-

гда я мог думать. Мысли были не яркие, жизнь их сгладила и следа не оставила. О плене никогда не думал и сдаваться в плен не собирался. Но как воевать с пустыми руками? Смотря из кустов на немецкие войска и машины, так хотелось иметь под рукой максимку и срезать их очередью.

На третий-четвертый день сложилась такая картина, что немцы едут по дорогам, а деморализованная и развалившаяся советская армия зажата между этими дорогами. Стоило только приблизиться к дороге, как немцы открывали стрельбу. Мы бежали в другую сторону и опять натыкались на другую дорогу и немцев. Опять по нас строчили. Иногда мы лежали в кустах и наблюдали, не веря своим глазам, как немцы быстрым темпом движутся на восток. Итак, мы были в мешке, бросались от одной дороги к другой, подгоняемые немецкими пулями.

Один раз часов в 11 дня набрали на железную дорогу, где стоял поезд с эвакуирующимися женщинами и детьми. Дальше нельзя было ехать, рельсы разнесло бомбами. Из вагонов высыпала масса женщин и детей. Мы наблюдали за ними из кустов. Появился разведчик-самолет, а потом прилетело несколько бомбардировщиков и пулеметными очередями стали расстреливать этих беззащитных людей. От поезда стали убегать. Остались там только женщины с маленькими детьми. Остались на немецкую милость. Потом прилетели пикирующие самолеты и разбомбили поезд. Он горел под крик и вопли умирающих. Еще долго слышались взрывы бомб, которыми немцы кончали этот поезд. Самолеты летали так низко, что немцы не могли ошибиться, они прекрасно видели, что расстреливают не отступающую армию, а безоружных женщин и детей. Но что "гуманным" фрицам до женщин и детей?! — ведь они только "унтерменши" для них.

Набрали мы на два домика у проселочной дороги. У входа в один дом лежал убитый старик, так опрятно одетый в белую рубашку с поясом и в лаптях. Как будто собрался на смерть. Недалеко была воронка от бомбы. Метрах в пяти от воронки другой труп. Вероятно, жена старика. Ни ран, ни крови не было видно. Уже столько смертей промелькнуло перед глазами, но почти все те были в военной форме. Запомнился на всю жизнь этот опрятный белорусский крестьянин с седой бородой. А день был такой летний, ласковый и теплый. И смерть вокруг. Как в сказке стояла эта крошечная хата с убитым хозяином у порога.

Одно поле было усеяно трупами убитых красноармейцев. Когда это случилось? Немцев не было видно. Наверное, это произошло днем раньше, потому что трупы уже начали разлагаться под летней жарой.

Брели мы уже без цели, стараясь не попадать к дорогам, по которым немцы шли полным ходом.

Вдруг вдаль увидели целую колонну наших машин, стоящих

одна за другою. Было их не меньше двадцати. В кузовах машин оставались солдаты, но все неподвижны, как на картине. Смерть накрыла их внезапно. У одной машины шофер хотел выпрыгнуть из кабины, да так и застыл с одной ногой на подножке, а другой на земле. Многим и этого не удалось сделать. В некоторых машинах солдатская масса как будто всколыхнулась невидимой волной и застыла, наклонившись на борта.

Ни тогда, ни сейчас я не знал, какая это была дорога. Может быть, и та, в вершине коварного треугольника с десантом. Они поджидали с обеих сторон и пулеметными очередями остановили бег. Не верилось, что ни одной машине не удалось даже съехать с дороги. Так и застыли в том порядке, в каком ехали. Солдаты не были вооруженными. Все были, вероятно, призывники за месяц-два до начала войны. Время не изгладило эту жуткую картину. Немцев нигде не было видно. Сделали свое дело и пошли на другой убой.

Создавалось впечатление, что мы окружены немцами со всех сторон. В какой-то деревушке нам сказали, что два часа тому назад здесь прошли немецкие передовые части. А сейчас сюда валила масса отступающих.

Было похоже, что передовые немецкие части даже в плен не брали, а уходили дальше на восток, чтобы как можно побольше взять в мешок. Десантами, пулеметами и самолетами они спихивали развалившуюся армию в поля, леса, оставляя своему тылу собирать осколки советской армии. Много красноармейцев бесцельно бродили по деревням и, казалось, забыли, что они были частью Красной армии.

А немцы уверенно и настойчиво стремились вперед, не встречая никакого сопротивления. По крайней мере, мне не пришлось быть свидетелем сражения между отступающими и наступающими.

Сейчас точно не припомню, на какой день войны это произошло, но в одном перелеске нас так строчили очередями, что пришлось убегать и искать укрытия в каком-то сарае, одиноко стоявшем на опушке леса. Немцы уже прочесывали придорожные поля и леса. В этом небольшом перелеске оказалось 50-75 отступающих. Откуда-то появились два майора и полковник пограничных войск. Около них образовалась кучка солдат, которая все увеличивалась. Полковник решил взять командование этой группой. Он велел по одному ползком пробираться в сарай. Нас набилось много в маленьком сарае. Немцы, вероятно, наблюдали, что происходило. Ударили по сараю сотнями пуль. Только щепки летели. Мы легли на пол. Так как сарай стоял на каменном фундаменте, то пули нас не доставали. Это был, собственно, не настоящий каменный, прочный фундамент, а просто сарай стоял на полметра от земли на камнях. Обыкновенных белорусских булыжниках, маленьких и больших. Строчили по нас беспрерывно. Что стоило им запустить по сараю зажигательными пулями? Мы ожидали этого каждую минуту. Но ничего подобного

не произошло. Одна очередь ложилась на другую, а сарай не горел. Но мог загореться каждую минуту. Все мы этого боялись, но боялись и вылезать. Это была верная смерть. Нервы напрягались, атмосфера дышала бешенством, многие стали нервно двигаться. Надо было что-то предпринимать.

Солнце зашло, но стрельба по сараю не прекращалась. Полковник сказал, что надо вылезать по-одному, бежать в кусты и лес и там собираться. Сначала он приказал вылезать безоружным. Для этого выбрали из фундамента несколько больших камней, и я полез первым. Ползком добрался до первых кустов, потом, увидя, что немцы не замечают, пробежал под деревья. За мной последовали другие. Уже наступили сильные сумерки и было почти безопасно.

Полковник сказал, что нам надо перейти дорогу, там начинается большой лес, и продвигаться дальше. Заметив, что у меня нет никакого оружия, он спросил, что я сделал со своей винтовкой. Когда я сказал, что вся наша часть не была вооружена, он спросил номер части. Я сказал, где часть стояла, и номер. Знал ли он о моей части или нет, но вопросов больше он не задавал. Полковник еще спросил несколько человек, что случилось с их винтовками. Не знаю, что он сделал бы при других обстоятельствах, но сейчас принимал объяснения молча. Думаю, что было у него сомнение в правдивости того, что мы говорили. Но даже у тех, у кого были винтовки, не было патронов.

Вдали по дороге ехали машины, мотоциклы, танки. Они нам не были видны, но по шуму можно было определить.

Когда все собрались, полковник сказал, что пойдем в атаку в половине двенадцатого. О том, как идти в атаку без оружия, не было сказано ни слова. У одного сержанта оказалось три ручных гранаты. Одна мне досталась. План был такой: подойдя ближе к дороге, растянуться цепью и ждать приказа, который будет передан втихую от одного к другому.

Карт у пограничников не было. Они были вооружены только пистолетами. Большинство же вообще были с голыми руками.

Между нами и дорогой росла рожь, к которой примыкали кусты с обеих сторон и лес с нашей стороны. Движение по дороге к этому времени почти прекратилось. Тихо, чтобы не вызвать огонь немцев, мы придвинулись к дороге и залегли цепью. В темноте невозможно было видеть, кто исполнял приказ, а кто просто ускользнул назад в лес и убежал, понимая, что атака без оружия все равно обречена на гибель.

Залег и я во ржи, зажав в руке гранату. Я много бросал учебных гранат, но "живую" никогда не держал в руках и сейчас она мне казалась и страшной и тяжелой. Нашупав кольцо, я знал, что не ошибусь.

Время шло медленно. В половине двенадцатого до меня дошел шопот, что надо ползти. Я полз прямо к дороге, но никого другого

не слышал по шелесту ржи. Сколько полз, трудно было определить. Ползти по ржи было не тяжело. Казалось, дорога уже совсем близко. До меня долетел разговор по-немецки. И в это самое время метрах в десяти прямо перед моим лицом застрочил пулемет. Я прилип к земле. Мне казалось, что пустые гильзы долетают до моей головы. Из дула пулемета ослепительные вспышки и волны горячего воздуха вокруг меня. Почему эти пули не прошли сквозь меня, остается загадкой по сей день. Мне думается, что пулемет стоял немного на возвышенности и под таким углом, чтобы вести дальний обстрел. Немцы не ожидали, что я подползу так близко. Они строчили выше моей головы, не подозревая, что я лежу совсем рядом. В коротких перерывах они разговаривали между собой и опять строчили. И уже не только они, несколько других пулеметов заработало. Потом свесили осветительные ракеты и расстреливали все, что было видно.

Когда ввязались другие пулеметы, под шумок я начал медленно отползать назад и в сторону. Гранату держал в руках. Когда расстояние до пулеметной точки мне показалось безопасным, я бросил туда гранату. Взорвалась она страшно громко, и сразу вызвала усиленный огонь с дороги. Немного дальше взорвалась другая граната, и за ней — одиночные выстрелы. Тогда немцы решили, что нас много, и пустили на нас два легких танка, которые быстрым ходом прочесывали рожь. Под общий шум невозможно было определить, попал я в цель или нет. Пулеметы продолжали обсыпать все поле пулями, и танки колесили взад и вперед.

С нашей стороны стояла полнейшая тишина: ни криков, ни стонов. Я пополз назад к лесу. Думаю, что другие сделали то же. Отступление не было безопасным, потому что при малейшем шуме и под светом ракет с немецкой стороны на нас обрушивался поток пуль. Вся атака, если можно так назвать то, что мы делали, продолжалась не дольше 30 минут. Танки, проколесив несколько раз рожь, ушли и наступила тишина. Доползя до кустов, я лежал некоторое время, чтобы отдохнуть. Усталость одолевала, но страха почему-то не было, хотя сотни пуль пролетали над головою.

Кругом стояла полная темень и было рискованно куда-либо двигаться. Ни своих, ни немецких голосов не слышно было. Мне кажется, что я уснул. Не знаю, сколько времени прошло, но вдруг послышалось громкое "ура" с другой стороны дороги и сильная пулеметная стрельба. Это было под утро, когда восточная сторона неба стала чуть-чуть белеть. Танки опять пошли в ход, повисли осветительные ракеты. Крики и стоны перемешались с выстрелами. Эти крики умирающих на рассвете нарождающегося дня многие годы стояли у меня в ушах.

Получалось так, что мы хотели перебежать эту самую дорогу, но во встречных направлениях. Это еще раз показывает, насколько дезориентированно отступала советская армия. Те, что были на про-

тивоположной стороне, хотели перейти на нашу сторону, надеясь, что идут в правильном направлении. Результат хаоса и паники. Вероятно, там было около сотни наступающих, судя по крикам и шуму.

Зарумянилось на востоке, начали выделяться отдельные деревья и блуждающие люди среди них. Я подошел и узнал нескольких, с кем начинал атаку.

Их было, мне кажется, только шесть человек. Командиров-пограничников среди них не было. Что случилось с ними? Ходили они в атаку или остались позади, надеясь пройти без риска в прорванную брешь, если бы атака была успешной? Или, может быть, они даже не намеревались переходить дорогу? Как бы там ни было, но их среди нас не оказалось. С восходом солнца мы пошли в противоположную сторону от дороги. Мне думается, что эта дорога шла от Бреста на Барановичи. Сначала шли группой, а потом рассыпались по два-три человека. Так было безопаснее.

Голод гнал многих в населенные пункты, в основном деревни. Пошли и мы в какую-то деревню, где один крестьянин предложил нам по куску хлеба и молока. По этой деревне бродило, по крайней мере, человек 50-60. Некоторые уже были переодеты в гражданскую форму. Зачем? Думали, что в таком виде легче будет уйти от немцев. Крестьяне предлагали некоторым остаться у них и спрятаться на время, пока пройдут передовые немецкие части. Один крестьянин мне тоже предложил такой выход. Встречались командиры с отпоротыми знаками отличия. О плене никто не говорил. Рассказывали разные жуткие сцены расстрела нашими отступающими своих же солдат, за то, что они якобы изменники и ожидают немцев. По слухам выходило, что вся белорусская армия окружена и что выхода нет из немецкого кольца.

Пробыв до вечера в этой деревне, мы с еще одним солдатом решили уйти куда-нибудь в лес и хоть немного отдохнуть. Усталость одолевала. Говорили, что немцы уже идут сплошным фронтом и они в десяти километрах от этой деревни. Это было где-то в окрестностях Слонима.

У сарая, стоявшего в стороне от деревни, была навалена большая куча соломы, и мы решили залезть в эту солому и провести там ночь. Положение было безнадежным. Что надо было делать? Присоединиться к большим группам солдат, бродившим по деревням без оружия, не было ни смысла, ни желания. Большинство из них уже даже не старались уходить в лес и прятаться от немцев.

Забравшись глубоко под солому, мы скоро уснули. Не знаю сколько прошло времени, нас разбудил шум человеческих голосов. Было впечатление, что сотня или больше солдат отступает. — "Прощупайте штыками эту кучу соломы!" — Душа в пятки полезла. В нашу сторону побежало несколько человек. Это только так показалось. Вероятно, был один или двое. Солдаты спешили. Солому про-

щупали только с краю и осторожно. До сих пор не приложу ума, как штык не наткнулся на нас. Судьба берегла, по всей вероятности. А может, солдат не хотел усердничать и пороть солому. Может быть, боялся наткнуться своим штыком на живого человека? Бог его знает, что он думал. Быстро убежал догонять своих.

Потом уже в плену говорили, что некоторые заядлые командиры и политруки, отступая с группой солдат, расстреливали всех, кто им попадался без оружия, обвинив их в измене, что они мол бросили винтовки преднамеренно.

Утром нам рассказали, что отступала какая-то часть и искала всех, спрятавшихся на пути их отступления. В этой деревне они нашли несколько человек и забрали их с собой. Расстреляли только двоих, которые были переодеты в гражданскую форму. Но по стриженной голове сразу узнавался советский воин. Этим приемом пользовались и немцы.

Утром в эту деревню нахлынуло еще больше солдат. По их пятам уже шли немцы и забирали в плен. Рассказывали, что немцы уже стали прочесывать не только населенные пункты, но прилегающие поля, леса и рощи. По кустарникам и перелескам они просто строчили пулеметами, надеясь таким образом выгнать оттуда прятавшихся советских солдат. Поэтому большинство двинулось в деревни. Здесь немцы не строчили пулеметами, если не было к тому нужды.

За несколько часов до прихода немцев вдруг начался артиллерийский обстрел. Снаряды летели через деревню и ложились где-то за ней. Никто не знал, кто стреляет: немцы или какая-то отступающая советская часть. Так продолжалось минут двадцать. Потом по деревне промчались два немецких грузовика и вскоре появились солдаты с винтовками наготове. Увидя советских солдат, они кричали "руки вверх", отводили в сторону и вскоре сделали что-то наподобие сборного пункта. Собрали они в этой деревне около 60 человек. В дома не заходили, забирали только тех, кто был на улице. Здесь и меня взяли в плен. Если попадались в гражданской форме, то приказывали снять шапку и сразу узнавали по стриженной голове, что это солдат. Офицеров переодетых узнавали по нижнему белью.

Мысли о сдаче в плен у меня никогда не было. Думаю, что и у других того же возраста, что я, то есть моложе 25 лет, не было продуманного решения сдаваться в плен. Да разве кто-нибудь мог подумать, что буквально за несколько дней развалится вся армия и что наступит хаос, для описания которого слов не хватает? Мы готовы были воевать, если бы нас не бросили на произвол судьбы и без оружия наши "доблестные командиры". Нас учили только идти в атаку и побеждать. А когда вышло что-то другое, то ни рядовые, ни командиры не знали, что делать. Единственное наставление было: советский солдат воюет до последнего патрона, последний он оставляет для себя. О пленении никто никогда и подумать не смел. А что делать, когда пуль нет, оружия нет?

Почему советская армия не оказала сопротивления немцам? Существует утверждение, что Сталин так приказал. Он приказал всем пограничным войскам на открывать огонь по немцам, чтобы не спровоцировать их на войну. И картина налицо: по немцам не было приказа стрелять даже тогда, когда они перешли границу и вклинились в нашу территорию. Мы стали бежать, а они расстреливать нас направо и налево. "Гений человечества" не верил сначала, что Гитлер не сдержал своего слова и напал на Советский Союз. Если бы приказа "не стрелять" не было, то немецкая армия ни в коем случае не продвинулась бы так быстро и на такое расстояние вглубь нашей страны.

Сталин был предатель, и его надо было расстрелять. Сколько миллионов человеческих жизней погибло благодаря "мудрой политике отца народов"!

А сейчас немцы собирали рассыпавшуюся Красную армию по полям, лесам, деревням и городам Белоруссии и Украины. Два окружения: одно Белостокское, а другое Минское, дали немцам 350 тысяч пленных. А потом пошли и другие окружения: под Киевом, Смоленском, Вязьмой, Брянском, Харьковом. В общей сложности немцы взяли в плен 3.800.000 человек только в 1941 году. До конца войны в немецкий плен попало около 5 миллионов советских солдат и офицеров. Половина из этого числа умерла от голода, изнурения и болезней.

3. ПЛЕН

Так я попал в плен на пятый день войны, 27 июня 1941 года. В этот день немцы уже взяли Минск и быстрыми темпами двигались дальше, не встречая почти никакого сопротивления со стороны Красной армии.

Собрав около ста человек, нас отвели на несколько километров от деревни и присоединили к другой группе пленных. Беря в плен, нас не обыскивали, а только приказали бросить оружие, у кого оно было. Почти каждые полчаса к нам добавлялись новые группы пленных. День был жаркий, нам приказали сесть на траву. Это было на опушке леса у ручья. Нас охраняли только два солдата, но рядом проезжало много немецких машин. Некоторые останавливались, чтобы посмотреть на "унтерменшей". Пробовали заговаривать, безрезультатно, среди нас не было ни одного человека, понимавшего по-немецки.

Между собой мы тоже не разговаривали, хотя нам не запрещали говорить. Все мы были из разных частей и не знали друг друга. Командиров среди нас не было видно.

Через некоторое время подъехала легковая машина, и оттуда вышел немецкий офицер в чине майора. С ним было два адъютанта. Став на возвышенное место и окинув нас взглядом, он, улыбаясь, стал говорить на чистейшем русском языке. Все оживились, не веря своим ушам, что немец так хорошо говорит по-русски. Никто, конечно, не думал, что он русский. Со школьной скамьи нам не говорили и нигде не писалось, что русские тоже живут за границей, а не только в Советском Союзе. Он хотел, главным образом, показать, насколько хорошо немецкая разведка информирована о советских войсках, находящихся на бывшей территории Польши. Он показывал пальцем на кого-нибудь из нас и спрашивал: "Из какой вы части?" Пленный отвечал, а он дополнял, называя по имени и по званию командира части, местонахождение перед началом войны и другие мелочи, которые приводили нас в удивление. Так он переспросил человек десять и всегда верными данными дополнял слова солдата. Кто-то осмелился спросить, откуда он все так хорошо знает.

— У нас отличная разведка. Мы не дремали после раздела Польши. Наши разведчики были на вашей территории и свободно расхаживали и собирали сведения. Мы готовились воевать с большевизмом.

Все это он говорил спокойным и не злым голосом, щеголяя с успехом своими знаниями и русского языка и советских частей в разбитой Польше.

— Что сделают с нами? — кто-то задал вопрос.

— Вы ничего не бойтесь, с вами немецкая армия поступит гуманно. Расстреливать вас мы не будем. Вы будете работать на Германию. Да и война долгой не будет. Через шесть месяцев будет покончено с большевизмом.

Мне кажется, что он даже пожелал нам всего лучшего. И уехал на той же машине. Все немецкие солдаты вытягивались, козыряли ему и щелкали каблуками.

Потом нас из одного места переводили в другое, и на каждой остановке к нам присоединялась новая группа пленных. Есть нам не давали ничего целый день. Только один раз принесли воды в ведрах.

На следующий день, когда нас уже было, может быть, более двухсот человек, нас привели в Слоним. Там уже была пара сотен таких же, как мы. Нашим лагерем стал школьный двор, обнесенный забором. Думаю, забор был еще до войны. Пленных приводили беспрерывно, и малыми и большими группами. Ни воды, ни пищи нам не давали.

Здесь впервые мне пришлось увидеть расправу эсэсовцев с пленными. Они осматривали каждую новую группу пленных. Если находили политруков с отличиями или узнавали их по отпоротым звездочкам на рукавах, то отводили здесь же за здание и расстрели-

вали. Делали они это с каким-то ухарством, с задором. Иногда, подойдя к пленному, спрашивали по-немецки: "Ты еврей?" Пленный говорил, что нет, он не еврей. Некоторых они отпускали, а некоторых уводили в здание для дальнейшей проверки. Потом мы слышали выстрелы. Немногие возвращались назад и рассказывали, каким испытаниям их подвергали, чтобы установить их принадлежность к евреям. Потом эсэсовцы проходили между нами вторично, стараясь не пропустить ни одного "подозрительного". Потом под вечер приехал грозный эсэсовец, и нам приказали выстроиться. Он приказал всем евреям выйти вперед из строя. Как помню, не нашлось ни одного идти на верную смерть. Охота на политруков и евреев не прекращалась все то время, пока я находился в Слониме, дня три.

Есть не давали весь день, но вода была. Потом отобрали несколько человек и повели куда-то. Появился переводчик в военной форме и объявил, что эта группа пленных пошла за кониной, и будут варить суп. Как потом рассказывали, недалеко от школы лежало несколько убитых лошадей. Вот этой группе пленных дали топоры рубить мертвых лошадей на части и нести в лагерь. Соорудили костер, нашелся где-то котел, и через пару часов нам дали отвар от конины. Если попадалось мясо, то его нельзя было прожевать. Соли немцы не дали, так что суп без соли. Нашлись какие-то банки, и мы по очереди подходили и пили бурду из одной банки. Некоторым и этой похлебки не досталось.

Ночью часов в 11 послышались сначала одиночные выстрелы, а потом пулеметные очереди. Стрельба с каждой минутой становилась напряженной. Что происходило, можно было только догадываться. Вероятнее всего завязался бой между отступающей советской частью и немцами. Одно время казалось, что выстрелы приближаются к нам. Нас окружили усиленной охраной и приказали прилипнуть к земле. Судя по этому, мы решили, что отступали наши, и немцы преградили им путь. Но выстрелы кончились так же внезапно, как и начались.

Из Слонима группой человек в пятьсот нас повели под конвоем на юго-запад, в направлении Бреста. По дороге к нам присоединяли еще пленных, среди которых было много раненых. Было сколько-то и в гражданской одежде и людей пожилого возраста. Почти у каждого из них был мешок за плечами. Они не были пострижены под машинку и не были похожи на военных. После расспросов стало известно, что они были советские заключенные и строили аэродром на польской территории. Среди них были и бывшие польские подданные и советские. Не политические. С наступлением немцев советская охрана их бросила, и некоторые из них попали в плен. Потом их постепенно выпускали, если они могли доказать, что не были в советской армии.

Нас вели по дороге, по которой ехало множество немецких ма-

шин с солдатами. Солдаты кричали нам: "Русланд капут, капут", и показывали на газеты, где было напечатано что-то жирным шрифтом. Но кроме цифр мы ничего не понимали. А цифры указывали, наверное, количество наших солдат, взятых немцами в плен.

Есть нам ничего не давали с тех пор, как кормили конским супом. Раненым пленным никакой помощи не оказывали. Тяжело раненных оставляли умирать там, где они лежали. Но и легко раненым не было никакой помощи.

Под вечер привели на какое-то поле, окружили конвоем и приказали сесть. Рядом бежал небольшой ручей, и нам разрешили по два-три человека напиться воды. Потом подъехала машина, и на каждые шесть человек дали одну буханку хлеба. Так как нас не обыскивали, то у некоторых оказались карманные ножи, и хлеб был быстро разрезан на "пайки". Голод давал себя знать, и если бы каждому дали по буханке, то тоже было бы мало. Вряд ли среди нас были такие, кто со дня начала войны ел больше, чем один раз в день.

С наступлением темноты нам приказали лечь плашмя на землю и не поднимать головы до самого утра. Все это приказывалось жестами и криками по-немецки. Переводчиков еще не было. Для подкрепления приказа над головами лежащих пустили пулеметную очередь. Рядом со мной оказался человек в гражданском и с большим мешком, который он положил под голову. Ночью в мешке я нащупал сухари. У него, значит, был мешок сухарей, а здесь рядом мы лежали голодные. Человеку с мешком было на вид лет 45 и говорил он по-русски плохо. Вероятно, он был поляк или польский белорус. Сухарями делиться не хотел. Тогда кто-то достал лезвие безопасной бритвы и протянул по мешку. Потянулось несколько рук. Поляк протестовал как умел. Большой шум поднимать боялся, собрал, что осталось, и переполз на другое место.

Рано утром нас спешно подняли, построили в колонну и повели. Сначала шли медленно. Потом немцы, пройдя через всю колонну, выбрали здоровых на вид солдат, поставили их во главе колонны и приказали идти быстро. После часа такой быстрой ходьбы многие стали отставать. Немцы подгоняли криками, ругательствами и прикладами. Раненые не могли быстро идти, отставали и падали. Некоторое время два конвоира шли с ними. Потом подъехал офицер и, вероятно, приказал расстреливать всех отстающих. Послышались выстрелы, мы обернулись и увидели, как под выстрелами падают отставшие. Как от запаха крови лютуют звери, так и немцы гнали нас все безжалостней, избивая тех, кто не поспевал. Выстрелы раздавались все чаще и чаще. Это страшно действовало на психику. Несколько человек, не выдержав этого давления, бросились в лес, который тянулся с обеих сторон дороги. Их тут же перерезали автоматными очередями. Сколько глаз мог видеть, позади колонны лежали трупы наших солдат. Те, кто были в голове колонны, не обращали

внимания на просьбы и мольбы более слабых. Они не оглядывались назад, слышали только частые выстрелы и дрожали за свою жизнь. Сначала их немцы подгоняли, а потом и немцы устали или осознали, что при таком марше половина пленных будет расстреляна. Нам надо было пройти 40 километров до ближайшего лагеря.

Этот поход был первым уроком для меня и, думаю, для остальных, что выживет только тот, кто выносливее и кто сумеет быстро приспособиться к окружающей обстановке. Во все последующие годы плена я наблюдал много раз, как люди звереют под тяжестью голода и теряют свой человеческий облик. Выжить любой ценой стало каждодневной задачей советского солдата в немецком плену. Каждый человек спасал свою жизнь. В первые месяцы, когда голод косил без разбору, наши пленные просто одичали. Были такие, что отнимали последнюю кроху хлеба у слабого, оправдываясь тем, что он все равно умрет не сегодня, так завтра.

А день был жаркий. Пот лил ручьем сначала, а потом и потеть перестали. В организме не было больше воды. А воды не давали. Никакие просьбы не помогли. Немцы спешили догнать нас до намеченного пункта. Мы прошли не меньше сорока километров, когда наконец нас подвели к реке. Как стадо коров все бросились в воду и пили, пили, казалось, бесконечно. Некоторые забрели по пояс в воду. По дороге почти все сняли обувь. Иные даже бросили, потому что не было мочи нести. Пригоршнями пили воду, обливая лицо и голову.

Пройдя еще несколько километров, мы оказались в страшном лагере Бяла Подляска на запад от Бреста. Это было открытое поле в несколько квадратных километров, обнесенное колючей проволокой. Вся площадь лагеря в свою очередь была разбита на клетки тоже колючей проволокой. В каждой клетке было по несколько сот человек. Количество пленных увеличивалось с каждым днем. На территории лагеря не было ни одного здания, кроме наспех сколоченной кухни.

По прибытии в лагерь нам дали суп, который я взял в пилотку, потому что больше не во что было. Другие подставляли полы гимнастерок, шинелей, а то просто пригоршни. Пилотка высохла, и была со мной еще долго. Может быть позже я ее где-нибудь выстирал, не помню.

Главным вопросом, не дававшим покоя ни днем ни ночью, была пища. С голодом встречали каждый день, с голодом шли спать, голод был на каждом шагу жизни в этом лагере. Воды тоже не давали, сколько нужно было, не говоря о том, что мыться было нигде. Думаю, что никто и не думал об этом. Пустой желудок отодвинул все другое на задний план. Хотелось есть, и так страшно и зверски, что сейчас и выразить не могу. Тысячи пленных, все голодные. Давали что-то один раз в день. В первые дни, мне кажется, хлеба вообще не давали. Был какой-то брюквенный суп, или просто мутная

бурда. От тех дней осталось в голове так мало, что приходится удивляться. Вероятно, от голода и ум не работал. Осталось в памяти только обширное поле с колючей проволокой, жаркие июльские и августовские дни и голод, голод, голод...

Отдельные эпизоды такие. В первые дни по приказанию немцев всех украинцев и белорусов собрали по разным клеткам. Русских же и среднеазиатские народности оставили в других клетках. Нашлись умницы писать письмо Гитлеру с просьбой об освобождении из лагеря на уборку урожая. Письма писали украинцы и белорусы. Не помню, чтобы их писали русские, не говоря уже о нацменах. Не знаю, по чьей инициативе писались эти письма к "фюреру". Может и были среди пленных люди, верующие в немцев. Написанное передавалось коменданту лагеря, или же какому-нибудь представителю немецкого командования. Деталей не знаю, потому что не верил в это и никогда не участвовал. Обычно вокруг писак собиралась куча пленных и каждый хотел вставить свое слово в это начинание. А потом эти письма громогласно читались перед строем в присутствии немецких офицеров.

Человек всегда надеется и ждет лучшего. В этих обращениях к "фюреру" подчеркивалось, что освобождение украинцев и белорусов поможет немцам в уборке урожая и экономически усилит мощь немецкой армии. Но проходил июль и август, и никаких результатов от писания не было. Проходили дни уборки урожая, а с ними канули надежды на освобождение из плена. Уже больше писем не писали. Все надежды рассеялись, и осталась только смерть от голода.

Вспоминая этапы плена, думаю, что этот лагерь в Бялой Подляске был самым страшным и самым долгим. Пробыл я там весь июль и почти весь август. Здесь впервые появились на сцену лагерной жизни страшные "полицаи", как их окрестили лагерники.

Полицаи со своими дубинками стали хозяева лагеря. Размахивали дубинами направо и налево, и каждому попадало, кто стоял на пути бега палок. Некоторые полицаи нарочно старались взять дубины потолще, чтобы раз огреть — и насмерть. Немногих, может быть, еще совесть мучила, и они опускали свои дубины без особого усердия. Как попадали в полицаи — для меня осталось полным секретом. Выбирали ли их немцы или же как-нибудь по-другому, но они стали главной силой лагерей.

Система полицаев вошла в жизнь каждого лагеря с первых дней плена и продолжалась приблизительно до середины или конца 1942 года. Она проявлялась в разных формах, но с той же жестокостью. Установить более или менее точное время, когда система полицаев ушла из лагерей, почти невозможно. В разных лагерях она рождалась и умирала в разные сроки. Бесспорно только одно: она была начата, поддерживалась и ушла по велению и желанию немцев.

Что же ее поддерживало? Во-первых, голод, желание спастись

от смерти любой ценой; во-вторых, отсутствие какой-либо сплоченности среди советских военнопленных; в-третьих, натравливание немцами одной нации на другую. Корни поведения советских пленных по отношению друг к другу уходят в ту обстановку, в которой мы были воспитаны. Нас не учили никакой христианской морали. Перешагнувшему во власть безверия — все разрешалось. Систему стукачей и доносчиков можно приравнять в каком-то смысле к системе полицейав. Страх сталинских чисток исковеркал поведение, казалось бы, нормальных людей. В страшные тридцатые годы, когда Сталин убивал миллионы невинных людей, узы сплоченности и дружбы были разорваны, рухнули, ушли. Сосед не доверял соседу, друг боялся доверить свои мысли лучшему другу. Почва была давно подготовлена для позорного поведения советских солдат в немецком плену.

Была бы сплоченность и христианская мораль помогать друг другу в тяжелых условиях, а не топтать слабого, — не родилась бы полицейская система в лагерях. Семья не без уroda, как говорит русская пословица, нашлись бы преступные элементы. Но если бы их пристукнули и напугали, то другие не помогали бы немцам убивать своих же пленных.

Я видел расцвет этой системы, но не видел конца. По слухам, немцы вытолкали полицейав в общую массу пленных, которые расправлялись с ними своим правосудием. Если было много свидетелей зверства данного полицейав, то смерти он не избежал. Иногда, связав руки, их бросали в глубокие отхожие ямы, иногда били до смерти. Часто отнимали у полицейав их хорошее обмундирование и давали взамен тряпье. Это все потом приходило по слухам к нам в рабочие команды.

Иногда полицейав опознавали и в рабочих командах и тоже наказывали. Обычно отнимали у них хорошую одежду и отталкивали от себя. До более жестоких наказаний не доходило.

В лагере Бяла Подляска говорили, что полициями стали все немцы с Повольжья, которые попали в плен. Многие из них говорили по-немецки. Насколько это была правда, я так никогда и не узнал, да и не старался. Потом появились западные украинцы, которым "москали" насолили, освободив их от польских объятий. То, что западные украинцы были "щирыми" служаками немцев, не подлежит никакому сомнению. Но иногда, а в некоторых лагерях довольно часто, полициями были и русачки. Они тоже неплохо махали дубинами, стараясь выжить любой ценой.

Полиции стояли при раздаче пищи. Если хотели, могли выбить из рук жалкую ложку супа или отнять жизненную порцию хлеба. Они расхаживали по лагерю, наблюдая за порядком. Без полицейав немцы не могли обойтись ни в одной фазе лагерной жизни. Если надо было выстроить пленных в колонну, то полиция со своими дубинами делали это в пять раз быстрее немцев, не считаясь с жертвами.

Кухня была во власти поваров, полицейских и помощников. Поэтому они откармливались, были здоровы и сильны за счет голодания остальной массы пленных. У них было много своих "придурков", которые тоже урывали от пленных. Повара и прислуга кухни жили за проволокой, которой были ограждены кухонные помещения. У входа за эту проволоку стояли часовые немцы с винтовками и стреляли без предупреждения, если смельчаки рисковали прорваться туда. Десяток или больше пленных погибли таким образом.

Утром в Бялой Подляске в первые дни ничего не давали или же теплую водичку, называемую чаем. В полдень — брюквенную бурду, иногда что-то, напоминающее суп с крупой и картошкой, а вечером 200 грамм хлеба. Бывали дни, когда ничего не давали. Иногда хлеб только через день. От такого питания молодые лица чахли на глазах. Снабжение пищей пленных в этом лагере было очень нерегулярным. Пленные посмелее, которых голод еще не доканал, строили планы побега. В начале августа из одной клетки, расположенной недалеко от леса, человек 50 пытались бежать через перерезанную проволоку. С вышек быстро обнаружили и скосили пулеметами человек 20, но нескольким все же удалось убежать в лес. За такое "преступление" весь лагерь был наказан лишением пищи на два дня. А пленных приводили каждый день тысячами весь июль и начало августа.

Кроме кухни, немецкие патрули охраняли лагерь только со внешней стороны. Наблюдательные вышки на коротком расстоянии друг от друга стояли по всей длине колючей проволоки, по несколько на каждой стороне. На вышке всегда были видны два охранника с пулеметами, направленными в две стороны. В дополнение патрули ходили вокруг лагеря регулярно. На каждой вышке были прожектора, которые освещали проволочную ограду каждые 10 минут.

Вокруг кухонной ограды всегда толпились пленные, несмотря на окрики часового. Подходить к ограде ближе чем на два метра не разрешалось. Нашелся смельчак, перешел эту линию — и расплатился жизнью: был убит наповал пулей часового. Его оставили лежать два дня, в пример другим. Таких случаев было много.

Однажды у убитого на другой день немцы увидели вырезанные мягкие части тела. Они подняли тревогу и начали проверять котелки, банки и что у кого было. Хотя разводить костры запрещалось, но пленные умудрялись собрать на территории лагеря все, что могло гореть, и разводили огонь, на котором варили, что могли поймать живое на земле, в основном полевых мышей. По всему лагерю начали рыскать полиция и нашли вырезанные куски в котелке калмыков. Они то ли варили суп, то ли уже сварили и ели.

Это был первый случай людоедства в этом лагере. Выстроив всех, находившихся в той клетке, прочитали наказание: за людоедство — расстрел. Приговор был приведен в исполнение тут же. После этого случая к кухонной ограде подходили очень осторожно.

С первых дней все были под открытым небом и днем и ночью, потому что кроме кухни никаких зданий не было на территории лагеря. Потом вырыли большие рвы, длиной метров 15-20 и шириной 5-6. Рвы шли под уклон, все время углубляясь. Что-то похожее на въезд в подземный гараж. Вход остался открытым, а остальную часть рвов накрыли досками и засыпали землей. Все эти работы выполняли пленные под крики и понукание охранников.

В эти убежища пленных загоняли на ночь. Для всех мест все равно не хватало. Многие оставались под открытым небом. Сначала все хотели попасть в эти убежища, особенно когда ночи в августе стали прохладными или шел дождь. Потом полицаи палками загоняли туда. Дело в том, что при отсутствии всяких санитарных условий, даже помыться негде было, развелось так много вшей, что от них спасу не было. Они беспощадно паразитировали на голодном исхудалом теле, а в скоплении людей под землей было еще хуже, чем на открытом воздухе. Когда выходили утром из этих земляных убежищ, вши кучами сыпались на землю, весь песок двигался. Трудно поверить, что это не песок шевелится, а сплошная пелена вшей на песке. Они ходили как бы волнами. Кто освобождался от вшей каким-либо образом днем, хоть в какой-то мере, — тот не хотел идти в убежища, не хотел захватить лишнюю сотню заедающих насмерть вшей. Только дождь гнал под землю и холод.

Мне кажется, что построили эти убежища не потому, что немцы сжалились над пленными. Их просто пугала это многотысячная толпа хотя и бывших, но солдат. Один вид сотен клеток и тысяч голов наводил страх. Лучше их под землю, не видно — и уже спокойнее. А потом еще побегов боялись.

В этих подземных подвалах в августе уже находили трупы пленных, умерших от голода, болезней и вшей. Больные оставались под землей доживать свои часы. Света там никакого не было. Не было ни воды, ни уборных. Уборными служили большие рвы, выкопанные в одном углу клетки, с переброшенными бревнами или толстыми досками. Эти глубокие ямы стали могилами для некоторых несчастных доходяг. Ослабевшие ноги не удерживали человека и он падал вниз. А как ему помочь? Не было ни веревок и ничего другого для спасения. Покричит, постонет бедняга и затихнет навсегда. Трупов из этих ям не вытягивали, по крайней мере, я ни разу не видел. Время от времени эти ямы заливались водой и засыпались хлорной известью и землей.

Не прошло и месяца, как появились доходяги во всех клетках лагеря. В основном доходягами становились пленные более старшего возраста. Молодые были крепче, держались и не сдавались голоду, холоду и унижению. Те доходяги, которые курили, меняли свою мизерную пайку хлеба на окурки. Откуда был табак у некоторых и как вообще попадал он в лагерь — трудно сказать. Но те, кто был с табаком, могли всегда променять его на хлеб. Мне пришлось

первый раз в жизни убедиться, насколько сильна привычка курить, хотя без курения никто не умирал никогда. Очень часто можно было видеть, как человек уже не может встать с места, но протягивает свой последний кусочек хлеба, чтобы два раза затануться. Через пару дней уже уносили его труп. И количество их увеличивалось с каждым днем.

Истребление вшей было ежедневной картиной лагеря Бяла Подляска. В теплые, солнечные дни пленные снимали рубашки и, можно сказать, выгребали вшей из подмышек, сгребали с рубашек и сбрасывали с голого тела.

Так как большинство, если не все, не брились, и не подстригались, и не мылись с момента попадания в плен, то можно себе представить, на кого мы были похожи. Воды для мытья не было. Бритв у большинства не было. Да и не до бритья было. Немцы не проводили никакой дезинфекции за время моего пребывания в этом лагере.

Если к общей картине голодания, грязи, запущенности — довить систему полицаев с их безграничной властью над пленными, то на что мог надеяться советский пленный? Он потерял надежду, опустил и ждал своей участи.

Система полицаев была создана немцами, чтобы лучше справиться с многомиллионной массой советских пленных. Охранники никогда ничего не говорили, когда на их глазах полицаи избивали, а иногда и убивали, пленного. В лучшем случае они уходили, чтобы не видеть этой сцены. Подлецов среди нашей толпы было сколько угодно, кто мог продать родного брата за пайку хлеба. Многотысячная армия пленных в первые же два месяца войны привела немецкое командование к вопросу, как контролировать эту массу. И оно выработало систему полицаев, чтобы освободить тысячи своих солдат, которые нужны были для фронта. Попробовав в одном лагере, немцы поняли, что их план работает, и распространили этот план на все лагеря.

Эта система могла работать только в среде советских пленных, где царил чудовищный голод и не было никакой сплоченности. Насколько мне известно, в лагерях военнопленных других стран системы полицаев не было.

Страшный голод советских пленных породил многие пороки плена. Стоило только придти немецкому охраннику в любую клетку и объявить, что ему нужны два человека в качестве полицаев, как сразу же образовывалась толпа желающих. Полицаи забирали у пленных, что им приглянулось, иногда без всякой платы, а иногда дав кусок хлеба или миску похлебки. За нежелание отдать полицаю вещь, которая ему понравилась, пленный получал удар палкой и вещь забиралась. А кому жаловаться, а что скажешь без языка? Да и немец не твой защитник! Если иногда и доходили жалобы каким-то чудом, то жалующегося находили назавтра избитым до полусмерти.

Пленные пришли из разных частей, были разных национальностей, а голодное существование их еще больше разделило. К тому же, чтобы еще больше разъединить пленных и не дать возможности создавать группы, пленных перегоняли из одной клетки в другую. Для этого строили в колонны по два или четыре, а потом делили колонну по длине и одну часть загоняли в одну клетку, а другую уводили подальше. Немцы боялись сплоченности среди советских пленных. И ее не было. Если бы была, то полицаи не властвовали бы так ненаказуемо. (Мне не пришлось увидеть организованного сопротивления полицаам. По слухам оно пришло к началу 1942 года.) Перегон из одной клетки в другую повторялся, если мне память не изменяет, каждые десять дней.

Запомнились случаи, когда к проволоке подходили немецкие солдаты поглазеть на советских пленных. Трудно представить, какие мысли пробегали в их головах при виде оборванных, грязных, неумытых и небритых голодных людей. Вид у нас был действительно ужасный и, вероятно, не один из этих солдат подумал, что мы — действительно "унтерменши", существа, стоящие на самой низкой ступени по сравнению с ними. Иногда, для развлечения, они бросали нам куски хлеба. За этим летящим через проволоку куском хлеба тянулись десятки рук и разрывали его на мелкие крошки. И никому ничего не доставалось. А если хлеб падал на землю, то сейчас же гряда человеческих тел обрушивалась на том месте, где упал хлеб. Собственно, никто не видел, куда точно он падал, но получалась свалка. Немцы хохотали всюю. Для них это была потеха. Несколько раз они бросали что-то, завернутое в бумагу. Сотни рук старались словить. Часто в бумаге оказывался кусок дерева — и еще сильнее смех немцев. Эта картина напоминала стаю голодных собак, которым бросали кусок мяса, и они дрались до полусмерти.

Голодный организм поглощал все, что попадало в желудки, для выброса почти ничего не оставалось. И как результат, первый стул после попадания в плен был у многих, если не у всех, только на 10-12-й день, а у некоторых через две недели. Разрешиться от такого запора было нелегко. Бывали случаи, когда умирали. Кто-то пустил слух, что соль помогает. Тогда пайка хлеба обменивалась на соль, с надеждой, что она поможет от мучительной невозможности избавиться от запора. Для оправки большинство не шло в уборную, где надо было сидеть долгое время с опасностью упасть в яму. Многие просто боялись этих ям. А в других местах прибивали палки полацаев. Немецкие охранники иногда для испуга стреляли, замечая присевшего.

Если не ошибаюсь, уже в начале августа начали партиями отправлять в Германию. Никто, конечно, не знал, куда отправляют, но все стремились попасть в группу отъезжающих. Иногда брали по несколько человек из разных клеток. Для выбора пленных на отправку приходил офицер и группа солдат. Когда они подходи-

ли к клетке, у входа образовывалась толпа. Надежда каждого была уйти из этого ада. С толпою не было сладу, сколько бы немцы ни кричали. На помощь бежали полицаи с палками. Иногда с помощью палок и криков выстраивали сотенную толпу и спрашивали какую-нибудь профессию. Скажем, плотников. Если были такие, то им велели отойти в правую (левую) сторону. И почти вся колонна оказывалась плотниками. Спрашивали другую профессию — и та же картина повторялась. Тогда перестали спрашивать. Просто приходили, выбирали из колонны, сколько было намечено, и уводили. Выбирали на вид более молодых и здоровых. Мы предполагали, что нас везут в Германию. О месте назначения нам не говорили.

Двадцать восьмого августа я попал в группу отъезжающих. Нас было, думаю, человек 300-400. На железнодорожной станции Бяла Подляска стояло несколько десятков товарных вагонов. Дали нам по куску хлеба, приблизительно в пятьсот грамм. Для нас был большой праздник. Все подумали, что уже сразу положение улучшилось. Несколько часов держали нас на станции. Видны были городские огороды, сады, улицы, дома. Запомнились сады потому, что там виднелись яблоки, груши и манили своим знакомым цветом и даже, казалось, запахом. Голодный желудок искал глазами то, что можно было съесть. Не верилось, что так близко течет совсем другая жизнь, нормальная, достигаемая взором и такая далекая, далекая. Вспомнилось детство, яблоки и груши, которые мы воровали из соседних садов. А здесь за одну попытку побежать к соседнему забору грозила смерть. Никто уже не сомневался, что ни у одного немца не дрогнет рука пустить пулю в советского пленного.

Перед вечером начали загонять нас в вагоны. Говорю загонять, потому что когда в вагон входило, скажем, 50 человек, то прикладами и руганью туда вгоняли еще столько же. Не считал и не помню, сколько нас было в вагоне. Помнится только, что сначала мы не могли сидеть. Можно было только стоять. Никаких нар не было. Когда вагон набивали доотказа, закрывались двери на большие засовы и на замок. Оставалось только по одному маленькому окошку с обеих сторон вагона. Жара в вагоне стала нестерпимой. Несколько человек от духоты и тесноты потеряли сознание. Начали кричать, чтобы открыли двери. Никто не внимал нашим крикам. Но если крики не прекращались, то дверь с сильным рывком открывалась, и сыпались удары палок или прикладов на головы тех, кто стоял впереди. Поэтому кричать перестали. Тем, кто кричал, советовали подходить ближе к двери, чтобы им попало при открытии. Иногда для устрашения стреляли над вагонами.

Параш в вагон не дали. Воды тоже не дали. Стояли мы в закрытых вагонах около двух часов. Снаружи кричали и ругались немцы, в вагонах изнемогали пленные от тесноты и духоты.

4. В ПЕРЕСЫЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

От жары многие истекали потом. Воды не было, и никакие просьбы не увенчивались успехом. По небольшим делам делали в баночки и умудрялись выливать через заплетенные проволокой окошки. Постепенно все пришли в состояние полного изнурения от тесноты, жары, голода и жажды. Примирились, притихли и завяли с безразличием в глазах. Поезд тронулся, и под его толчки мы стали "утрастаться". Как ни странно, кое-кто сумел сесть на пол. Но всем места не хватало. Пришлось сидеть и стоять по очереди. При погрузке казалось, что мы задохнемся, но человек очень приспособляющееся животное, и его Бог наградил умом, который изворотлив даже в голодном теле.

Но жажда помогала нас. Ночью пошел дождь, сначала малый, а потом с крыши вагона потекли струйки. Те, что стояли у вагонных отверстий, ловили капли влаги, но мало что доносилось до рта. Проволока не давала возможности просунуть банку под струйки воды. Но задним ничего не досталось. На остановках патрули ругались и приказали опять заделать проволоку на отдушниках. Дождь скоро прекратился и жажда осталась по-прежнему с нами. Однако ощущалась не так остро, потому что ночная прохлада достаточно охладила вагон.

Несколько человек совсем не могли стоять, и их положили в один угол вагона. У одного была дизентерия. Организм больше не усваивал пищи. Вонь в вагоне теперь уже никого не трогала. Казалось, что все мы обречены на смерть.

Рано утром после многих стуков и ругни открыли вагоны на какой-то станции. Узнав, что в каждом вагоне есть умершие, немцы приказали их вынести и положить рядом с вагоном. В нашем вагоне умерло три человека.

Потом поочередно, по вагонам, приносили воду в ведрах. Это был наш завтрак. Хлеб, оказывается, нам дали на два дня. Те, у кого были банки, запаслись водой. Думаю, что мы уже были на территории самой Германии. Из вагонов никого не выпускали, и мы несколько часов простояли на этой станции. Здесь уже отцепляли отдельные вагоны и отправляли по назначению. По крайней мере, так нам показалось.

Потом повезли нас дальше, и под вечер поезд остановился на запасных путях в каком-то жидком лесу. Прoderжали в вагонах еще около часу и открыли двери. Приказали выйти из вагонов. И только сейчас мы увидели, что вокруг нас опять колючая проволока. Принимала нас по счету другая охрана, и по их обращению было видно, что мы здесь были не первыми. Под ругань и крики нас построили в одну колонну и погнали дальше. Прошли не больше ки-

лометра, и загнали нас за еще одну проволоку, за которой уж никого не было. Мы оказались одни и под открытым небом. Так нас и оставили на всю ночь, не дав ни воды, ни пищи. Под утро холод донимал и не было спасения.

Утром дали первый раз за два дня граммов 200 хлеба и теплую водичку, заправленную какой-то травой. Минут через 30-40 приказали готовиться к санитарной чистке, то есть к газовому прожариванию всей одежды от вшей, дезинфекции тела, стрижке и мытью. Для большинства из нас это было первое мытье теплой водой с момента попадания в плен. Было приятно смыть накопившуюся грязь, но изнуряющие детали вошеистребительной процедуры и вслед за тем стояние голыми целых три часа в холодном помещении оставили горький осадок.

Подобные санобработки повторялись потом много раз и каждый раз не лучше, чем первый. Для этой обработки использовались специально выстроенные здания со своим штатом обслуживающих. В данном случае обслуживающие были солдаты. Вот некоторые подробности этой обработки. Группами в 75-100 человек, в зависимости от помещения, вводили в барак и приказывали раздеться догола и положить свои вещи в общую кучу. Предметов личного употребления, таких, например, как расчески или бритвы, мне кажется, ни у кого уже не оказалось. Потом подкатывали тележки, грузили всю одежду на них и увозили. Обслуживающий персонал был в спецформе. Обувь не всегда забирали. Но в этот первый раз забрали и обувь для дезинфекции. Нас группами уводили принимать душ и давали по маленькому кусочку мыла. Первым группам доставалась еще горячая вода, но последним пришлось мыться чуть теплой. Перед уводом в душ всех стригли под машинку, удаляя волосы на всем теле. После душа отводили в другую комнату, чтобы не смешивать "вшивых" с "бесвшивыми". Барачные комнаты не отапливались, и мокрое тело высыхало, дрожа на холоде. Страшно было смотреть на живые трупы, у которых остались только кости и кожа, а живот прирос к позвоночнику.

Процедура вошебойки продолжалась по крайней мере 3-4 часа. Вшей убивали одновременно температурой и газом. Мне кажется, хлорным, потому что он резал глаза до слез. Перед тем как допустить до одежды, обсыпали все вшивые места тела каким-то порошком, а иногда какой-то жидкостью, которая, казалось, сжигала все тело. Голову тоже посыпали.

Потом вводили в жаровню, где прожаренное обмундирование лежало кучами и было еще горячим. Начиналась возня с разборкой вещей. Найти свои вещи оказалось не так легко, а немцы все время подгоняли. Получилось так, что тот, кто мог постоять за себя, хватал лучшие вещи, если они ему подходили по размеру, и одевался. Бедолагам и доходягам досталось то, что осталось после разборки. Немцы не обращали внимания на жалобы, да и языка никто не

знал. Ликовали сильные, законы джунглей шли в ход. После этой нашей первой вошебойки многие потеряли свое хорошее обмундирование и остались в тряпье. Не надо забывать, что среди нас было много переодетых в лохмотья, чтобы избежать плена или перейти через немецкие позиции в первые дни войны. Большинство из них все равно не ушло от своей участи, а когда вот подвернулся случай одеться опять в красноармейскую форму, то они его не пропустили.

Санобработка с прожариванием одежды продолжалась во всех последующих лагерях и в рабочих командах до тех пор, пока вши были уничтожены. Девиз у немцев был такой, что ни одного советского унтерменша со вшами не должно быть на территории "культурной Германии". Поэтому или вшам конец или унтерменшу. Иногда получалось и то и другое сразу.

Удивительное дело, что как бы тщательно ни прожаривали и газировали одежду, все равно вши появлялись через неделю-две. И опять эта проклятая вошебойка. Многие пленные сильно болели после такой обработки. Прошло не меньше года, а в некоторых случаях и дольше, пока избавились от вшей. Последний раз ходил я на эту обработку в начале 1943 года. Обыкновенно всю команду выстраивали, приказывали раздеться до пояса, и охранники осматривали под мышками и в рубцах одежды. Если находили одну вошь, то всю команду вели на санобработку. А это означало, что опять надо стоять голяком в холодной комнате 3-4 часа. Обыкновенно целый день уходил на вошебойку.

После окончания первой санобработки нас повели уже в другой лагерь, расположенный в двух-трех километрах от пункта вошебойки. У ворот с обеих сторон стояли два здоровенных верзилы с большими палками в руках. Это были полицаи. Наши, в советской военной форме. Палки были подняты и ждали нас. Когда мы проходили через ворота, то они опускались на наши головы. И опускались так часто, как быстро ими могли махать полицаи. "Удачный" удар убивал насмерть. Упавшего волочили в сторону и убийство продолжалось. Мне попало по правой руке выше локтя, но я проскочил, не упав на землю. Рука потом болела около месяца, а первое время я не мог ею ничего делать. Многим досталось хуже, большие травмы.

Так нас приветствовали в новом лагере. Немцы убийц не оставляли. Чем меньше "унтерменшей", тем лучше. В этом лагере система полицаев была еще лучше разработана, чем на польской территории. Это было где-то недалеко от города Риза, в нескольких километрах от аэродрома. Станция санобработки имела какое-то отношение к аэродрому.

Тут уже было несколько тысяч пленных. Все они прошли приблизительно тот же путь, что и мы. Прибыли из разных мест Польши и Украины. Бараков здесь тоже не было. Под открытым небом и днем, и ночью. Хлестал сентябрьский дождь, дул холодный ветер. Шинелей почти ни у кого не было. Чтобы согреться ночью, соби-

рались кучкой, стараясь стать друг к другу спиной. Образовывался большой круг человеческих тел, и нам казалось теплее. В середине этого свертка тел было выносимо, а снаружи все равно холодно. Особенно печальная картина была, когда шел дождь и нечем было укрыться и негде спрятаться.

Этот лагерь находился в Саксонии, почти рядом с рекой Эльбой, и был своего рода преддверьем, транзитным лагерем перед отправкой в главный интернациональный сборный лагерь (шталаг) Мюльберг, который находился тоже в Саксонии, меньше чем в 20 километрах.

Как и все другие лагеря, этот транзитный лагерь был разбит на секции, вмещающие по несколько сот человек. Многие, совсем ослабевшие от голода или болезней, не вышли живыми из этого „предлагеря”. К ноябрю месяцу 1941 года здесь набралось так много больных советских пленных, что их даже не отправляли уже в шталаг Мюльберг. Именно на базе этого транзитного лагеря образовался вскоре лагерь для туберкулезников, известный Цайтхайн.

В середине сентября дождь иногда шел по два-три дня без перерыва. Днем еще было ничего, а ночью хотелось лучше умереть, чем так страдать. В одну из таких ночей поднялся сильный шум и крик. В секции, отдаленной от нашей, терпение иссякло и около тысячи человек бросились на колючую проволоку. Знали, что смерть неминуемо ждет от немецких пуль. Проволоку повалили. Пулеметы заговорили с вышек, к ним присоединились винтовочные выстрелы. Многие пали здесь же на проволоку, некоторые пробежали несколько шагов за проволоку. Но спасения от пуль не было. Основная масса повернула назад. Охрана вызвала подкрепление и весь лагерь оказался под обстрелом. Пришлось лечь в грязь и воду и в таком виде пролежать до утра. Над головами время от времени строчили пулеметы.

Утром охрана боялась заходить в лагерь. Поэтому и несчастной, голодной пайки хлеба не было. К счастью, дождь перестал. Появились какие-то офицеры, пришли с переводчиками и сильной охраной. Что-то наподобие „расследования”, словно они не знали, что довело эту голодную и холодную массу людей идти на верную смерть. К вечеру привезли несколько сот брезентовых накидок и выдали по одной на четыре человека. Накидки были советские. Под ними хоть немного можно было укрыться от дождя.

К этому времени обмундирование изнашивалось, и многие были босиком. Хотя немцы и захватили советские военные склады, но нам обмундирования не давали.

С появлением накидок воровство оживилось, их начали воровать ночами. Ночью, обыкновенно, ложились на землю по три-четыре человека и сверху накрывались этими брезентовыми накидками. Но воры не спали. Привязывали к накидке шнурок или веревку и сильным движением срывали ее. Таким образом наша группа в три

человека оказалась без накидки. Мы быстро вскочили на ноги, но след исчез. Походили кругом, но ничего не нашли. Ворованные вещи продавались за хлеб, баланду или окурки. В каждом лагере был своеобразный базар, и тут он образовался. Воровали последнюю кроху хлеба и все, что можно было уворовать. С умирающего снимали все, что можно было снять. У него не было больше силы сопротивляться. Сильные побеждали. Ворованное шло на обмен. Животное поведение брало верх над разумом, который, вероятно, помутился от систематического голода. Жаловаться было некому. Так продолжалось во всех лагерях, но в рабочих командах все менялось. Там была своя дисциплина и свой суд.

Помог ли бунт, когда на проволоку бросилось несколько сот пленных, но нам прибавили по 50 грамм хлеба и "чай" по утрам приносили горячим. Вторым улучшением нашей участи была спешная отправка в шталаг Мюльберг. Хотя ото вшей мы еще не избавились, но каждый день партиями отправляли в этот лагерь. А может быть и потому, что с востока все больше и больше прибывало пленных и надо было двигать эту массу.

В начале октября и я попал с группой человек в сто или больше в Мюльберг. Первый раз мы увидели пленных других национальностей. Здесь были и французы, и поляки, и сербы, и англичане. Лагерь был вполне организован, с бараками и всеми другими пристройками. Советские пленные оказались в секции между французами с одной стороны и поляками с другой. У пленных каждой нации была своя кухня. Нас разделяла колючая проволока. Не могло быть никакого сравнения между внешним обликом советских пленных и пленных других национальностей. Мы все были доходяги, на нас страшно было смотреть.

Хотя это было запрещено, но французы начали нам перебрасывать через проволоку то кусок хлеба, то сигареты, то еще что-нибудь. Охрана была по периметру всего лагеря, но между секциями, разделяющими одну национальность от другой, тоже ходили охранники. Поляки не все и не всегда помогали. Иногда казалось, что им было стыдно признаться, что и они славяне, видя своих собратьев такими грязными, оборванными и голодными. Мне потом еще пришлось много раз встречаться с ними, но они никогда не были дружелюбными, и всегда ставили себя выше русских.

Они нас упрекали в том, что советская армия не оправдала их надежд. Как только они слышали, что Германия напала на Советский Союз, то решили, что войне долгой не быть, что Красная Армия разобьет немцев в шесть месяцев. А сейчас они видели нас в нашем плачевном виде и понимали, что их надежды были напрасны. Что могли мы им ответить? Чем могли оправдаться?

Приблизительно такого же мнения были и пленные других стран, все высказывали удивление, как немцы быстро двигаются к Москве. Только англичане были равнодушны и никогда не задавали

никаких вопросов. Одним словом, было полное разочарование в непобедимости Красной армии. Подтверждением были мы, оборванные, грязные доходяги.

В первые недели войны, когда победоносная немецкая армия катилась быстрым ходом к Москве, немцы включали громкоговорители по лагерю, чтобы все пленные слышали, насколько они сильны и непобедимы. Поэтому пленные и знали, как идет война на Востоке.

От голода мы не избавились и в этом интернациональном лагере под номером 4 (Мюльберг, Шталаг 4). Нам давали немного больше хлеба и суп был лучше. Та же баланда, но гуще: больше брюквы и картошки.

У пленных других национальностей баланда была гораздо лучше. Мы были на милости немцев. Все другие пленные, кроме советских, получали посылки Международного Красного Креста и этими посылками жили. Многие даже не ели немецкой баланды. Французы говорили, что они готовы отдавать нам свою баланду, но не знали как. А немцы это запрещали.

Советских пленных брали каждый день по 40-50 человек чистить картошку и брюкву. Думаю, что главным образом для немецкой охраны. А может быть, для пленных других стран. В нашем же супе картошка была только помыта, но неочищена. Желających чистить картошку рассаживали по кругу с кучей картошки посередине и давали ножи. Три или четыре охранника с младшим офицером кружили вокруг нас, чтобы мы не ели картошку. Но это не помогало. Мы умудрялись есть. Особенно страшно было попадаться младшему офицеру. Когда он замечал, что какой-то пленный положил в рот кусочек картошки, то подбегал к нему, приказывал раскрыть рот и если видел там кусочки картошки, бил немилосердно палкой и приказывал уводить провинившегося. Со своей палкой бежал он вокруг нас, как ошалелый. Но картошку все равно ели. Пошел и я один раз чистить картошку и наелся. Съел, вероятно, около четырех средних картошек и не был бит. Но вернувшись в барак думал, что отдам дух. Желудок разрывало и боль была невероятная. Всю ночь простонал без сна, утром стало легче, а потом и совсем хорошо. Но с тех пор больше не ел сырой картошки, хотя многие привыкли и продолжали есть, если подворачивался случай. Многие ели, несмотря на побои. Голод сильнее боли. Брюква переваривалась легче, но сажая чистить брюкву, немцы ее считали, и она была довольно большая, справиться с ней труднее было.

Для чистки картошки и брюквы отвели угол в нашей секции и обнесли его колючей проволокой. Когда партия пленных чистила картошку, то сотни глаз смотрели на "счастливицков" в надежде, что как-нибудь и им повезет дотянуться до картошки. Хотя бы горсть очисток захватить. Так как клетка для чистки картошки была небольшая, то очистки отгребались в сторону, почти под самую

колючую проволоку. Попытка подойти к проволоке, чтобы захватить горсть очисток, сопровождалась немецкой руганью, криками и угрозами. Но один раз молодой парнишка не усмотрел часового, протянул руку за очистками, да так и замер. Выстрел — и он был убит сразу. Даже руку не отдернул. Немец стрелял не дальше чем с 20-ти метров. И тут убитого оставили лежать два дня, наверно для острашения других. В эти дни никто не подходил к проволоке. Но этот урок не дал результатов, а прибавил только ненависти к немцам. Потом, правда, очисток больше не сгребали в кучи, а собирали в большие ящики и сразу увозили. Чтобы соблазна не было.

Мне смерть тоже заглянула в лицо в этом лагере. Я тоже глазел, как чистили брюкву. Один из знакомых, увидя меня вблизи ограды, толкнул ногой небольшую брюкву, которая покатилась под проволоку и прямо к моим ногам. Послышался дикий крик и дуло винтовки в мое лицо. Я обомлел, ноги подкосились и я упал на землю. Выстрела не последовало. Но намерение стрелять было в лице этого фашиста, не знаю только, что его остановило. Мое ли испуганное лицо, резко побледневшее, или что-то другое. Но он опустил винтовку, приказав перебросить брюкву на другую сторону, а мне убираться подальше от проволоки. До сих пор помню, что я был от смерти на один волосок.

Из этого лагеря почти каждый день брали группами советских пленных на работы. Сначала на добровольных началах. Почти все хотели идти работать, надеясь, что, может быть, там дадут больший кусок хлеба. Иногда оно так и было. Если попадали к хорошему фермеру, то он давал что-то поесть, а иногда и хорошо. Но чаще бывало, что, проработав весь день, пленные ничего не получали. Расстратив остатки энергии, они еще больше страдали голодом. Охотников оказывалось все меньше и меньше. Тогда выстраивали в строй, и немец выбирал по виду, кто молодой и не доходяга, и уводили куда-то.

Среди пленных появились "шакалы", которые выскакивали из барakov раньше других, проверяли все уголки ограды, подходили ближе к ограде пленных другой страны и кланчили если не словами, то жестами. Один из таких даже умудрился каким-то образом перелезть во французскую зону и пробыть там целый день. Под вечер патрульный немец привел его назад. Мне кажется, без наказания. Но потом поставили часового между нашей клеткой и французской с одной стороны, и польской с другой. С третьей стороны и с четвертой было пустое пространство, по которому ходили часовые.

В этом лагере уже были двух- или трехэтажные нары с соломенными матрацами, да и боязнь, что украдут одежду. Уборные были уже с водой, так что можно было помыть лицо. В вошебойку нас больше не водили из этого лагеря, насколько мне помнится. Но это не означает, что не было вшей. Они были. Можно сказать, что после

многочисленных вошбоек в предыдущих лагерях мы избавились от вшей на 75%.

Советских пленных не задерживали в этом интернациональном лагере на долгое время. У немцев уже была разработана программа для использования нас на всевозможных работах.

Примерно через неделю после прибытия нашей группы начались отправки на работы группами от 25 до 100 и больше человек. Мы были в первых волнах советских пленных, достигших Германии. С нами немцы и начали делать всевозможные эксперименты, вплоть до газовых камер: смертельный газ, которым потом убивали людей в немецких концлагерях, был испытан на советских пленных. Советский Союз не признавал нас как военнопленных, и защиты никакой у нас совсем не было. Немцы делали с нами, что им на ум придет. Главная цель была вытянуть из нас физически все, что было возможно, вытянуть любым методом и как можно дешевле.

С первых дней отправки в рабочие команды искали среди нас людей с определенной профессией. Но так как каждый пленный хотел вырваться из лагеря, надеясь, что, куда бы его ни послали, будет лучше, то большинство оказывалось той профессии, какую требовали. Немцы и здесь скоро поняли, в чем дело, и перестали спрашивать специалистов. Отсчитывали нужное количество пленных из выстроенной колонны и отправляли. Иногда приезжали сами работодатели и выбирали пленных для своего предприятия по внешнему виду: более молодых и здоровых. В шахты мало было желающих, если заранее знали, куда набирают. Работа у фермеров пользовалась самой лучшей репутацией. К сожалению, только считанные пленные оказались счастливыми и попали к фермерам. Немцы иногда ради шутки выдумывали самые курьезные специальности и, к их удивлению, такие находились.

Больных и доходяг не брали, а отправляли в специальные лагеря. В этой части Саксонии это был Цайтхайн, лагерь для туберкулезников, который я уже упоминал.

С начала войны и до зимы 1941-42 года советские пленные непрерывной цепью поступали в немецкие шталаги и без особенных задержек отправлялись в рабочие команды. С наступлением холодов эти потоки замедлились.

Пленные из рабочих команд очень редко возвращались в шталаги. Попав на работы, они или выживали, или гибли и их заменяли другими. Если они отказывались работать или убегали из команд, то часто попадали в концлагерь. Это зависело от того, как они вели себя во время бегства, и от коменданта рабочей команды. Беглецов почти никогда не возвращали назад в ту команду, из которой они бежали. Если не в концлагерь, то переводили в другую команду.

5. В РАБОЧЕЙ КОМАНДЕ

Плохо было пленным в больших командах на заводах и шахтах, где плохо кормили, а заставляли много работать. В командах до ста человек было сносно. В основном, можно сказать, что чем меньше команда, тем жизнь пленным была лучше.

В двадцатых числах октября я попал в группу 37-ми человек для отправки на работу. Никто нам не сказал, на какую работу и где. Повели нас на железнодорожную станцию и к нашему удивлению погрузили не в товарный вагон, а в нормальный, пассажирский. Нас сопровождали два солдата, присланных из того места, куда мы ехали работать. Этим же поездом ехали и немцы, но только не в одном вагоне с "унтерменшами".

Выехали мы часов в 5 после обеда, ехали целую ночь с большими остановками. Нас отцепляли от одного поезда и прицепляли к другому. Нам всем хотелось думать, да мы так и думали, что нас везут на легкую работу, а главное, что нас кормить будут лучше, чем в лагере. Такова уж природа человека — всегда надеяться на лучшее.

В приятных размышлениях и с голодным желудком привезли нас на утро в маленький город Ошац, где-то между Дрезденом и Лейпцигом. Расстояние между шталагом Мюльберг и Ошацом около 75 км. На станции стояли мы долго. Часов в десять утра повели нас по улицам города. Любопытных немцев было порядочно на тротуарах. Может быть, они специально пришли посмотреть на "унтерменшей" с Востока? Некоторые, увидев нас, отворачивались с презрением.

Привели нас в большой двор, огороженный, который упирался одной стороной в двухэтажное здание с решетками на окнах. Из-за решеток были видны люди, и вскоре мы слышали польскую речь. Это был лагерь военнопленных польских офицеров. Ввели нас в кирпичное здание и приказали раздеваться. Мы были в вошебойке. Очередная санобработка, чтобы сдать нас в рабочую команду без вшей. Началась знакомая рутина: раздевание, сдача одежды для прожаривания и газдезинфекции, почти холодный душ и несколько часов в холодном помещении. Процедура отняла почти целый день. Только примерно к пяти часам мы были обезвошены. Часов ни у кого не было. Время угадывалось по солнцу и наступлению сумерок. Опять повели к поезду, поместили в вагон, сказав, что ехать нам не больше часа. И действительно, не прошло и часа как поезд остановился в какой-то деревне, наш вагон погнали на запасной путь, а мы оказались у здания, около которого уже стояла кучка наших собратьев. Они, оказывается, уже работали здесь около

трех недель. Никто нас не приветствовал радостными голосами. Пошли обыкновенные расспросы: как кормят, какая работа, откуда приехали. Одним словом, знакомились здесь же, на улице, под надзором охраны. Говорили, что работа тяжелая, но кормят гораздо лучше, чем в общих лагерях. Но за лучшую пищу надо вкалывать до потери сознания.

Было уже совсем темно, когда мы приехали. Нас ждал суп. И еще какой суп! Как говорится, ложкой не провернешь. В супе кроме картошки и фасоли были даже кусочки мяса. Большой котел такого супа в наше распоряжение! На 37 человек. Нам дали глубокие миски и настоящие ложки. Сказали, что можно есть, сколько влезет в желудок. После почти четырех месяцев голода можно себе представить, с какой яростью мы набросились на этот суп. Несколько длинных столов со скамейками в маленьком помещении — это была своего рода столовая. Тесная, но столовая. Многие старались побыстрее есть, думая, что не хватит всем. Помню, что я съел четыре миски этого густого супа. Больше не лезло. А супа все еще осталось много.

Это был своего рода психологический подход. Немец, который нас кормил и под чьей крышей мы спали, хотел сразу произвести хорошее впечатление. Но многие долго помнили послесупенную ночь. Включая меня. Думал, что не доживу до утра. От большой массы съеденного супа разрывало желудок. Мышцы желудка растягивались, причиняя сильную боль. Удивительно, что мало кого рвало. Тем было легче. В большинстве же случаев организм отказывался выбрасывать то, что было положено в желудок. Только после четырех или пяти часов немного стало легче. Но растянутый желудок, его левая часть, где он как бы выпирает под ребра, осталась у меня растянутой на всю жизнь. И сейчас, спустя почти 45 лет, стоит мне немного переест, как чувствую то растянутое место. Доктора называют это желудочная грыжа. Правда, никто не умер от переедания, но ночь прошла тяжело для многих.

После обильного супа нас распределили по трехэтажным нарам. Так как приехавшие раньше заняли все нижние нары, то нам достались верхние и неудобные. Во-первых, все мы были очень слабыми, чтобы залезть на самый верх нар. Во-вторых, верхние нары были под самым потолком, и там нельзя было не только встать в полный рост, но даже стать на колени не было возможно. В-третьих, чтобы слезать за надобностями по ночам, надо было становиться на нары первого и второго этажа. Значит, будить и трясти нары. Начиналась ругня. Выбора не было, что досталось, то и взяли. Помещение с нарами было очень маленькое, а нас всех было 76 человек. Хотя снаружи было уже холодно, но в этом помещении не хватало воздуха и стояла духота. Здесь же в углу ставилась на ночь неизбежная параша, которую по очереди утром выносили за сарай.

На следующий день нас, новоприехавших, еще на работу не

погнали. Многие из нас были буквально в отрепьях и почти босиком. В этот день нам дали, но не всем, старое обмундирование немецкой армии, от Первой мировой войны. Хранили почему-то. В это обмундирование были одеты почти все советские пленные. Цвет был какой-то темно-синий. На брюках и на спине пиджака были написаны красной краской две буквы SU, означающие Советский Союз. Нельзя было не заметить нашего брата. Эти буквы так и бросались в глаза. Тем, у кого было свое обмундирование в более или менее хорошем состоянии, ничего не дали. Но буквы тоже написали. Нас метили, как овец. Постепенно, с течением времени, когда наше советское обмундирование износилось, мы все оказались одетыми в темно-синюю форму с красными метками SU.

Всем нам, без исключения, достались деревянные колодки. В этих колодках мы были все рабочие часы. Снимали их только на ночь. В колодках и на работу шли, и работали. Ступни в этих колодках не сгибались и растирались до крови. Но колодки служили немцам верно. В колодках нельзя было бежать: они слетали с ног на ходу. Быстро идти тоже не было никакой возможности. Для охраны почти 80-ти человек требовалось только два-три конвоира. В сыкоть и дождь, в снег и жару колодки верно стерегли нас. Когда колонна в 76 человек шла на работу, то вся деревня слышала. Наши колодки громыхали по булыжникам. Зимой многие падали: колодки скользили по льду.

После выдачи обмундирования начальник охраны без переводчика сначала говорил нам что-то нормальным голосом, потом все громче и громче, и дошел до крика, со всеми немецкими ругательствами. Обычно, когда он входил в азарт, то вскакивал на стол, который стоял здесь перед зданием, около кухни, и начинал ораторствовать. У него всегда был ловкий прутик в руке, для устрашения. Он иногда и прикладывал его к нашим спинам. Поучал нас, как мы должны работать, и кричал, что мы русские свиньи и что Германия научит нас, как жить.

Потом каждого в отдельности спрашивал и записывал один из солдат — что мы делали до войны. Когда очередь дошла до меня, то я сказал, что был учителем, что была правда. Тогда ты знаешь немного немецкий язык, сказал он мне. Нет, не знаю, хотя учил в школе. Понимал я его лучше, чем другие, несколько немецких слов все же остались в голове. С тех пор начальник охраны вызывал меня и требовал, чтобы я переводил все сказанное им. Как я мог переводить, когда у меня не было почти никакого запаса слов? Все же часто я понимал, что он говорил, и как умел передавал другим, но когда надо было перевести с русского на немецкий, то были всевозможные трудности. А отказаться было опасно. Мог избить не только начальник охраны, но и его солдаты. К счастью, все это скоро кончилось.

Наша работа оказалась очень тяжелой. Нас заставляли копать

белую глину, называемую каолином. Каолин — минерал, будто бы впервые открытый в китайском городе Каолине, отсюда и пошло его название. Этот минерал употребляется во многих отраслях индустрии. В Германии во время войны его использовали для производства алюминия. По крайней мере, нам так объясняли немецкие рабочие, работавшие с нами. Они же были и нашими учителями. Некоторые из нас работали в шахтах под землей. Другие снимали первые 2-3 метра грунта и доходили до белой глины. Затем нагружали в вагонетки малого размера, подкатывали их по рельсам к железнодорожным вагонам и опрокидывали в них глину. Мы еле могли поднимать сами лопаты. А здесь еще надо было захватить на лопату тяжелую глину. Часто охрана была жестокая и заставляла набирать по целой лопате каолина. Но редко кому из нас удавалось поднять такую лопату и опрокинуть в вагонетку. Многие падали, а потом еле поднявшись в колодках, опять тратили последние силы. Иногда попадались неплохие охранники. Они отходили в сторону и не смотрели, как мы работаем, а гражданские немцы, которых было, кажется, только четыре человека, ничего не могли с нами сделать. На нас кожа да кости. Что спросишь с таких полускелетов? Выматывались мы полностью за целый день. А день рабочий был от восхода солнца до заката.

Утром нам давали кусок хлеба в 300 грамм и горячую водичку, немного подслащенную. Какую-то траву бросали для настоя. Пайку хлеба надо было разделить на две части, чтобы во время перерыва в 12 часов что-то было в кармане. У некоторых хватало силы додержать жалкие крохи, а многие так всю пайку и съедали утром. Днем нам ничего не давали. Вечером по тарелке супа. Он был лучше, чем в сборных лагерях, но его было мало. Здесь была определенная порция. Так что от голода мы не избавились, а надо было работать. Суп, с которым нас встретили по приезду, ни разу не повторился за все то время, что я был в той рабочей команде. Нас запирали сразу же, как мы кончали суп.

Копание глины забирало больше энергии, чем могла дать наша пища. Пленные старались выкраивать себе минуты отдыха, прячась где-нибудь в шахте или делая вид, что работают. Медленно, но многие стали поправляться от прежних лагерей.

Среди охранников были разного рода люди. Некоторые входили в наше положение и не обращали внимания, как мы работаем. Но два человека были звери. Никакие мольбы не помогали: они избивали пленного, который не мог быстро идти, а когда падал, то пускали в ход приклады. Начальник охраны, если замечал человеческое отношение своего солдата к пленным, то пугал Восточным фронтом. И не только пугал, но часто и отправлял туда. Конечно, не он отправлял, но давал такую характеристику, что тот попадал на фронт.

Посылали нас на работу даже больных с температурой. Были

случаи, когда больной падал по дороге, и никакие приклады не помогали. Тогда его относили в барак и оставляли лежать.

Когда пленный доходил до черты полуживого человека, и даже изверги солдаты видели, что никакая сила его не поднимет с нар, его отвозили на пункт санитарной помощи. Это не была больница. Это была свалка нетрудоспособных пленных.

Компания, для которой мы работали, называлась Кольдиц. Ей понадобилось около ста человек для белой глины. Вот в сборный лагерь пришел заказ на нужное количество пленных. До нас там уже было несколько человек. Можно сказать, они были пробными, чтобы убедиться, могут ли работать "унтерменши" на раскопке каолина. Убедившись, что из них можно все же что-то выжать, попробовали еще пару десятков.

Для того чтобы нас кормить, дать место для нар и мало-мальски человеческие условия, компания Кольдиц искала подрядчика. По условленной с фирмой цене он брался кормить нас и давал помещение. От нашего пайка он урезывал себе и своим домашним животным (у него были свиньи на откорм). Одним словом, ему надо было выжать прибыль из нашей спины.

Кухня была рядом со свинарником. Вернее, эта кухня раньше была для свиней, а сейчас здесь варили суп и нам и свиньям. Один пленный проскочил к свиньям и увидел, что их пища лучше нашей. После него пробовали другие, часто unsuccessfully и с тяжелыми наказаниями.

Какая-то инспекция изредка наезжала, но нас не спрашивали о наших жалобах. А узнавали мы об этом от охраны, среди них изредка попадались порядочные люди. Инспектор, надо полагать, получал взятку в какой-то форме и уезжал. А мы оставались в прежнем положении. Только тогда, когда почти половина команды еле волочила ноги и трудоспособность спустилась до ноля, комендант (он же начальник охраны) обращался к нашему хозяину-кормильцу, и совместно они договаривались немного улучшить питание, а то всех придется отправлять на свалку. Несколько дней пища была лучше, но постепенно приходила опять в прежнюю норму.

Часто наш комендант продавал нас на воскресный день какому-нибудь фермеру. За это он получал взятку от фермера по уговору. Почти каждый фермер кормил пленных в этот день. И часто кормил очень хорошо. Поэтому все старались попасть на такие воскресные работы. Но не всем это удавалось. В начале ноября человек шесть отправили в воскресенье на очистку брюквы. В эту группу попал и я. Брюква уже была выкопана трактором, а мы должны были отсечь ботву от самой брюквы. Наелись мы брюквы от пуза. И хорошо сделали, потому что этот фермер никакого обеда нам не дал.

Во время работы бежать можно было в любую минуту. Но куда бежать, когда еле волочишь ноги? Не было даже ни одной по-

пытки за все время, пока я там был. Во время перерыва в полдень на 30 минут мы разбредались по ближайшему полю, на котором летом росла редиска, теперь уже убранная. Но мы все же находили невыкопанную и ели.

Спали мы в небольшой комнате, которая в нормальное время могла вместить не более 10-15 человек. Но нас набили туда 76. На нарах были соломенные матрацы и такие же подушки. В комнате постоянно стояла вонь, особенно когда шел дождь и мы приходили с работы мокрыми. Воздух всегда был спертый, его просто не хватало. Окна с решетками всегда были закрыты. Собственно, это был обыкновенный фермерский дом. Его перегородили на две части: в одной помещались пленные, в другой охрана. Пять человек охраны занимали такую же площадь, как и мы, 76 человек. У них осталась уборная, а нам надо было употреблять парашу.

По утрам мы мылись на улице. Там устроили что-то наподобие умывальника: жестяное корыто с десятком отверстий по дну с металлическими закрывалками. На месяц выдавали маленький кусочек мыла и полотенце.

Было почти невозможно хорошо отдохнуть за ночь в перенаселенной комнате со спертым воздухом. Начались декабрьские холода и с ними болезни. Если охрана убеждалась, что пленный действительно болен, то ему разрешалось оставаться и не выходить на работу три дня. Через три дня он либо выходил на работу, либо его отправляли на свалку.

6. РЕВИР В ОШАЦЕ

Не прошло и двух месяцев как меня обсыпали фурункулы, или чирьи по-простонародному. Они были у меня уже и раньше, с августа, но не в таком количестве, и проходили. Здесь же я, вероятно, простудился, и фурункулы появились в таких местах, что нельзя было ни ходить, ни работать.

Через три дня они не прошли, и потащили меня на свалку в так называемый "ревир". Сначала километров 15 на поезде, а потом еще 4 километра надо было идти пешком. Я почти не мог ходить из-за сильной боли. Со многими остановками и стонами кое-как доплелись, с частыми подгонами конвоира. Когда пришли в приемную врача, я так и шлепнулся на пол. Никого это не удивило. Как будто нормально. Подошел немец фельдфебель, который заведывал этим ревиrom. Посмотрел и решил, что оставить. Только после его осмотра подошел также доктор француз. Увидев распухшие ноги и множество чирьев, он велел положить меня на нары в барак. Там меня бросили и передали под начальство ревира, где была своя охрана и свои порядки.

Что такое "ревир"? В русском лексиконе нет такого слова. В немецком языке оно имеет десять понятий, в зависимости от того, где и для чего употребляется. В нашем случае это означало помещение для больных или нетрудоспособных по болезни. Это не больница и не пункт скорой помощи. Конечно, ревир иногда служил и тем и другим. Но его прямое назначение было: дать временный приют слабому и нетрудоспособному человеку на ограниченное время.

Я хорошо знаю немецкие ревиры для пленных, потому что весь плен проработал в двух ревирах. Могу в малейших деталях описать, что и как делали в ревирах и как лечили советских пленных.

В ревирах были только самые доступные лекарства и в очень ограниченном количестве. Никаких операций, даже самых простых, в ревирах не делали. Немцы не разрешали и не давали для этого никаких инструментов. Единственной помощью больным в ревирах было полное освобождение от работы. Они могли лежать, отдыхать, выходить из бараков и дышать свежим воздухом, когда было тепло. Это и было лечением. Кормили в ревирах хуже, чем в хороших рабочих командах.

Ревир, в который меня привезли, был для французских, югославских и польских пленных. Отдельных ревилов для советских пленных еще не было в Германии осенью 1941 года. Но больные и слабые советские пленные прибывали в ревиры каждую неделю. До моего приезда там уже было около 30 советских пленных, и места для всех не хватало. Нам отвели одну комнату барака, в других двух помещались другие национальности. Русских докторов тоже еще не было. В этом ревирах для всех пленных был только один французский доктор и два санитары. Доктор немного говорил по-немецки и с горем пополам договаривался с другими национальностями. Лекарств для советских пленных никаких не было. Доктор-француз говорил, что у него совсем немного лекарств от Международного Красного Креста, но это только для французов и поляков. А для русских то, что немцы дадут.

Советских пленных оставляли без всякого внимания. Правда, доктор-француз обходил нашу комнату с фельдфебелем и говорил ему, какие кому лекарства нужны, заранее зная, что немцы ничего не дадут. Вся надежда была на сам организм человека: молодые выздоравливали быстрее, с пленными постарше дело было плохо. Серьезными болезнями почти никто не болел. 90 % советских пленных попадали в ревир от изнеможения и голода. После двух-трех недель обычно поправлялись и шли обратно в команду. Некоторые задерживались до двух месяцев. Если пленный не выздоравливал — его отправляли в специальный лагерь для настоящих больных, где ничто хорошее его не ожидало.

Иногда во время обхода палат у доктора-француза бывали стычки с фельдфебелем-комендантом ревира. Комендант хотел побыст-

рее выписывать пленных назад в команды, а доктор настаивал, что пленный еще не поправился. Спор иногда оканчивался тем, что доктор снимал халат и говорил фельдфебелю, что если он знает медицину лучше, то пусть сам лечит советских пленных. Тогда немец терялся и уступал. Он, думаю, боялся, что если француз пожалуется немецкому военному доктору, то он получит выговор. Военный доктор в чине майора приезжал в ремир каждые две-три недели. Фельдфебель был только санитаром в Первую мировую войну и теперь служил в армии добровольцем. Ему дали административную власть, но не решение медицинских вопросов. Я был удивлен поведением доктора-француза. Потом, уже позже, когда появились русские доктора, они редко спорили с фельдфебелем.

Если советских пленных приводили с переломами рук или ног, то доктор со своими санитарями справлялись с этим и клали в гипс без наркоза, редко с местным. Карбункулы или фурункулы тоже разрезали. Одним словом, если что-либо было поверхностное и доктор решал, что он может это сделать, то делал. Обычно он был занят приемом больных четыре дня в неделю. В какой-то день приводили французов, в другой поляков и сербов, а потом добавились советские пленные.

С появлением советских пленных дело осложнилось. Они повалили толпой и не хватало места. Доктор-француз был занят своими пленными, и для советских у него не хватало времени. К тому же он никак не мог договориться с русскими: они не знали ни немецкого, ни французского, а он не знал русского. Это его злило и нервировало. По этой причине все "лечение" советских пленных было в руках фельдфебеля. А так как лекарств не было, то одно время он решил, что физическая зарядка будет хорошим лечением для русских. Начал по утрам подымать с постели даже тех, кто не мог ходить от слабости. Для устрашения он всегда ходил с прутиком в руках. Но надо отдать ему справедливость: он очень редко пускал в ход свой прутик.

Первые две недели я почти не вставал. Разрезав несколько фурункулов, доктор-француз сказал мне, что ничем больше помочь не может. Лежи, мол, и все пройдет. А фурункулы облепили меня со всех сторон. Даже зяблый фельдфебель с прутиком не подымал меня с нар. Потом мало помалу одни фурункулы стали заживать, но на их место появлялись другие. Прошло два месяца, и за мной из рабочей команды уже приезжали несколько раз. Но доктор-француз постоял за меня, говоря, что я еще не гоюсь для работы.

С каждой неделей советских пленных прибавлялось в ремире, и к февралю-марту места совсем не стало. Сначала убрали сербов, потом поляков, а потом и французов. Остались только советские пленные без доктора. Француз приезжал один раз в неделю, а в другое время мы были на полном "лечении" фельдфебеля, которого

мы окрестили немецким словом "рундо". Он так часто употреблял его, что оно прочно пристало к нему.

Через несколько недель я уже поправился достаточно, чтобы ходить. Когда ушли пленные других национальностей, комендант задумался, как же регистрировать советских пленных: языка никто не знает. С самого начала мы были под номерами, которые получили в шталаге. Номера были на алюминиевых пластинках и носились на шее. У меня был 123999. Фельдфебель задумал составить список советских пленных по именам.

Так как я был уже старожил и он знал меня в лицо, то в одну из проверок на вшей он спросил меня, знаю ли я немецкий алфавит. — Три года учил немецкий язык и конечно знаю. — Почему ты раньше не сказал мне? — Вы не спрашивали. — Вот теперь составь список всех советских пленных в ревире. — Он принес и карандаш и бумагу. Я постарался, написал как можно лучше. Ему понравился список, и он начал с моей помощью произносить русские фамилии и имена. Произносил он русские фамилии довольно хорошо и очень этим хвастался. Он удивлялся, что некоторые звучат почти как немецкие. Вот был пленный Гольцев. У коменданта стукнуло в голову, что, вероятно, эта фамилия от немецкого слова "хольц" — дрова, стройматериал, и к нему добавлено русское окончание. Но как это утратить в уме: почти немецкая фамилия у "унтерменша"?

Список-то я ему написал, но разговаривать более или менее прилично без словаря не мог. Попросил его достать мне словарь. Прошло несколько недель, и вдруг он принес мне замечательный русско-немецкий и немецко-русский словарь Лангеншайда.

Теперь уже во время приема я записывал фамилии русских пленных, из какой рабочей команды и диагноз доктора. Завелась книга, которую фельдфебель показывал инспектирующему военному доктору. Увидев, сколько больных советских пленных в нашем ревире, этот доктор, по фамилии Шмидт, распорядился, чтобы фельдфебель поехал на какой-то военный пункт и получил самые необходимые лекарства. В первую очередь аспирин, противинфекционные таблетки и раствор глюкозы в ампулах. Все это в очень малых количествах. Прописывать эти лекарства мог только доктор-француз, и хранились они под замком. Конечно, фельдфебель брал себе, как потом мы убедились. Ключ от шкафа был у него.

Когда дошло дело до уколов и некоторым больным надо было делать их регулярно через день или два, то доктор-француз сказал, что ему и его санитарам некогда: не будут же они приезжать за четыре километра, чтобы сделать три-четыре укола глюкозы.

"Это ваши пленные. У меня достаточно моих французов. Я покажу вам, как делать внутривенные вливания, и вы должны делать. Не хотите, пусть умирают. Это ваши люди, не мои," — сказал он мне. — "Доктор, я с медициной не знаком. Уколов никогда не делал. А что если я плохо сделаю?"

Но выбора не было. Я согласился. На двух пленных он показал мне, как делать уколы, потом смотрел, как я делаю, и признал, что я делаю хорошо. С тех пор он переложил на меня все уколы и раздачу таблеток. Фельдфебель тоже одобрил решение француза. И я по стечению обстоятельств сделался почти что фельдшером. Скажу не хвалясь, что ни разу не сделал ни одного неудачного укола с плохими последствиями.

Из моей команды меня требовали и пытались несколько раз забрать назад, но за меня уже были и комендант и доктор. Фельдфебель отвечал, что я ему нужен в ревире, и стал искать пути, как бы меня оставить в ревире постоянно. Его план утвердил доктор Шмидт. И так я стал эрзац-доктором.

Для меня это была очень радостная новость — променять работу в шахте на легкую работу в ревире. Мой язык быстро прогрессировал, и через шесть месяцев в ревире у меня уже не было трудностей объясняться по-немецки.

Отношение доктора-француза к советским пленным никогда не было враждебным, но близости тоже никогда не чувствовалось. А когда пленных перевалило за 60, он очень уж стал нервничать и раздражаться. Во время обхода он теперь редко интересовался болезнью пленного, поправился он или нет, а задавал только один вопрос: хочет ли пленный назад в команду или хочет побыть еще в ревире. Я тоже шел с ним со списком больных, отмечая, кому какие таблетки давать.

К концу 1941 и началу 1942 года ревир был настолько переполнен советскими пленными, что некоторые лежали на полу. Очень часто из команд пленных привозили на ручных тележках, потому что они не могли идти. Было несколько человек с опухшими ногами из-за голода.

Организация ревира только для советских пленных началась сразу по уходе последних пленных французов. Вскоре один из больных стал поваром. Больших знаний не требовалось, чтобы сварить брюквенный суп, закипятить воду и разрезать хлеб на пайки. Вскоре среди пленных рабочих команд нашлись два санитары и фельдшер. Санитары смотрели за постельными больными, а фельдшер оказался очень малознающий. Иногда казалось, что он выдумал себе фельдшерскую специальность. Через некоторое время это стало очевидным, и фельдфебель отправил его назад в команду, из которой он пришел.

Ключи от шкафа с медикаментами фельдфебель не выпускал из своих рук. Нам он не доверял и даже пробовал сам раздавать лекарства по предписанию доктора, а часто и по своей инициативе, показывая этим самым, что он не совсем профан в медицине.

Что представлял собой ревир внешне? Это был своеобразный лагерь малого размера. Вся его территория занимала площадь примерно 75 метров в ширину и 150 в длину, с проволоочной оградой

в один ряд. Никаких вышек по углам не было. На территории лагеря было два отдельных длинных барака под прямым углом друг к другу; умывальня с холодной и горячей водой и деревянным настилом на цементном полу. С обеих сторон оцинкованного умывальника в форме желоба, разделенного на две части, было по шесть крапов. Холодная вода была всегда. Горячая только тогда, когда был приказ принимать душ. В умывальне было по два окна с каждой стороны. Рядом была уборная. Отдельно от других зданий в стороне стояла кухня, снабженная двумя вмурованными котлами; несколько больших кастрюль, черпаки, пара ножей, еще кое-что из кухонной утвари. В кухне также была маленькая кладовая, где хранился хлеб, нож для резанья хлеба и весы. На глаз хлеб не резали. Взвешивали каждую пайку.

За проволочной оградой, но совсем рядом с ней, стоял небольшой барак для охраны, а немного в стороне их уборная. Вход в лагерь был рядом: калитка, а также широкие ворота.

Метрах в 10-ти от ограды проходила шоссейная дорога на город Лейпциг. По другую сторону дороги находился учебный аэродром, который был тоже обнесен проволочной оградой и патрулировался часовыми с собаками.

Наш лагерь охранялся днем одним часовым, иногда двумя. Мне кажется двух часовых ставили тогда, когда ожидался приезд каких-нибудь высших чинов. Ночью постоянная охрана была только первые недели после основания ревира для советских пленных. Потом увидели, что бежать никто не пытается, и вокруг лагеря ночью проходил один часовой, может быть, каждые 3 часа. А часто за всю ночь никто не проходил.

До появления советских пленных ревир занимал два барака, в которых по комнатам размещались пленные разных стран. Но когда они ушли и остались только русские пленные, то немцы решили, что для нас достаточен будет один барак. В этом бараке было четыре комнаты. Самую большую отдели для пленных со всевозможными недугами, другую, поменьше, для туберкулезников и с инфекционными болезнями, а рядом была ожидалка и приемная комната доктора.

В начале 1942 года до Германии докатилась волна пленных Вяземско-Брянского окружения. По официальной статистике в плен было взято 657 тысяч человек. Тяжелая участь выпала на их долю. Голод, холод и русская зима скосила по крайней мере одну треть их числа. Эта волна принесла нам русского доктора.

Привели его в ревир, высокого, очкастого, с блондинистыми волосами. Ему было 28 лет. Москвич, окончил Второй медицинский институт в Москве. Я рассказал ему о делах ревира, о больных, обо всем, что я знал. В этот же день мы пошли по комнатам. На следующее утро фельдфебель сам лично хотел представить больных ревира во время утреннего обхода. К счастью, русский доктор не-

плохо говорил по-немецки. Через неделю приехал доктор Шмидт, в распоряжении которого было несколько реверов для военнопленных в Саксонии. После нескольких вопросов, и на медицинские темы и вообще, было видно, что немцу русский доктор понравился. Уезжая, Шмидт сказал нашему доктору, чтобы он написал список нужных для ревера лекарств. Это было что-то новое.

Список получился длинный, потому что доктор думал, что если из этого списка дадут хотя бы одну десятую, то будет хорошо.

Так оно и получилось. Через три недели фельдфебель принес лекарства по списку, но список не вернул. Конечно, лекарств оказалось гораздо меньше, чем русский доктор (я буду называть его в дальнейшем его инициалами Л.Н.) просил. А факт, что фельдфебель не показал списка, указывал еще на то, что он себе забрал какое-то количество лекарств. С лекарствами было плохо в Германии для гражданского населения. Позже мы узнали, что наш комендант обменивал таблетки на продукты у фермеров.

Нам так никогда и не удалось узнать точно, какой пост занимал доктор Шмидт. Судя по факту, что иногда он давал по списку дефицитные лекарства, которые Л.Н. даже не надеялся получить, но вносил в список на всякий случай, мы решили, что в его распоряжении были не только реверы для пленных. Он, вероятно, заведывал и гражданскими госпиталями. Иногда вдруг нам привозили по несколько тысяч таблеток витаминов С и D.

Воровство лекарств фельдфебелем вышло наружу совсем неожиданно. В один из приездов доктор Шмидт спросил Л.Н., как пошло больному какое-то лекарство, которое он утвердил по списку. Наш доктор сказал, что такого лекарства он не получал. — Как не получал? Я видел список, где отмечено, что получили. — Л.Н. ответил, что список ему фельдфебель не показывает, а приносит только лекарства. Разговор дальше не пошел. Но после этого случая комендант приносил лекарства вместе со списком. Надо полагать, что фельдфебель получил взбучку от Шмидта. Таблеток все равно часто недосчитывалось. Иногда фельдфебель говорил, что взял лично для себя или для охраны. Спорить было бесполезно, но иногда Л.Н. бросал несколько резких слов по адресу коменданта. Начинались трения.

В нашем ревере было два приемных дня: вторник и четверг. Мы обслуживали 25 рабочих команд, расположенных в радиусе не больше 15-20 км. В один день было невозможно принять больше 50-ти человек. Поэтому для каждой команды устанавливался свой день приема. В случаях серьезных заболеваний или ранений разрешалось приходить вне очереди.

Из одной команды приводили на прием обыкновенно 7 человек в сопровождении одного конвоира. Если число больных было десять или больше, то два конвоира. Это случалось редко. Если количество больных в команде превышало 8-9 человек, то комен-

дант рабочей команды выбирал тех, кто немедленно нуждался в помощи, а остальных оставлял на следующий прием. У него была своя мера определения "болезненности".

Первым делом в ожидалке измеряли температуру. Это было установлено нашим фельдфебелем как обязательное условие. Он очень верил в температуру. Доктор не противоречил. После этого по очереди входили в приемную, где был доктор, санитар и почти всегда фельдфебель. Там же в книгу я записывал имя и фамилию больного и тот диагноз, который поставил доктор. Все записи велись на немецком языке. Хотя я знал хорошо только два ревира, но мне кажется, такой порядок был во всех ревирах. Наш фельдфебель не знал русского языка, поэтому в разговор не вмешивался, и мы могли знать точную картину "болезни" пленного. Я поставил слово болезнь в кавычки потому, что очень часто никакой болезни не было и надо было ее выдумывать. Пленные уставали от работы и хотели отдохнуть несколько дней в ревире. С диагнозами пленного доктора фельдфебель соглашался почти всегда. Было несколько случаев, когда он хотел показать свои знания в медицине и вмешивался. Тогда Л.Н. поднимался со своего места и предлагал его фельдфебелю, говоря, что если он знает лучше, как поставить диагноз больному, то пусть ставит. Сам уходил в ожидалку. Кончалось тем, что фельдфебель, страшно нервничая, уходил совсем. Надо отдать ему справедливость, что он быстро отходил и никогда не вспоминал о том, что произошло. Он был верным служакой в прусском стиле. На первом месте у него была дисциплина и повиновение: нарушение закона или распоряжения должно было быть наказано. В столкновениях с русским доктором он знал, что он не прав, и поэтому не настаивал.

С температурой часто получалось комически. Если у больного была температура 39, то оставить его в ревире на несколько дней было делом решенным, хотя мы знали, да и больные нам говорили, что температуру подняли трением термометра об одежду. Это делалось, главным образом, для коменданта. Потом он сообразил, что здесь что-то не то, иногда стоял около больного, пока тот измерял температуру.

В первые недели по приезде русского доктора фельдфебель присутствовал при приеме больных почти каждый приемный день. Потом иногда только забегал на несколько минут и уходил.

Русский доктор мог не только оставить больного в ревире на неделю или две, но он также мог освободить его от работы в команде, максимум на три дня. В таких случаях больного не заставляли выходить на обычную работу, но часто заставляли подмести барак или выполнить какую-нибудь другую легкую работу. Как ни странно, но предписания доктора выполнялось немецкой охраной почти на сто процентов. Больного выгоняли на работу за редким исключением. Если этот факт доходил до нас, то мы были бессильны что-

либо сделать прямо. Для этого надо было настроить фельдфебеля, так сказать, на правильную ноту.

В таких случаях, играя на его мании величия, мы ставили его на первое место и говорили: мол, смотри, не выполняют предписания ревира, собственно, твоего ревира, ты же здесь голова. Тогда он входил в азарт и при нас разносил охранника, приведшего больных из той команды, писал записку коменданту команды и, к удивлению, все налаживалось.

Фельдфебель был верным служакой Гитлера, он верил в своего фюрера до самого последнего конца. Нельзя было никак заподозрить его в симпатиях к русским. Но нарушение приказа или распоряжения, исходящего из его ревира, не допускалось по его прусской морали.

Изю всей сети лагерей, шталагов, концлагерей и рабочих команд ревиры были единственным местом, где русский пленный мог рассчитывать на помощь. Конечно, все зависело от русского доктора. Были и такие, которые все дело отдавали в руки немцев и не могли или боялись постоять за своих больных.

Больных с серьезными болезнями лечить в ревирах не было никакой возможности. Даже для самых простых операций, таких как аппендицит, не было ни инструментов, ни оборудования. Болезни, которые не поддавались лечению таблетками, грелками, растиранием, уколами и банками, приводили больного в конце концов к могиле. Насколько я знаю, русским больным в обыкновенных ревирах операции не делали, а больниц для них не было. В немецкие больницы "унтерменшей" не принимали.

Ревирьы были, в своем большинстве, местом отдыха для физически вымученного организма. В команде держать такого было невыгодно для работодателя, раз для работы он больше не годился. Вот и везли таких бедолаг в ремир, где они не могли надеяться ни на хорошую пищу, ни на лекарства. Могли надеяться только на свой собственный организм. Молодые пленные в большинстве поправлялись, хотя пища в ревирах часто была хуже, чем в команде.

Нетрудоспособных пленных по несколько раз отправляли в ремир, но не чаще, чем один раз в два-три месяца. Если больной не поправлялся через 3-4 (редко 6-8) недель, то назад в команду его не брали. Таких больных отправляли в "свалочный лагерь" Цайтхайн, в 7-8 км от города Ризы на Эльбе.

В ревирах умирать "не разрешалось" по многим причинам, а главная была та, что негде хоронить "унтерменша". На немецком кладбище вместе с "оберменшами" — нельзя было в фашистской Германии. Зимой 1943 года у нас умерло два человека за одну неделю. Дело было в январе. Что делать? Фельдфебель решил похоронить их метрах в ста от лагерной ограды. Думаю, что он советовался с кем-то по этому вопросу. Может быть, с тем же самым доктором Шмидтом. Мне помнится, он привез наскоро сколоченные ящики.

Дело на этом не кончилось. Где-то и кто-то искал место для умерших, потому что оставить их на этом поле, вероятно, не разрешалось. Когда земля оттаяла, их выкопали наши санитары и еще двое пленных, положили в общий ящик и на ручной тележке повезли в город Ошац на городское кладбище. Там на самом краю кладбища уже была вырыта могила. Туда опустили ящик, засыпали (это делали пленные), тщательно сравняли могилу с землей и утрамбовали. Никакого признака могилы не было видно.

Как я сказал уже раньше, русских пленных не принимали в немецкие больницы ни под каким видом. Запомнился один случай, когда человека можно было легко спасти, но он умер, потому что был "унтерменш", и немцы не хотели спасать жизнь русского. Его фамилия была Зверев. Он был москвич. Работал в команде по разгрузке железнодорожных вагонов. Работать в колодках неудобно, особенно зимой. Он поскользнулся, упал на транспортер с углем и попал в какие-то валки. Ему оторвало всю ступню до косточки, и одна рука была переломана в двух местах. Переломы были закрытыми, но он истек кровью из ноги. Там торчали только кости. Когда его привезли к нам, кровь уже не шла. Он был в сознании и рассказал, как случилось. Человек он был сильного здоровья. Ему надо было немедленно сделать переливание крови. Нет сомнения, что он мог выздороветь через несколько недель. Наш доктор сказал, что нужна кровь и что каждый из нас готов дать своей крови сколько надо, если подойдет. Но как узнать, чья кровь подойдет? Фельдфебель отказался что-либо сделать, ссылаясь на то, что пленных-калек Германии не нужно.

Потом он пошел к шкафу с медикаментами, достал шприц и морфий и поднес русскому доктору. Доктор ответил, что убийством он не занимается и что если фельдфебель решил убить человека, то пусть сам делает. У фельдфебеля дрожали руки, но он сделал смертельный укол и быстро ушел. Остались мы смотреть, как умирает человек. Зверев сначала разговаривал, даже улыбался, когда морфий взял силу, но постепенно все медленнее и медленнее было его дыхание, и последний вздох он сделал через три минуты. И медперсонал и многие больные видели, как умирал один из нас. А ведь мог жить!

Единственный знаю случай, когда одному 19-летнему парню сделали нужную операцию за час или меньше и привезли назад в режир на тележке, когда он еще был под местным наркозом. Собственно, у него не было никакой болезни. Он работал у фермера, был в хорошем физическом здоровье, и его гормоны начали работать. Думаю, что с ним работали девушки-остовки. Гормоны-то работают, а дело с эрекцией плохо: приращение крайней плоти, сильная боль и все распухло. Упросили фельдфебеля позвонить высшему начальнику, чтобы сделали операцию в немецкой больнице. Какой-то немец-доктор согласился, с условием, чтобы парня

сразу же убрали назад в ревир. Я не знаю другого случая, когда бы "унтерменш" попал в немецкую больницу.

Туберкулез был самой распространенной болезнью среди русских пленных. За ним следовали воспаление легких, плевриты, простуды, фурункулезы и карбункулы. Ранения на работе, за редким исключением, были не серьезными, по крайней мере среди тех 25-ти команд, которые обслуживал наш ревир. Больных с хроническими заболеваниями легких, желудка, почек или печени отправляли в Цайтхайн.

В Цайтхайне скопилось около 50 тысяч пленных осенью 1941 и зимой 1942. Это главным образом измученные голодом и недугами пленные из польских лагерей. Их дальше и не отправляли. Они тут и осели в Цайтхайне. Потом потекли потоки и из ревиров, но еще немногочисленные. Никакого лечения в Цайтхайне не было, пища самая отвратительная. Нетрудоспособные немцам не нужны были. Оставили их на умирание. Зима 1941-42 года была самой страшной в этом лагере. За три с половиной месяца здесь умерло 37 тысяч. Тиф косил тысячи каждую неделю.

Когда эпидемия тифа захватила весь этот лагерь, немцы так боялись заразиться, что даже не входили в лагерь. В провололочной двойной ограде была сделана дыра, через которую бросали пленным пищу. Те, кто мог двигаться и мог подойти к проволоке, хватал, что попадало под руку, а кто не мог двигаться — умирал и от тифа, и от голода. Несколько русских санитаров выжило, и они вели картотеку погибших в эти месяцы. Эту картотеку продолжали до конца войны. К маю 1945 года в общей сложности, как говорил мне один доктор, пробывший в Цайтхайне два года, в этом лагере умерло больше 70 тысяч.

Эти детали мне известны по той причине, что мне приходилось несколько раз сопровождать туберкулезников из нашего ревира в этот лагерь, и я лично знал нескольких докторов, которые там работали. Обычно в такое однодневное путешествие отправляли одного или двух больных, одного из медперсонала и конвоира. Очень редко, но были случаи, когда больного везли на носилках. Тогда требовалось два человека из медперсонала. Так как наш ревир находился на расстоянии четырех километров от города Ошаца, то до железнодорожной станции мы шли пешком. В поезде мы занимали одно купе. Немцы нас сторонились, как чумы. Хотя до этого лагеря и было не больше 20 км, но уходил целый день, и мы возвращались только поздно вечером.

В мою последнюю поездку, в начале 1945 года, я сопровождал туда своего друга в бессознательном состоянии. У него был туберкулез головного мозга.

Одна еще деталь насчет лагеря в Цайтхайне. В этот лагерь поместили военнопленных девушек и женщин, которых взяли в плен под Вязьмой. Для них был отдельный барак, и их было там, ка-

жется, не больше 50. Некоторые из них работали фельдшерами и сестрами. Был слух, что тех женщин, которые попали в плен в самом начале войны, — просто отправляли как остопок и не сажали в плен. Так было до вяземского окружения.

Инициатива в отправке пленного в Цайтхайн исходила от коменданта. Когда он замечал, что больной уже три недели или больше в реви́ре и не поправляется, то он говорил доктору, что надо его отправить в туберкулезный лагерь.

Этого лагеря боялись, потому что оттуда возврата не было. Об этом знали во всех рабочих командах. Просили доктора повременить, не отправлять или задерживать отправку как можно дольше. В нашем реви́ре мы помогали всем, чем только могли. Ставили ложные диагнозы, чтобы обмануть коменданта, иногда прятали при обходе, или выписывали из реви́ра назад в команду, заранее зная, что через неделю-две вернется к нам обратно. Но при втором сроке в реви́ре уже становилось подозрительно для фельдфебеля: что-то неладно с этим больным. И от неизбежного уже было не уйти. Иногда же больного приводили с запиской от коменданта рабочей команды, чтобы этого пленного не выписывали назад в команду, а отправили в лагерь смерти, потому что работать он не может и все время болеет. Иногда нам удавалось отсрочить отправку и приютить человека на две-три недели в реви́ре, но неумолимый срок приходил.

Медперсонал нашего реви́ра никаких привилегий от немцев не получал. Для нас не было специальной кухни или чего-то в этом роде. Ели мы то же, что и больные. Разве только иногда нам повар давал пару лишних черпаков баланды или лишний литр снятого молока, которое изредка в 1943 году привозили пленным. Нам помогали свои же пленные из рабочих команд, они делились с нами краденными продуктами. Еще одна помощь приходила, но не регулярно, с аэродрома. Об этом потом.

Самый большой наплыв в реви́р больных пленных был зимой 1941-42 года и продолжался, постепенно утихая, до середины 1943 года. Зима 1941-42 года была самой страшной для русских пленных.

Приблизительно после курской битвы, летом 1943 года, отношение немцев к русским пленным начало меняться в лучшую сторону. Пища улучшилась и количеством и качеством, физические издевательства и битье почти прекратились. И пленные, кто уж выжил до этого времени, стали настойчиво бороться за выживание. Если работали на работах, имеющих касательство с продуктами, воровали все съедобное. Воровали так искусно, что даже обыски не помогали. Команда, сезонно работающая на сахарном заводе, тянула темнокоричневый сахар, то есть сахар не совсем очищенный. И тянули в таком количестве, что во время приемных дней приносили нам по два-три килограмма. Другая команда, по разгрузке железнодорожных вагонов, тоже не терялась. В некоторых случаях они

делились ворованным с конвоирами. Тогда ничего не выходило наружу, и каждая сторона выигрывала.

А те команды, которым нечего было воровать на работе, ночью уходили из лагеря и обворовывали ближайшие дома. Охрана лагерей уже была очень слабой: у немцев просто не хватало солдат для охраны пленных. Уйти из лагеря ночью и возвратиться до рассвета было сравнительно простым делом. Когда в деревне или городке поблизости с лагерем военнопленных обнаруживали кражу, немцы приходили в недоумение, откуда у них так много развелось воров. Начали задумываться, подозрение падало на русских пленных. Но здесь уже сами коменданты становились на защиту русских. Не потому что любили их, а чтобы их самих не обвинили в плохой охране лагеря. А если обвинят, то прямая дорога на Восточный фронт, почти на верную гибель. Поэтому обвинение советских пленных в покраже не приставало, хотя, думаю, коменданты знали, что это могло быть. Но наши пленные так ловко делали вылазки и так хорошо маскировали свои следы, что прямых доказательств не было. Рассказывали пленные нам на приеме, как они стащили несколько окороков в одном фермерском доме, и вся команда пиновала пару дней. В другой команде воровали французские вина и коньяки на разгрузке вагонов. Как-то и нам принесли бутылку коньяка.

В одной команде обнаружили, что фермер гонит спирт из картошки, и он стекает в запломбированные цистерны для военных целей. Долгое время не могли придумать, как бы дотянуться до того спирта. Придя на прием, начали советоваться с другими пленными, которые работали на заводе по сбору военного оборудования. Те предложили за спирт принести на следующий прием дрель, резец для резьбы и нужные болты. Дело уладилось, и через две недели обмен спиртом состоялся через ревир. До самого конца войны так немцы и не узнали, куда утекал спирт. Цистерны были прикрыты соломой, и высверленные дырки хорошо маскировались.

Так что питание большинства пленных начиная с 1943 года намного улучшилось. Поражения на восточном фронте начали поворачивать немецкие умы: на всякий случай надо было лучше обращаться с "унтерменшами". И вообще с отступлением немцев из Советского Союза пленным в Германии становилось лучше. Не говорю обо всей массе пленных, но о тех нескольких тысячах, чью жизнь я знал с начала войны и до мая 1945 года.

Бегства из лагерей бывали, но не часто. Бежать было — самое простое дело. Но куда бежать? Расстояние от Германии до фронта громадное. Все равно поймут, не сегодня, так завтра. К тому же за побег посылали в такие лагеря смерти, как Саксенгауз, Дахау, Аушвиц. Но самой главной причиной, отклонявшей от побега, было то, что успешно бежавших пленных, которые добрались до своих, энкаведисты обвиняли в шпионстве, в измене родине и часто

расстреливали, или посылали в штрафные батальоны, а это было равносильно смерти. Эти батальоны посылались на такие укрепленные немецкие пункты, что командование заранее знало: только ничтожный процент уцелеет. Как бы советские пленные ни были изолированы от источников новостей и происшествий на фронтах, все равно какими-то невидимыми путями эти новости просачивались к нам. В наш ревир поступил такой дважды-беглец. Дважды он убегал и дважды был послан в штрафной батальон. "Третий раз не буду убежать. Судьба спасла два раза, но на третий придет моя гибель. Нам не верят, мы враги, шпионы, изменники. Выходит, что у нас нет родины," — говорил он. Подробно рассказывал, как его встречали, каким допросам подвергали энкаведисты, как долго держали в изоляторах, прежде чем выпустить в штрафной батальон.

До нас доходили слухи, что чаще всего бежали советские пленные во Францию или Бельгию, надеясь попасть там в подпольные организации. После войны стало известно, что некоторым это удалось, но большинство было поймано и посажено в концлагеря. Беглецов допрашивало Гестапо и страшно избивало. В этом я убедился на примере беглеца из рабочей команды нашего лагеря. Его поймали на третий день. Он сумел уйти только на 25 км, не имея карт и плохо зная немецкий язык. Язык все равно не помогал: советского пленного выдавала его форма с буквами SU. После допроса в Гестапо его привели в ревир на перевязку ран, нанесенных гестаповцами. Потом послали его в Саксенгауз. Может быть, он и не попал бы в концлагерь, если бы не сшиб с ног гестаповца, который хотел его остановить. (Он ехал на велосипеде, а за ним гнался немец.) Гестаповец полетел под откос, но Николая все равно поймали через несколько часов и страшно избили.

Можно здесь обобщить, что в своей массе русские пленные в Германии не бежали из немецкого плена, если им не угрожала верная смерть от голода или непосильной работы.

День в ревире начинался в семь часов утра. Открывали двери, которые были ночью на замках, и солдат выкрикивал слово "ауфштейн", что значило подъем. В ревире эти солдаты были санитарями. Помню двоих, и оба были инвалиды, получившие тяжелые ранения на Восточном фронте. У одного была исковеркана нога, он ее волочил, а другому оторвало руку. Первый был тихим, не злым человеком. Утром, входя в комнату, он стеснялся громко выкрикнуть команду на подъем. Другой первое время показывал себя "оберменшем". Роста он был небольшого, ничем в глаза не бросался, кроме своих плохих зубов. Сначала он пробовал кричать, командовать, но постепенно успокоился, поняв, что мы не обращаем на него никакого внимания и что мы неповинны в том, что он оставил свою руку на русской земле. К тому же фельдфебель не разрешал никому из своих подчиненных солдат забирать слишком много власти в ревире своими громкими выкриками.

После "ауфштейн" большинство продолжало лежать, и только к восьми часам все вставали. К этому времени уже на кухне был готов "чай". Его в ведрах приносили в каждую комнату барака. Утром кроме "чаю" ничего другого не давали.

В 12 часов брюквенный суп уже был готов. Этот суп ничем не отличался от супа любого лагеря. В супе была в основном брюква и несколько картошек. Брюкву чистили, а картошку только мыли. Иногда заправляли суп маргарином. Соли давали очень мало, так что суп почти всегда был недосолен. За три года в этом ревире в супе было, может быть, не больше десяти раз мясо, подозрительного качества.

В шесть часов вечера — ужин. Хлеб развешивался по пайкам в 300 грамм. К хлебу иногда давали маргарин, варенье или искусственный мед. В большинстве же случаев только хлеб. Одно время давали маргарин такого качества, что даже голодные желудки пленных отказывались его переваривать. Был слух, что этот маргарин делали из каменного угля и пробовали на пленных. Вскоре никто его не ел. Мне кажется, его тогда начали бросать в баланду. Количество супа было достаточным для больных, но о качестве говорить не приходится.

Каждому больному выдавалось по одному одеялу. Нары были двухэтажные с соломенными матрацами и подушками. В каждой комнате были запасные одеяла, и тяжело больных укрывали ими, когда было холодно. В комнате с разными заболеваниями вместе с больными находился санитар.

Обогревались комнаты чугунной печкой посередине. Для этого давали определенное количество угля. Надо было топить очень экономно, чтобы хватило угля на все холодные месяцы. К тому же охрана украивала для себя львиную долю. У них всегда было тепло. В наших комнатах под утро было прохладно, а часто холодно.

Для мытья были алюминиевые тазы, которые использовались и для кипячения воды и для варки, если было что варить. Вода в комнаты приносилась в ведрах. Алюминиевые чашки были у каждого больного. В комнатах были общие тарелки на всех, но ложки давали в личное пользование каждому пленному.

Запирали наши комнаты на замки с наступлением темноты, но не позже восьми часов летом. Иногда в теплые дни мы просили не закрывать в 8, и часто фельдфебель соглашался, и двери оставались открытыми до 9 часов или даже позже. Окна во всех комнатах открывались внутрь и на них были провололочные решетки. Из таких решеток делают заборы. Двери закрывались только на внутренние замки, открыть которые не представляло никакой трудности. Собственно, бежать из такого барака можно было в любую ночь, было бы желание.

С самого начала организации ревира для советских пленных проверку на вши проводили систематически каждые две-три неде-

ли, потом, если их не находили, реже. Тем не менее на газовое травление водили по крайней мере каждые три месяца. Если в ревире были больные, которые не могли идти, то забирали для дезинфекции все нижнее и верхнее белье, постельное белье, а голыша укрывали одеялами, под которыми он лежал несколько часов. Длинные волосы никому не разрешали носить. Всех стригли под машинку. Нам, медперсоналу ревира, разрешили иметь длинные волосы только в 1943 году. В рабочих командах было по-разному, это зависело от коменданта. Но они сменялись, и новый часто приказывал всех стричь под машинку.

После каждой санобработки менялось постельное белье. Если не было санобработки, то один раз в месяц. Нижнее белье менялось в ревире для больных каждые две недели и обязательно после душа. Для этого отводился один день, воду нагревали углем с самого утра, и по очереди все мылись. Грязное белье собиралось в мешки, нагружалась ручная тележка, и пленные тянули ее до городской прачечной. Прачечная обслуживала немецкие военные части, пленных и производства. Не было отдельных прачечных для пленных. Вместо привезенного белья конвоир получал чистое, и нагруженную тележку опять везли назад. Белье было сделано из грубого хлопка. Прачечная выбрасывала порванное, и часто мы получали половину нового, половину старого белья. То же было с полотенцами и носками. У многих не было носков вообще, а были портянки. Не помню, возили их в прачечную или сам пленный стирал их.

Прачечная была хорошим местом встреч с другими пленными. Я часто возил ту тележку. Там мы встречали поляков и французов. Эти встречи были случайными. Лучше всего информированы были поляки. Не знаю, каким образом, но они знали, что происходит на фронтах. От своих, советских, пленных мы узнавали об их лагерях, как их кормили, как обращались, какая работа. Здесь мы обменивались новостями.

За последние 30 лет мне приходилось читать в советской прессе, что среди пленных были подпольные организации. Я никогда в плену не слышал о них. Если б они существовали, то мы бы в ревире знали. Приходя на прием два раза в неделю, пленные нам приносили новости из всех команд. Общая численность пленных этих команд была приблизительно две тысячи человек. В прачечной мы также встречали остовцев и много иностранцев, которые тем или иным образом попали в Германию. Но о подпольных организациях я никогда не слышал. Голодному пленному думалось только о пище. Об этом и говорили. Ну, и еще, под конец войны, когда большинство поправилось физически, из лагерей убегали к своим остовам по ночам, чтобы под утро возвратиться опять в лагерь.

Я уже упоминал раньше, что на территории ревира был второй барак, который оставался пустовать некоторое время после ухода пленных других стран. Пустовать ему пришлось недолго. Ранней

весной 1942 года в этот барак прибыло 65 советских пленных для работы на аэродроме. Там они убирали здания и территории аэродрома, чистили кухни, подвалы. Всех работ не перечислить. Часто чистили картошку для кухни немецких солдат.

Вскоре они знали весь аэродром, где, что и как найти, где можно раздобыть кусок хлеба или тарелку супа. Быстро из доходяг, которыми приехали, они стали настоящими, здоровыми ребятами. Остатки пищи из немецкой кухни, особенно суп, выбрасывались в кухонную пристройку. Пленные по очереди забегали туда и ели, что находили. В первые дни, когда многие из них были еще слабыми, получались комичные сцены. Вдруг слышится крик заглушенный из кухонной пристройки. Вбегают немцы и видят — из бочки торчат чьи-то ноги. По обуви сразу узнавали, что это "унтерменш". Помогали вылезти. Большинство смеялись, а некоторые ругались. Оказывается, суп был только на дне бочки и, потянувшись за ним, пленный не удерживался и падал на руки. Начинал кричать о помощи.

Обыкновенно, все остатки из кухни забирал фермер по уговору и кормил своих домашних животных. Теперь, с появлением пленных, мало что оставалось фермеру. После происшествия с супом стали запирать пристройку на замок. Но это продолжалось недолго, замок научились открывать.

Было почти невозможно охранять всех пленных, работающих во многих углах большого аэродрома. Обычно команда охранялась двумя, редко тремя солдатами. При возвращении с аэродрома всех тщательно обыскивали. Так что пронести что-либо в карманах не всегда удавалось.

Наш режир и аэродромная команда составляли один лагерь за одной общей колючей проволокой. С появлением рабочей команды между нашими бараками поставили еще забор из колючей проволоки. Общими у нас были кухня, уборная и умывальня, где мы и встречались. Запрещалось ходить друг к другу в бараки. Когда наш повар начал часто забегать в рабочую команду играть в карты, то после нескольких предупреждений комендант в наказание отправил его в команду на тяжелую работу.

На кухне было два повара: один готовил суп для рабочей команды, другой — для режира. Качество супа было одинаковым. Охрана рабочей команды охраняла весь лагерь. Охрана никогда не превышала 6 человек.

Учебный аэродром рядом с нашим лагерем был в одно и то же время отправочным пунктом на Восточный фронт. Когда набиралось несколько сот солдат, то приземлялись самолеты и увозили их на фронт, которого они боялись, как смерти. Приказ об отправке приходил очень часто неожиданно, около двух-трех часов дня, когда уже в котлах варился ужин. Улетало, скажем, четверста человек. А что делать с супом? Когда на Восточном фронте де-

ла для немцев шли неплохо, то с аэродрома звонили в наш лагерь, что есть суп для пленных. Часто супа было много и хватало всем, но иногда получала только рабочая команда. Кроме супа, случалось, бывала вареная картошка.

По тому, как часто нам звонили с аэродрома, можно было судить о делах на Восточном фронте. Если суп стоял бочками на выброс и нам не звонили, то дела были плохи. А эту информацию, что стоят бочки с супом, приносила рабочая команда, приходя с аэродрома. Не дают, значит немцев бьют на Восточном фронте. Пусть лучше суп удобряет немецкое поле, а "русьише швайн" пусть голодают.

На этот аэродром часто и прилетали с Восточного фронта. Некоторые солдаты могли связать несколько слов и пробовали разговаривать с пленными рабочей команды. Один был случай, что приехавший, увидя пленных, бросился на них и стал их бить палкой. Они стали убегать, и получилась такая неразбериха, что срочно был вызван вооруженный отряд для успокоения. Его арестовали, потому что он пробовал стрелять, когда его окружил отряд. Пленных на скорую руку увели вообще с аэродрома. Но таких стычек было очень мало. В основном были словесные стычки. Наши пленные уже довольно прилично говорили по-немецки. Не все, конечно, но многие. Один раз какой-то высокий чин, чуть ли не генерал, приказал вовсе убрать пленных с аэродрома. Их спешно увели. Но назавтра опять повели на работу: генерал уже улетел на Восточный фронт.

Несколько раз немецкое начальство испытывало качество продуктов на советских пленных. Запомнился случай с рыбой, привезенной не то из Норвегии, не то из Швеции. Когда раскрыли бочки, то немецкому доктору запах показался подозрительным и он запретил давать эту рыбу немецким солдатам. А почему бы не попробовать на русских желудках? Помрут — спишем в расход, выживут — значит рыба неплохая. Позвонили в рабочую команду, что есть две бочки рыбы для пленных. Поехали с двумя ручными тележками. Через час или меньше привезли две большие бочки копченой рыбы. Рыба была залита маслом. Громадные куски. Думаю, что бочки были килограммов по 200. Одна бочка для ревира, одна для рабочей команды. Здесь уже спора не было, кому сколько. Было видно, что всем хватит и останется. Если не ошибаюсь, это было осенью 1943 года. Под присмотром коменданта рабочей команды и нашего фельдфебеля начали раздавать рыбу по комнатам. Несколько алюминиевых тазов на каждую комнату.

Вероятно, с аэродрома поручили фельдфебелю наблюдать, как рыба подействует на пленных, потому что он долгое время ходил то в одну комнату, то в другую и спрашивал, не болят ли желудки, не болит голова. Но все было благополучно. Рыба была очень вкусная, хотя и с запахом.

У рабочей команды было много картошки, потому что за два дня до рыбы они ночью уворовали с аэродрома два мешка картошки. Да, с аэродрома, который охранялся часовыми с собаками. Прорезали дырки в ограде лагеря и аэродрома, и через час вернулись с мешками. Поделились с нами картошкой, и начался пир по всему лагерю, который продолжался три дня. Это было самое лучшее, что я когда-либо ел почти за четыре года плена. Никто не отравился и даже не заболел. Несколько человек понос пробрал, потому что было много жира, и желудок без привычки не мог справиться. Варили картошку на тех же чугунных печках в комнатах. Рабочей команде разрешалось приносить с аэродрома дровишки для печки. Обычно поломанные ящики. Они установили очередь и каждый день приносили семь вязанок дров. На этих дровах и варили картошку.

Варить вообще в бараках не разрешалось. Все делалось тайком. Обычно два человека дежурили и предупреждали, когда солдат направлялся к барaku. Тогда быстро снимали таз и прятали. Конечно, по запаху можно было понять, что происходит. В большинстве случаев солдат делал вид, что ничего не замечает, и уходил. Так стало с 1943 года. А до того бывали очень неприятные истории, когда дело кончалось плохо.

Очень многое зависело от коменданта команды. Если попадался хороший человек и понимал, что под его властью голодные люди, то он многое прощал и старался не замечать. Около года комендантом рабочей команды был толстяк, которого прозвали "парашей". Когда он подходил к барaku, предупреждали выкриком "параша идет". Услышав несколько раз это выражение, он спросил одного пленного, что означает "параша". Тот не долго думая ответил, что по-русски это значит "хороший человек".

Он хорошо относился к пленным, многое прощал. А если наказывал, то не жестоко. Обычно приказывал пробежать вдоль двора несколько раз или присесть и встать раз двадцать. Он никого не отправил в концлагерь из этой команды. Даже не особенно рассердился, когда узнал истинное значение слова "параша".

Споры на политические темы было очень мало среди советских пленных солдат. Когда умирали от голода, проклинали немцев, вспоминая лучшие времена. Когда положение улучшилось, вспоминали обиды советской власти, чистки, гибель родственников и знакомых во время чисток, во всю разносили и революцию, и большевиков, и советских "вождей". Особенно доставалось Сталину. Не помню ни одного человека, кто бы хвалил советскую систему на сто процентов. Говорили о положительных сторонах системы тоже, но они казались такими малыми по сравнению с отрицательными. Рассказывали много анекдотов о советских "вождях". Среди пленных было много хороших рассказчиков этих анекдотов.

В самом городе Ошаце был, по слухам, большой сборный лагерь. Там, как будто, содержались и пленные, и остовцы. Находилась он в двухэтажных зданиях и внешним видом напоминал тюрьму. Мне кажется, при этом лагере находились две команды: одна сапожников, для ремонта обуви, другая портных. Обе команды занимались ремонтом обуви и одежды для пленных всех национальностей. О них знаю мало, потому что они очень редко приходили в ревир. Несколько человек из нашего ревира попало туда в команду портных, потому что не могли нести тяжелую работу. Кормили в том лагере очень плохо.

Среди советских простых пленных солдат было много офицеров, которые попали в плен или переодетыми в гражданское или, по каким-то соображениям, в солдатском обмундировании. Некоторые в разговоре открывались, но многие хранили этот факт как большую тайну.

В мае или июне 1942 года нам объявили, что можно писать письма домой, если это на территории, занятой немцами. Текст письма был уже подготовлен, и к нему разрешалось добавить не больше двух-трех предложений. Ничего отрицательного. Не помню, чтобы многие ухватились за эту идею. К моему греху, я не написал, и оставил свою маму на долгие годы жить в страданиях и мыслях обо мне, не зная моей участи. Маме хотелось верить, что я жив, и сколько у нее было бессонных ночей, слез материнских, слез горечи, надежд и сомнения. До сих пор боль ношу в душе и мучит совесть. Что это было: боязнь, страх за будущее? Может быть, молодость, жизненная неопытность и незнание, как матери тяжело было жить в неизвестности. Эта привилегия писать письма продолжалась, мне кажется, не больше шести месяцев.

В 1943 году, точно не помню месяца, вдруг фельдфебель принес нашу "зарплату". Сказал, что теперь мы будем получать по две марки в неделю. Эти немецкие марки не были похожи на нормальные, циркулирующие среди немецкого населения. Это были специально выпущенные для иностранцев, работающих в немецкой индустрии и сельском хозяйстве. В 1943 году решили платить и пленным. В некоторых лагерях, по слухам, платили уже в 1942 году. Но в этой части Германии, то есть в Саксонии, это было в 1943. В рабочих командах начали получать марки приблизительно в то же самое время. Шли эти марки как будто на уровне настоящих немецких. Но я в этом не уверен. В некоторые лагеря даже привозили махорку за эти марки. К нам ничего не привозили. Единственно, что можно было купить, это карандаш, бумагу и книги. Но для этого надо было попросить охранника или фельдфебеля. Иногда солдат соглашался, а многие отказывались. Комендант вспомнил, что он мне купил словарь в 1942 году, и сказал, чтобы я заплатил теперь этими марками. Вообще, в большинстве случаев эти марки пропадали, потому что пленные не знали, что с ними делать.

В конце 1942 года по лагерям ходили пропагандисты, объясняющие политику Германии в оккупированных областях Советского Союза. Пропагандисты были пленные, в сравнительно приличном обмундировании советского солдата, и их приводили под охраной. Обычно охранники не понимали по-русски и мы смело задавали пропагандистам разные вопросы, заранее зная, что, не покрывив душой, они ответить на наши вопросы не могут. Они так же не верили в немецкую победу, как и мы, и сознавались, что голод заставил их повторять то, чему их натаскали на курсах пропагандистов.

За этой волной пропагандистов стали приезжать другие в гражданском. Эти записывали в национальные батальоны. Потом появились власовские офицеры. Они приезжали в рабочую команду, но мы тоже присутствовали на их лекциях.

Был такой случай с Амбарцумяном. Попал он к нам в ремир при непонятных обстоятельствах. Он не был болен, кроме обыкновенного изнеможения от полуголодного существования и тяжелой работы. Его поместили по распоряжению коменданта в комнате медперсонала. Недели две мы были в недоумении, зачем его приняли в ремир без всякого диагноза и докторского осмотра. Он сам тоже ничего не говорил. До войны он был учителем, и дома в Армении у него осталась жена и маленькая дочь, о которых он часто вспоминал. Потом приехал армянин в гражданской форме, и Амбарцумяна вызвали в барак коменданта. Содержание двухчасового разговора он нам не рассказал, но сказал, что записался в национальный батальон. Все уже оформлено, и через несколько дней он уезжает. Сейчас стало все понятно. О своем решении он заявил еще в рабочей команде, и ремир стал, по неизвестным для нас причинам, как бы транзитным пунктом. Это был единственный такой случай в этом ремире, пока я там находился до лета 1944 года.

Через дней десять приехал солдат, и Амбарцумяна куда-то увезли. Прошло, думаю, месяца три-четыре, и вдруг он опять появляется в ремире, на этот раз в немецкой форме, с отличием национального батальона на рукаве. Фельдфебель привел его к нам с гордым видом и оставил на пару часов. Мы засыпали его вопросами и убедились, что за эти месяцы он действительно стал убежденным сторонником немецкой политики на Востоке. Мечтал об освобождении Армении и всего Кавказа от советской власти. Уверял нас, что победа Германии не за горами и очень смело парировал наши вопросы. Об одном не сказал, где находится его часть.

Потом уже после войны стало известным, что национальные батальоны, если не все, то большинство, защищали французское побережье от вторжения союзников. И там же большинство из них нашли свою смерть. Читая послевоенные книги о высадке союзных войск, мы поняли, что за независимый Кавказ они боролись во Франции. В нескольких книгах упоминаются случаи, когда союзные

солдаты врывались в бункера, а им навстречу кричали: "Не стреляйте нас, мы русские, мы русские". Но солдаты оставили сотни трупов, чтобы дойти до этих бункеров... Пощады не было...

Власовские офицеры объясняли цели власовского движения, но они не могли ответить на вопросы, где и когда будет воевать Власов со своей армией. Было очень много недосказанного или сказанного с неопределенными намеками. Главное было то, что не верили немцам, убедившись, как они обращались с пленными и на оккупированной части Союза с населением. Далеко не во все команды ездили пропагандисты, и не во всех командах знали о власовском движении. Запись во власовскую армию коснулась только ограниченного числа пленных, но тем не менее она спасла несколько тысяч пленных от голодной смерти. Пропагандисты не имели успеха в командах, где сносно кормили и работа была сравнительно легкой. Нет сомнения, что среди пленных многие хотели видеть гибель большевизма, но не за счет порабощения немцами России.

Из нашей рабочей команды записалось во власовскую армию только два человека, хотя комендант команды нажимал, чтобы все записались. Остальные уже настолько окрепли физически и морально, что не хотели и слушать об армии, о фронте и войне. Они даже концерты стали устраивать в своем бараке. Среди них два человека хорошо пели. Появилась откуда-то балалайка, и даже охрана иногда приходила послушать.

Начиная с января 1942 года нам привозили в ревир газету для советских пленных "За Родину". Получали мы ее довольно регулярно до 1944 года. Ничего, конечно, о жизни пленных ни в лагерях, ни в рабочих командах. Воспевалась Германия и ее политика на оккупированных территориях Советского Союза. Можно сказать, содержание газеты было немецкое, хотя редакторы и были русские.

В конце 1943 года рабочую команду нашего лагеря куда-то увезли. Предупредили за несколько дней быть готовыми к отъезду. Куда и почему — никто им не сказал. За ними приехали машины, и рано утром их увезли.

Прошло больше месяца, и мы узнали, что их поставили на зенитные батареи где-то ближе к французской границе. Дали им французскую военную форму без знаков отличия и приставили пару немецких младших командиров. Недалеко от батареи находился барак, где они спали, а пищу привозили им из другого места. При известии, что приближаются американско-английские бомбардировщики, им приказывали наводить батареи и открывать огонь по самолетам. Но кто мог проверить, куда они стреляли? Палили куда-то, только не по самолетам. Командир боялся их: он был один, а их много. Потом после войны рассказывали, что в большинстве случаев немецкие командиры теряли контроль над вынужденными

зенитчиками. Кем считать этих зенитчиков: добровольцами, власовцами, пленными, коллаборантами? Никакое из этих определений не подходит.

Их барак пустовал две недели. Потом туда привезли из центрального лагеря другую команду советских пленных. Они тоже работали на аэродроме и скоро тоже стали физически трудоспособными людьми. Но они продержались не больше 7-8 месяцев, и их куда-то отправили. Может быть, они тоже стали зенитчиками.

Единственное, что запомнилось об этой команде, это то, что там пленные нашли бывшего полицая. У пленного, который его узнал, этот полицай в прежнем лагере отнял сапоги. Бывший полицай сначала ни в чем не сознавался. Ему устроили суд в бараке, и он признал свою вину. Сапоги ему пришлось отдать и получить взамен ботинки. Его немного побили, но главное было то, что все пленные оттолкнули его от себя, и это он переживал.

После капитуляции Италии в наш лагерь пригнали около 150 пленных итальянцев. Они заняли рабочий барак и одну комнату ревира. Было тесно, но половину их увезли куда-то через две недели. Они не знали ни русского, ни немецкого языка. Нам пришлось на скорую руку учиться итальянскому языку. Один из наших санитаров запомнил несколько десятков фраз от одного итальянца, который кое-как понимал по-немецки.

Это было в самом конце 1943 или в начале 1944. Помню, что итальянские пленные очень мерзли, потому что все они были влетней одежде, и немцы им другой не дали. Большинство из них были совсем молодые мальчики. Они уже прошли стадии голода немецкого плена, но не достигли стадии изнеможения, до которой доходили советские пленные, прежде чем попадали в рабочие команды. В рабочую команду на аэродроме отобрали 80 человек, а остальных куда-то увезли. Отношение немцев к пленным итальянцам было, пожалуй, хуже, чем к советским пленным на этой стадии. Рабочая команда итальянцев работала на аэродроме, но за ними очень строго следили и никогда ничего не давали из кухни, если там и оставалась пища. Голод заставил итальянцев ловить на территории лагеря все, что было живое, то есть мышей и кроликов. Рядом с нашим лагерем в двух больших зданиях разводили кроликов, которые убегали из клеток. Иногда они забегали в лагерь через колючую проволоку. Итальянцы научились ловить их петлями, правда, без большой удачи.

У пленных других национальностей были свои библиотеки, особенно в шталагах и офицерских лагерях. У советских пленных никаких книг не было ни в шталагах, ни в рабочих командах. Те библиотеки, которые немцы захватили на оккупированной территории, до Германии не дошли. Они боялись, что с этими книгами попадет в Германию большевистская пропаганда. Первое время они думали, что и пленные привезут эту пропаганду, и одно время стоял

вопрос, стоит ли вообще привозить в Германию советских плен-ных.

Зная, что в городе Ошаце есть лагерь польских офицеров и там есть книги на польском языке, мы попросили у фельдфебеля разрешения одалживать эти книги. Сначала он не знал, как нам ответить. Поговорив, вероятно, с доктором Шмидтом, он сказал, что можно, но не больше чем две книги в месяц. Книги эти привозил нам поляк-офицер из Барановичей, который знал прекрасно русский язык. Это был для него второй плен в Германии: первый раз во время Первой мировой войны, а сейчас второй раз. Говорил он хорошо и по-немецки и считался официальным переводчиком для нашего лагеря. Сидел он в плену с 1939 года. Ходил из своего лаг-еря к нам и обратно без охраны. Ему немцы больше доверяли, чем нам. К тому же его жена была немецкого происхождения. Он ска-зал нам, что об этом он никогда не говорил немцам. У них было двое детей. Был он преданным патриотом Польши и непримиримым врагом советской системы.

Читать по-польски нам было сначала трудновато. Но тем из нас, кто знал украинский или белорусский языки, справиться с польским не представляло большой трудности. Когда заходили в тупик, спрашивали поляка из Барановичей. Он был неплохой чело-век и никогда не отказывал в помощи. Книги нам приносил с боль-шой охотой.

В начале 1943 года наш комендант принес лопаты и сказал, что пришел приказ вырыть траншеи в человеческий рост от наше-го барака до кухни. Зачем? Прятаться от бомб. Бомбардировка немецких городов американско-английской авиацией набирала силу. Можно подумать, что немцы хотели сохранить нашу жизнь... Что же они раньше отправили на тот свет тысячи пленных, а сей-час вдруг им стала дорога наша жизнь? Многие считали, что они старались сохранить рабочую силу, которая им так нужна была. В этом есть большая доля правды. Собственно, почти вся индустрия под конец войны и держалась на принудительном труде.

Траншеи мы вырыли и несколько раз прятались там, когда объявлялась воздушная тревога. То же самое делала рабочая коман-да. Но наверное, американско-английская разведка знала, что аэро-дром был учебный, и только один раз прилетело несколько самоле-тов, бросили несколько осветительных ракет, для страха одну бом-бу и несколько сот листовок над лагерем.

В этих листовках были новости о фронтах, о ходе войны. Мы подобрали много листовок, но как только комендант узнал об этом, то приказал отдать ему. Мы уже успели прочитать, так что не жаль было отдавать. Неужели разведка западных стран знала о нашем совсем небольшом лагере? Получалось, что знали. Зачем им было тогда бросать листовки? Может быть для немецкого населения, потому что они были на немецком языке.

С поражением немцев на Восточном фронте фельдфебель стал придирчивым, особенно с русским доктором. Иногда казалось, что он специально искал повод, чтобы сказать доктору что-нибудь неприятное. И выговаривал ему ежедневно, за разные мелочи.

Доктор не выдержал и решил бежать, заранее зная, что куда он не убежит. Попросил меня помочь ему. Среди больных подговорил одного москвича, и решено было бежать в воскресенье, когда не будет фельдфебеля и когда бараки остаются открытыми до самых сумерок. Часовые обходили лагерь редко, так что можно было бежать за два часа до закрытия барakov. А рядом с ревом был небольшой лес, в котором можно было хорошо спрятаться до наступления темноты. В заборе была уже раньше проделана дырка в колючей проволоке и хорошо замаскирована.

Расставили наблюдателей, которые были посвящены в это дело, чтобы оповестить, когда появятся часовые. Я открыл проволочную дыру и они проскользнули в нее и побежали до леса, который был метрах в 150-200 от барakov. Время шло, а часовые не выходили, и это играло на руку беглецам. Прошло около двух часов, когда пришел часовой проверять и считать жителей ревира.

Обычно для проверки все выстраивались в одну линию, кроме лежачих больных, и солдат считал. Как всегда, его счет совпадал с бумажной цифрой. Но не на этот раз. В чем дело? Еще раз пересчитал. Потом я пересчитал, с целью оттянуть время. Потом кто-то сказал, что доктора нет. Иногда доктор и не выходил на вечернюю проверку. Он пользовался этой привилегией. "Где доктор?" — повернувшись ко мне, спросил солдат. — "Не знаю. Я его видел только полчаса тому назад. Может быть, он с больными, — ответил я, — сейчас обойду все комнаты и найду его." Зайдя во все комнаты, а у нас их было только четыре, стараясь оттягивать время, я вернулся через пять минут и сказал, что не могу найти. Тогда солдат сам пошел и вернулся ни с чем. Вызвал еще одного часового и они пошли проверять проволоку. Замаскированной дырки не обнаружили. И только спустя минут сорок до их сознания дошло, что доктор, вероятно, убежал. До этого никто не бежал из ревира. Это был первый случай.

Заперев бараки, вызвали фельдфебеля, который прикатил на своем мотоцикле, ворвался в нашу комнату и стал допытываться, как доктор убежал. Мы все его уверяли, что не знаем, что доктор весь день был с нами, и мы видели его за полчаса до проверки. Быстро ушел и, вероятно, сообщил местному Гестапо о беглецах.

На приеме во вторник сам фельдфебель распоряжался: кого оставить, кого назад в команду отправить. Я заметил удивительную вещь, что он был довольно либерален в решениях, кого оставить, кому сколько дней дать отдыха в команде. Он очень любил, когда ему говорили, какой он хороший. Я переводил ему и приукрашивал симптомы больного, заранее зная, чего больной хочет. Фельд-

фебель брал даже стетоскоп и выслушивал больных. Смешно все это выглядело и забавно, как он играл роль доктора. Мы все думали, что он расправится с больными круто, а вышло почти наоборот. Все остались довольны, а больше всех фельдфебель в роли доктора.

Эту роль ему пришлось играть две или три недели. Принимал он в рефир многих, но и выписывал часто из ревира без всяких оснований. Противоречить ему никто не смел. После бегства доктора он настойчиво пытался узнать среди больных, кто ему помогал. Но так ни с чем и остался, хотя многие видели, как это происходило. Через три дня пришел и громогласно и, можно сказать, с восторгом объявил, что доктора поймали и отправили в Саксенгауз, страшный лагерь смерти. Не имея другой информации, мы ему поверили.

Спустя несколько недель до нас дошли слухи, что доктор работает в другом рефире, в 80-ти километрах от нас. Это было подтверждено доктором Шмидтом через некоторое время, в ответ на мой прямой вопрос, что случилось с доктором Л.Н. (Спустя много лет, когда я был в Советском Союзе, я созвонился с доктором Л.Н. Встреча не состоялась. Он боялся.)

Недели через три нам прислали другого доктора, по фамилии Иванов. Ему было лет сорок. С первых дней стало ясно, что это немецугодник. Коменданту он понравился тем, что всегда соглашался с ним и принимал его рекомендации. В его поведении на приеме, даже при выслушивании больного стетоскопом замечалась какая-то неловкость. Получалось как-то грубо, неуклюже. Нам показалось довольно странным, что все таблетки он прописывал в страшно маленьких дозах. Мы были озадачены, потому что хорошо знали, как это делал доктор Л.Н. В чем дело? Экономия таблеток? Начали гадать, и кто-то сказал, что может быть он ветеринар и боится прописывать лошадиные дозы, а чтобы не ошибиться, он бросился в противоположную сторону: от маленькой дозы никто не пострадает, а лошадиной можно убить человека.

Наши подозрения оправдались. В один из приемных дней привели больного, который знал его по какому-то лагерю и знал, что он ветеринар. В том лагере он тоже работал доктором, но его быстро разоблачили. Тем не менее, у немцев он числился доктором, и им затыкали дырки, где спешно нужен был доктор. А так как докторов русских не хватало, то в каждом месте, куда его посылали, проходило несколько месяцев, пока его разоблачали. И так он плавал из одного ревира в другой.

Он был неприятная личность. Остальных пленных медперсонала он ни во что не ставил. Например, когда приносили суп в нашу комнату, то никто не смел притронуться первым. Он должен был наполнить свою тарелку и выловить все, что было лучшее в супе, а потом мы шли за ним. Ключ от шкафа с медикаментами, по настоянию доктора Л.Н., у нас лежал в условленном месте, и весь медперсонал открывал шкаф, когда была нужда. А сейчас этот забрал

ключ себе в карман и никогда с ним не расставался. Надо было всегда просить его дать ключ, а он спрашивал, зачем, и если находил нужным, то сам выдавал, а в большинстве случаев отказывал, говоря, что он лучше знает нужды больных.

От лошадиного доктора надо было избавиться как-нибудь. Потому что его поддакивание фельдфебелю ничего хорошего не обещало. В первые же несколько приемов он принял в рефир очень мало пленных, несмотря на мольбы и просьбы действительно больных. Почти никому не дал освобождения от работы в команде. Мы хотели было его поправить, говоря, как вел себя предыдущий доктор и как было вообще у нас заведено. Он резко рубил нас, говоря, что надо делать так, как немцы хотят, а если идти против них, то нам же и будет плохо. Всегда подчеркивал, что не станет рисковать своей жизнью из-за каких-то "симулянтов, которые не хотят работать". Он был толстый как боров, и его трудно было прошибить гуманными идеями.

У нас уже было заведено, что кто-либо из медперсонала ходил среди пленных, приведенных на прием, и они нам говорили, зачем пришли в рефир и чего хотят. Поэтому доктор заранее знал, как разговаривать с пленным и как повернуть дело таким образом, чтобы просьба его была удовлетворена. К этому времени мы уже отлично изучили нашего коменданта и знали, что он принимает за чистую монету, а что ему не понравится. По этим неписанным законам мы действовали, и вся жизнь рефира катилась гладко до появления лошадиного доктора. Установившиеся правила не нарушались даже в то время, когда комендант играл роль доктора. Симптомы выдумывались всегда такими, что приводили к желаемой цели. А с лошадиным доктором все сорвалось.

Надо было действовать решительно и осторожно. Первое, что мы сделали, это выразили удивление в присутствии фельдфебеля, какими ничтожными дозами доктор лечит больных. Повторили это несколько раз как бы невзначай. Комендант сам начал присматриваться и пришел в недоумение. Теперь уже надо было играть на самолюбии фельдфебеля, на его медицинских "знаниях".

Никто из нас не пошел с доносом к коменданту. Решили использовать поляка-переводчика, которому немцы доверяли больше, чем нам. Я говорю везде "мы", имея в виду медперсонал: два санитаря, я и фельдшер. Рассказали ему, в чем дело, и он передал фельдфебелю. Через пару дней комендант стал внимательно смотреть за доктором. Потом спрашивал нас, правда ли, что доктор ветеринар. Мы подтвердили, добавив при этом удивление, как он, так хорошо понимающий в медицине, может возглавлять рефир с лошадиным доктором. К этому времени у нас уже было второе прямое подтверждение, что Иванов — ветеринар. На прием привели пленного, который служил в кавалерийском полку, где Иванов был ветеринаром. У нас не было пренебрежения к его профессии. Но ветеринар

никак не подходил для людей. Наш подход сделал свое дело. Фельдфебель вызвал его к себе, допросил, и Иванов признался, что да, он действительно ветеринар, но что с момента плена все время "лечил" пленных. Деталей вопроса мы не знали, но раздосадованный ветеринар ругался и чем-то грозил нам.

Иванов пробыл в нашем ревире около трех месяцев, потом его перевели в другой ревир. Доходили слухи, что он там держится устойчиво, но пленные его презирают за услужливость к немцам и вообще за его поведение.

Скоро нам прислали нового доктора, который не отличался ни мужеством, ни знаниями. Личность бесцветная, запуганная и подозрительная. Мало о нем знаю, потому что работал с ним только несколько месяцев.

С каждым годом количество остовцев в Германии увеличивалось. В 1942 году мы еще их не видели. Они, конечно, были, но никогда не подходили к нашему лагерю. Боялись, а часто и не знали, где находятся лагеря пленных. Но уже в 1943 году они по воскресениям подходили ближе к ограде, и мы разговаривали. Нам вообще было строго запрещено всякое общение с внешним миром за пределами лагеря. Комендант в этом отношении был жесток и никогда не уступал. Если замечал, что мы разговаривали с остовцами, сам прибегал, гнал остовцев и давал нам нагоняя. Но так как по воскресениям он почти всегда уезжал домой в деревню за 20 км в направлении Лейпцига, то нам часто удавалось разговаривать и узнавать новости из внешнего мира. Часовые сидели в своем бараке и не видели нас, позади барака разговаривающих с остовцами. В своем большинстве это были девушки, работавшие на фермах. Они иногда даже приносили нам хлеб, пару яиц или еще что-нибудь из продуктов.

В 1944 году встречи с девушками-остовками через проволоку шли полным ходом, несмотря на запрещения и крики часовых. Особенно нам удавалось разговаривать, когда наступали сумерки до закрытия барак. Коменданту, вероятно, доносили, что пленные почти в открытую общаются с остовцами. Тогда он делал вид, что уезжает домой, а на самом деле возвращался назад или же приезжал назад поздно в субботу с целью накрыть нас на месте преступления. Наказанием было: бегать по двору под команды "ложись", "вставай", "беги", — и так до изнеможения.

Но трудно было уже в 1944 году остановить порывы молодого тела. Нам уже хотелось подержать девушек за руку, а мечты летели и дальше. Если днем не разрешалось общение, то для этого была ночь. Часовые ночью спали, и только изредка и не каждую ночь кто-либо из них обходил лагерь. В одну из таких апрельских ночей 1944 года я рискнул пойти в деревню к девушке. Деревня, где она работала у фермера, находилась приблизительно в трех-четырех километрах от лагеря.

Откуда я знал деревню и дом, где девушка живет? Очень просто. Комендант ревира, как и другие коменданты рабочих команд, продавал пленных фермерам на день или несколько часов. По желанию. Желавшие всегда были, потому что фермер кормил хорошим обедом. Один раз и я изъявил желание и работал один день у фермера, где работала эта остовка. Познакомились мы раньше через проволоку. Поэтому я знал, куда и как идти. С ней договорились на определенный день, и она рассказала, как пройти во двор с задней стороны и в ее комнату.

Замаскированная дырка в проволочной ограде уже давно была. Сейчас пришлось поработать над проволочной решеткой на окне. Дело было совсем простым, а окно открывалось. Часов в 11 было темно, и через несколько минут я уже был за пределами лагеря и шагал по лесу, прилегающему к аэродрому. По дороге идти не решился. Через 15 минут наткнулся на часовых. Они закричали "Хальт" (стой!), и я замер. Потом рванулся в сторону и побежал что было духу. Раздалось несколько выстрелов в темноту.

Вероятно, они охраняли склады или зенитную батарею, или еще что-нибудь. Тогда идти по лесу я отказался. Вышел на дорогу, проложенную по тому же лесу, и пошел по ней. Было темно. Слышу, навстречу идут два или три человека. Разговаривают по-немецки. Я подвинулся на другую сторону дороги. Услышав мои шаги, они притихли, и мы молча разминулись. Сердце стучало в груди, нервы натянуты как струны. Прошел лес, еще через какой-нибудь километр или полтора будет деревня. Но вдруг опять беда грянула. Навстречу мне шла колонна солдат. По шуму решил, что их не меньше батальона. Я поддал в сторону и попал то ли в картошку, то ли в сахарные бураки. Пришлось лечь. И как раз случись, что послышалась команда и батальон остановился на отдых. Прележал минут двадцать. В такой ситуации минуты медленно бегут. Пойти в обход не решился: а вдруг заметят и остановят. Тогда что? Решил переждать, пока они уйдут.

Весь я превратился в слух, потому что только на него и была надежда. Кругом стояла ночь и темнота. Пошел довольно быстро и скоро — через задний ход во двор к фермеру и по условленным сигналам в комнату к девушке. Нервы были взвинчены до предела. Несколько минут прошло, чтобы придти в себя. Ноги и брюки до колен были мокрыми, потому что шел по росе. На фермерском дворе все было тихо и казалось, что моего прихода никто не заметил.

Путь назад был быстрым. Надо было спешить. Луна светила полным светом. Решил идти назад по дороге и никуда не сворачивать. Навстречу проехали две машины, осветив меня фонарями. На моей одежде не было меток SU. На мне были французские брюки и какая-то рубашка. С другой стороны ограды аэродрома прошли часовые с собакой, тихо разговаривая между собой. Ника-

кого внимания на мои шаги. Собака тоже молчала. У самого лагеря мне стало страшновато: ведь он был весь освещен лунным светом. Меня могли видеть даже с другого конца ограды. Рассуждать не было времени. Опять через ту же дырку в ограде, к окну. Легкий стук, и мой друг Николай открыл мне окно и решетку. Помог влезть. Гора сразу свалилась с плеч, и усталость от нервного напряжения как пеленой накрыла меня.

Прошло два дня, и вдруг фельдфебель стал проверять решетки на окнах. К этому времени я решетку приделал, как была раньше, так что фельдфебель ничего подозрительного не нашел. Тем не менее на окна поставили двойные решетки, хотя из той же проволоки.

Через два дня комендант спросил нашего повара, где он был ночью в воскресенье. Почему фельдфебель заподозрил его, для меня осталось тайной. Повар сказал ему, что спал, это могут подтвердить пленные соседи по комнате. Он был в общей комнате с больными.

Значит, до коменданта дошло, что кто-то уходил из ревира, но кто — он не знал. Наверное, фермер все же проследил или слышал мое появление в комнате девушки. Вероятнее всего, слышал, потому что к ней надо было подыматься по лестнице на второй этаж. Девушка говорила, что на следующий день фермер спрашивал, кто у нее был ночью. Она не призналась, но он ей не поверил. Скорее всего, он сообщил коменданту.

После этой нервной вылазки я отказался от подобных приключений. Пусть лучше девушки подходят к нашей ограде в сумерки до закрытия бараков. Воскресения были тихими днями в 1944 году. Охрана оставалась в своем бараке и только изредка обходила лагерь. Калитка была тоже открыта, и несколько человек из рабочей команды выскакивали в лесок рядом, где их ждали остошки. До леска добежать брало не больше двух минут. Такие вылазки были не частыми, но они были.

В начале июня 1944 года и я рискнул выйти на прогулку в лесок. Быстро прошмыгнув через калитку и повернув за угол по направлению к лесу, я наткнулся на часового.

— Куда ты идешь?

— А вот в этот лесок. Там меня ждет русская девушка, — сказал я смущенно. Я решил сказать ему правду, потому что мы ему доверяли. Он был один из тех, кто хорошо относился к пленным.

— Ну иди. Только быстро приходи назад. Я ничего не видел и никому ничего не скажу. Ганс скоро пойдет обходить лагерь. Не попадайся ему.

С этими словами он ушел, а я побежал в лес. С обеих сторон ручья в этом лесу росли густые кусты и одиночные большие деревья. Спрятаться было очень легко.

В лесу я пробыл около часу. Посмотрев сквозь ветви, я ничего подозрительного не заметил и пошел быстрыми шагами в направлении лагеря. Вдруг навстречу мне с ругательствами бежит помощник коменданта с пистолетом в единственной руке (другая осталась на Восточном фронте). Я иду ему навстречу. Подбежав ко мне и тыча пистолетом мне в грудь, он кричит, что застрелит меня.

— Стреляй! — говорю, заранее зная, что его пистолет неисправный. Нам это говорил пленный, который убирал барак охраны и чистил их оружие. Я поверил его словам. А может быть, пистолет и работал?

— Зачем ты выходил в лес?! — прокричал он.

— Я встречался там с русской девушкой.

— А разве ты не знаешь, что это запрещено?

— Конечно, знаю.

— Я сейчас вызову унтерофицера, и он тебе покажет, как ходить на встречи! — С этими словами мы направились в лагерь. Я пошел в свой барак, а он, заперев калитку, пошел звонить фельдфебелю.

О моем уходе из лагеря знал только один пленный из медперсонала и тот охранник, которого я встретил. Не думаю, что кто-нибудь еще видел. Но кто мог донести, что я ушел? Неужели этот солдат? Помню, за несколько дней до этого, чувствуя, что не сегодня-завтра его отправят на Восточный фронт, он просил нас написать ему записочку по-русски. С этой записочкой он намеревался сдать-ся в плен. Воевать не хотел. Он был музыкантом в лейпцигском симфоническом оркестре. Никто из нас такую записку ему не дал. Все мы боялись. Может быть, он донес? Несмотря на все наше доверие к нему, он все же оставался немцем. Все-таки мое подозрение упало не на него, а на нашего повара. Но я так никогда и не узнал, кто донес на меня.

Когда безрукий впустил меня в лагерь, ко мне подошел Ганс, который действительно обходил лагерь и сказал: почему ты, мол, не предупредил меня, что идешь к девушке? Я тебя бы не выдал, а выпустил бы и впустил в лагерь. А теперь дело обстоит плохо. Фельдфебель тебя тяжело накажет. Он старый хрен и забыл, чего хочет молодость. Ему под шестьдесят. Плохие дела.

Хотя Ганс и говорил мне эти слова, но возможно он и поднял всю тревогу, чтобы показать свою бдительность. Может, повар болтнул ему о моем уходе, не предусмотрев, какая будет реакция, а Ганс, не долго думая, поднял на ноги безрукого.

Минуты были тревожные. Я знал, что фельдфебель никогда мне не простит этого. Собственно, я не бежал, а только вышел из лагеря. Но для него факт оставался фактом: я нарушил дисциплину.

— Что он с тобой сейчас сделает? — сыпались вопросы со всех сторон.

— Попадешь определенно в концлагерь.

— А вот у нас был случай...

Прошло часа два, когда зашумел мотоцикл и грозный "Рундо" влетел в лагерь. С сигарой во рту. Когда он нервничал, то всегда был с сигарой. С размаха ударил меня по лицу. Сносно, кровь не пошла.

— Принесите машинку, — приказал он.

Его помощник принес, и он с остервенением снял мою прическу, которой я так гордился.

— А эту девку поймали? — бросил он как будто в воздух.

— Никто ее не ловил. Мы не знаем, куда она убежала, — ответил солдат.

— Из какой она деревни? — спросил меня.

— Не знаю точно, из Т. или из Д. — Я назвал три ближайших деревни, названия которых знал.

Потом началось физическое истязание гонкой по двору со всеми его идиотскими командами. Сил больше не было и было страшно обидно: за что? Было такое состояние временами, что я убил бы его, если бы у меня было какое-нибудь оружие, не думая о последствиях. Я упал на землю и сказал, что пусть делает со мной что хочет, я не встану.

Когда его неистовство немного укротилось, он некоторое время был в нерешительности, что со мной делать. Потом ему пришла мысль посадить меня в "мертвецкий домик", как мы прозвали хибарку, напоминающую большую собачью конуру. Построена была эта конура с намерением выносить туда трупы умерших. Это после того случая, как у нас внезапно умерло два человека зимой 1942 года. Только один раз она была использована по назначению, когда умер 17-летний пленный от туберкулеза (запомнился он: умирая, все время звал маму на помощь). Обычно там складывались разные вещи, которым не было места в бараке. Втолкнул туда меня фельдфебель и плотно закрыл дверь. Воздуха там не хватало, было жарко.

Он приказал солдату запереть меня в этот домик и не давать мне ни есть, ни пить. Сам он был взволнован и зол, что такое случилось в его ревире. Уехал опять домой, пригрозив мне при отъезде еще худшими наказаниями. В этом домике был деревянный пол и ни одного окна. Не хватало воздуха. Когда стемнело и заперли бараки, солдат-музыкант, которого я встретил около уборной, открыл дверь и разрешил моим друзьям дать мне два одеяла на пол и воды. Дверь оставил открытой на всю ночь, но сказал, что утром закроет до приезда коменданта.

На меня напало какое-то безразличие. Переменить что-либо я не мог. Страшно было думать о Саксенгаузе или другом концлагере. Я же не бежал из лагеря, и намерения не было бежать, но ярый старый вояка мог состряпать и преувеличить.

На следующее утро в понедельник он даже не пришел посмотреть на меня. Вероятно, звонил во все концы, стараясь найти пути,

как бы меня более жестоко наказать. Я хорошо знал его, в одном он никогда не переменялся: оставался преданным своему фюреру и военной дисциплине. Инструкции и приказу он подчинялся в каждом пункте: если он этого не сделает, то какой же он тогда немец и солдат гитлеровской армии? Иногда у него проскальзывали и человеческие чувства. Главным образом, из-за его самолюбия. Но он всегда помнил, что мы "унтерменши", а он из высшей расы. Он до последнего дня был уверен, что Германия выиграет войну.

После полудня пришел мой приговор: трое суток одиночного заключения в своеобразном карцере в немецкой городской тюрьме. Вместе с немецкими заключенными? Выходило, что да. Карцер не больше трех метров на три, с деревянным настилом. И ничего больше. Вверху маленькое окошко, до которого не дотянуться. Пища — один раз в день суп и все. Разрешалось только одну кружку воды в день. Суп был лучше, чем в реви́ре. Лежать днем не разрешалось. Ночью тоже не спалось на твердых досках.

Три дня вымотали достаточно, но мучил вопрос: а что же будет дальше? Концлагерь, как обещал комендант? Страшно было думать о концлагере. Но эти мысли настойчиво лезли в голову, как бы я ни старался их отогнать от себя.

По истечении трех суток меня опять привели в ре́вир часов в 10 утра. Сразу же фельдфебель приказал собираться, грозя Саксенгаузом. Я стал собирать свои вещи, и тут вмешался грозный вояка. Он решил отнять у меня всю хорошую одежду и оставить мне тряпки. Собственно, у меня было двое брюк (одни французские), ботинки, две рубашки и бритва. Сказал, что это он оставляет здесь. Приказал снять ботинки и дать мне какие-то порванные. Я попросил оставить мне ботинки и, к моему удивлению, он уступил.

Он старался не смотреть на меня. Иногда мне казалось, что по его лицу пробежала тень досады, что все так случилось. Скоро три года как он видел меня каждый день, за исключением тех, когда он уезжал домой. Неужели жалость ко мне? Думаю, что нет. Было что-то другое.

Пришел неизвестный солдат с винтовкой. Я попрощался с товарищами по комнате и со многими больными, которые все вышли проводить меня в неизвестность. Выйдя на дорогу по направлению к городу Ошацу, я оглянулся несколько раз на знакомые бараки и другие здания лагеря. Почти три года я видел их, привык. И сейчас, закрыв глаза, вижу очертания и бараков, и проволоочной ограды, лесок со всех сторон и дорогу, отделяющую лагерь от аэродрома. Прожитая жизнь не стерла в памяти эту картину. Может быть потому, что здесь я нашел приют и спасение от почти что неминуемой смерти.

После войны, осенью 1945 года, я поехал посмотреть, что же

сталось с этим лагерем. Тот же лес и заросли остались с левой стороны, противоположной аэродрому, и знакомая дорога рядом с аэродромом. Но вместо лагеря был пустырь. Все было предано огню и дыму. Проволочной ограды тоже не осталось. Стоял я странником на пепелище. Смотрел, вспоминал, искал следы ушедших дней... Свидание с русской девушкой и последствия... Кругом тишина. Не ревели самолеты, как когда-то — с раннего утра до позднего вечера, каждый день во время войны. Воспоминания об этом лагере всегда ассоциируются с самолетным шумом. Так он прожужжал уши за три года. Думаю, что сами пленные сожгли этот лагерь и все ближние постройки. А по ограде было видно, что прошел советский танк: кое-где виднелись столбы и проволока, вмятая в землю. С весны до осени вся территория лагеря заросла бурьяном.

Вспомнил я и фельдфебеля. Знал название деревни, где он жил. Проскочила мысль поехать и найти его. Ну, а потом что? Застрелить его или отдать пощечину, которую он мне отвесил когда-то? Решил не ехать, не расковыривать старых ран.

7. РЕВИР В МЕЙСЕНЕ

Солдат, который вел меня в неизвестность, был молчалив. Свои думы думал. Шел позади меня. Думал ли он о гибели Германии или как спасти свою жизнь в эти последние месяцы войны? Ведь была середина 1944 года.

Прошли ворота аэродрома, за оградой видны были наши пленные с метлами и лопатами. В Ошаце пошли прямо на железнодорожную станцию. Сели в вагон, наполовину пустой. Только здесь я спросил солдата, куда он меня везет.

— А разве ты не знаешь? — с удивлением посмотрел он на меня.

— Мне комендант сказал, что в Саксенгауз меня отправляет.

— Дурак он старый. Ни в какой Саксенгауз. Штабс-арцт (главный врач) переводит тебя в другой ревир, в город Мейсен. Этот ревир тоже под его управлением и, я думаю, лучше вашего. Ревир в самом городе, и комендант хороший человек. Тебе понравится.

От его слов весь мир как будто перевернулся. Все приобрело другой цвет. Я был бесконечно рад и хотелось больше расспрашивать солдата. Но он был немногословен и опять углубился в свои размышления. Я забыл даже о голоде. С утра ничего не ел. От Ошаца до Ризы было не больше 15-18 километров, и часа в четыре дня мы уже были там.

От станции до ревира шли по узким улицам, вымощенным булыжниками. Узкие улицы, средневековые, они показались мне уютными. Сразу бросился в глаза собор Санкт-Йоханнес-унд-Дона-

тус на скале, возвышающейся над рекой Эльбой. Небольшие домики, узкие улицы и много зелени. Шли мы по старой части города, как потом мне стало известно.

Через каких-нибудь полчаса мы пришли к трехэтажному зданию, мало чем отличающемуся от других подобных домов, но с решетками на окнах, как в тюрьмах. Вот это и был ревир. По ступенькам поднялись в маленький дворик, где стояло тенистое дерево. Обыкновенный городской дворик, окруженный с трех сторон квартирами, а с улицы каменная стена метра в два. Нигде никаких признаков колючей проволоки. Вход в ревир по лестнице на второй этаж. Почти рядом со входом комната караула.

Оставив меня во дворике, солдат вошел в эту комнату и доложил начальнику караула, что пленный из Ошаца доставлен. Вышел пузатый человек маленького роста, окинул меня незлым взглядом и повел на второй этаж в приемную ревира, где сидел за столом комендант по фамилии Зингер. Начальник караула, доложив о моем прибытии, сразу ушел. Зингеру было под пятьдесят, с почти седыми усами, он как-то иронически, но добродушно смотрел на меня. Он был в военной форме, в чине младшего офицера. "Я знаю твое преступление. Молодость, влечет к противоположному полу. Все понятно, от этого не убежишь в твоем возрасте. Мне все рассказал о тебе штабс-арцт Шмидт и хвалил тебя как хорошего работника, и он же перевел тебя к нам. У нас везде решетки, как в хорошей тюрьме. У нас невозможно уйти незамеченным на свидание с девушками. Не нарушай установленную дисциплину, и мы будем работать без лишних трений."

Он ошарашил меня своим разговором без крика, без повышения голоса. Он был солдатом совсем другого покроя. Человеком он был интеллигентным, в этом я убедился очень скоро. Такая встреча "унтерменша" была неожиданной и приятной. Потом он перечислил мои обязанности.

Из приемной выходила дверь прямо в громадную залу, заставленную двухэтажными нарами. Здесь помещались все больные. Другой комнаты для больных не было. Для серьезно больных и для инфекционных отводили несколько нар.

С одной стороны залы было несколько окон, с другой — сплошная стена. У окон стояли небольшие столы, на них кувшины с водой. В конце залы на оконной стороне была комната доктора и медперсонала. Постучавшись, мы вошли в комнату, и Зингер сказал доктору Л.Береговому, кто я такой. Тот тоже уже знал о моем приезде.

В комнате стояла у окна кровать доктора, а напротив у стенки двухэтажные нары. Нижние были для фельдшера, верхние для меня. В этом ревире было еще два санитаря, которые спали в большом зале вместе с больными.

Зингер оставил нас и быстро ушел. Начались разговоры, рас-

спросы, откуда, как и что. У пленных много любопытства, и это вполне понятно в изоляции. Доктор оказался из Киева, попал в плен из Харьковского окружения. Одет он был в полную форму советского офицера без унижающих букв на спине. И никто из медперсонала не носил этих букв.

Среди обслуживающего персонала ревира запомнился паренек 18-летний, звали его Петя. Фамилию его забыл. Острый парень на язык и всегда навязывался поспорить с комендантом. Не всерьез, а так, для игры в слова. Комендант смотрел на него как на еще не совсем повзрослевшего и часто переводил разговор в шутку, зная, что от Пети, как от навязчивого ребенка, не избавишься. Петя всегда пропагандировал, что ничего нам не будет, что придут наши и встретят нас с распростертыми объятиями. Люди постарше, знающие суть жизни под сталинскими бессердечными законами или беззаконием, старались его переубедить, что все будет не так, как он себе рисует. Но он никогда не сдавался. И какую горькую пилюлю ему пришлось проглотить после войны! Но об этом потом.

Обязанностями Пети было привозить пищу из кухни, которая находилась приблизительно в полукилометре. Он брал двух больших, ручную тележку, чистые бидоны и другую посуду и отправлялся на кухню без сопровождения патруля. Он только докладывал охране, что едет за супом. Здесь не говорили "за баландой", потому что был настоящий суп. Может быть, его было немного меньше, но он был в сотню раз питательнее и вкуснее. Подрядчиком для ревира был мясник, у которого был свой мясной магазин. Здесь на ужин давали кусочек колбасы и немного хлеба. Но утренняя порция хлеба была меньше. Здесь впервые за все время плена нам давали несколько раз яблоки и груши осенью 1944.

На этой же улице близко был ревер для французов и англичан. Французский доктор с помощниками принимал своих пленных больных в нашей приемной в определенные дни, потому что их ревер был очень маленьким. Я тоже помогал французскому доктору на приемах. Мы подружились.

Доктор-француз с двумя своими помощниками-французами (я думаю, они были простые санитары) жили на третьем этаже в нашем же ревере. Санитар-англичанин жил вместе с больными во французском ревере. Англичанин был безучастен к чужой судьбе. Он был из Манчестера. Поражал своей холодностью. Казалось, никакие человеческие эмоции его не пробивают. Французы были общительные. Часто мы с ними играли в карты, в шахматы. Они получали посылки и изредка делились с нами. Помню даже, что у них появилось откуда-то вино, и мы вместе распили две бутылки. Им разрешалось ходить по городу без конвоиров. Почти весь день они были в ревере и только вечером приходили в свою комнату. Разговор у нас шел на немецком, пересыпанном французскими словами. Так что очень быстро мы научились ежедневным французским фразам.

Французы очень не любили и немцев, и их язык. Иногда даже с нами нарочно говорили только по-французски. Тогда мы переходили на русский язык. Они нас не понимали. Начиналась перебранка на двух языках. Поэтому и ругательным словам научились мы очень быстро. Но вряд ли кто-нибудь из французов заучил хотя бы десяток русских слов. А среди нашего медперсонала многие умели даже вести примитивный разговор по-французски, помогая жестикуляцией.

Во дворик мы могли выходить в любое время, когда была открыта дверь, и с высоты в полэтажа наблюдать за движением по улице. Там было больше свежего воздуха. Больным, за редким исключением, не разрешалось выходить во дворик. В этом отношении преимущество было у ревира около Ошаца. Там можно было пропадать снаружи целый день и дышать свежим воздухом. А здесь, как в тюрьме, можно было смотреть на улицу только через решетку. Но окна можно было открывать.

Этот рефир с 1940 года занимали французы и пленные других стран. С появлением русских пленных он стал тесен. Так как количество больных пленных других стран было гораздо меньше русских, то их перевели в меньшее помещение, а здесь разместились только русские пленные.

До 1940 года этот трехэтажный дом был местом развлечения немцев. Внизу — пивная, на втором этаже — большой танцевальный зал, а на третьем — отдельные комнаты. Вход в пивную был с улицы, а в танцевальный зал по ступенькам во дворик, а оттуда по лестнице в зал. Те, кто хотели и выпить и потанцевать и продолжать свое веселье дальше, могли снять номер на третьем этаже. Так рассказывал сам хозяин о своем деле. На вид ему было лет 60.

Так продолжалось до начала войны с Польшей. С разворачиванием немецкой военной машины увеселительное предприятие начало терпеть убыток. По словам хозяина, он тогда решил сдать дом под рефир для пленных, оставив за собой весь первый этаж и пивную. Но, мне кажется, он не договаривал. Было похоже, что его заставили насильно превратить увеселительный дом в тюрьму для пленных. Вряд ли он сам согласился бы.

На окнах всех этажей были поставлены железные решетки. Да какие решетки! Не хуже чем в хорошей тюрьме. Но толстые железные прутья не были преградой для побега. Во всем доме было так много дверей, что не надо было ломать тюремную решетку. Легче было бы выломать дверь или, еще лучше, вырезать дыру в двери. Впрочем, не было ни одной попытки пленных бежать из ревира.

Хозяин дома не закрывал пивную, хотя посетителей было мало. Странная комбинация: на втором и третьем этаже тюрьма, побежденные враги — пленные, а на первом этаже развлечение. Уже в 1944 году, когда я появился в этом рефире, в пивную заходили остовцы. Сначала осторожно и не часто, а в конце этого года посещали целыми группами.

Вход в пивную с улицы был закрыт. Для того чтобы попасть туда, надо было подняться во дворик, а потом по нескольким ступенькам спуститься на первый этаж. Пивная открывалась только тогда, когда запирался ревер, то есть с наступлением сумерок. Было это легально или нет, но старый немец не запрещал остовам заходить в его заведение.

Танцевальный зал на втором этаже служил сейчас палатой для больных русских пленных. Там было двухэтажных нар на сто человек, а при нужде и больше можно было разместить. Уборная для ревера находилась на первом этаже в задней части зала. Туда вела лестница. Двери снаружи в эту уборную были заколочены. Вверху было два окна. Здесь же и умывальник. Одним словом, ревер со всеми удобствами. Вода по трубам была во всех помещениях: в приемной, в зале, в докторской комнате. Для душа вода грелась, в другие дни была только холодная. К 1944 году вши были полностью уничтожены, и больше нас не водили в вошебойки.

Кроме французского доктора и его двух санитаров, на третьем этаже еще жила одна бедная немецкая семья: болезненный муж, жена и двое маленьких детей. Остальные комнаты пустовали. Эта немецкая семья никогда ни с кем не разговаривала. Мы видели их редко, и нам казалось, что они нас боятся.

Весь дом стоял как будто прилепленный к горе. Гора возвышалась намного выше дома. Для постройки дома срезали гору под прямым углом и вплотную подогнали стену дома. Поэтому на одной стороне не было окон. С третьего этажа по лестнице можно было выйти на плоскую крышу дома, потом на гору и дальше.

Во дворике был еще одноэтажный маленький домик. Часть его занимала наша охрана, в другой, большей, части жили муж и жена, лет по 60 или больше. Они не боялись и охотно вступали в разговор с нами. Там же во дворике стояло тенистое дерево и скамейка под ним. На верху каменной стенки были железные перила, опершись на которые, мы смотрели на улицу вниз. Охрана всегда нас видела из окна, которое было как раз напротив каменной стенки. Сходить вниз на улицу нам не разрешалось.

С высоты каменной стенки мы разговаривали по воскресениям с девушками-остовами, которых было очень много в Мейсене. Многие работали на предприятиях, на фарфоровых заводах, в немецких семьях. Иногда наши охранники командовали им уйти или нас запирали в ревере. Но это мало помогало: девушки возвращались, и мы разговаривали через окна. Молодых ребят остоцев, вероятно, было мало, потому что не помню ни одного разу, чтобы они подходили к реверу.

Окна ревера упирались через улицу в трехэтажную фабрику. На этой фабрике работало около 70 русских девушек, которых мы видели через окна и разговаривали жестикующей. Там же много было и немецких женщин. Всем женщинам было запрещено подхо-

дить к фабричным окнам и разговаривать с нами на расстоянии. Мы видели, как их отгоняли от окон.

Вскоре после моего перевода в мейсенский ревир доктор Береговой заболел язвой желудка. По крайней мере, таков был его собственный диагноз, и с ним соглашался французский доктор. Он поговорил с комендантом ревира Зингером, и тот выхлопотал ему пол-литра молока каждый день. Лечение его состояло в принятии каких-то таблеток с молоком, после этого лежание на левом боку около часа и отдых. От физического бездействия и без свежего воздуха мы хирели, находясь почти 24 часа с больными, кроме часа-двух во дворе. В июле 1944 года доктор Береговой попросил у Шмидта разрешение на прогулки. Тот сразу не ответил, а потом через Зингера нам были разрешены прогулки два раза в неделю по два часа. Обычно нас сопровождал солдат с пистолетом вместо винтовки, как обычно. Шли мы по длинной улице, усаженной деревьями по обе стороны, мимо знаменитых мейсеновских фарфоровых заводов, и приходили в городской лес (штадтсвальд). Это не парк, парки были отдельно. Это настоящий лес, куда в выходной день приезжали горожане и на лоне природы отдыхали. Обычно такой лес находился в нескольких километрах за пределами города. Там были скамейки кое-где, но не было подметенных дорожек. Был лес в своем естественном виде. Вот в такой лес мы приходили и вдыхали свежий воздух, разговаривали, а иногда встречали земляков-остовцев.

Эти прогулки мы любили, ожидали их. Во время ходьбы по улице города мы видели жизнь немцев в настоящем виде, без прикрас и пропаганды.

Потом мы начали ходить в городской парк, который был совсем рядом, не больше чем 10 минут ходьбы. Находился парк на возвышении над Эльбой, и оттуда был прекрасный вид на весь город, особенно его новую часть. Парк был благоустроен, но безлюден, а это как раз нравилось нашему конвою, потому что нам не разрешалось вступать в разговоры с немцами ни на улице, ни в парке. Правда, конвой смотрел в другую сторону, если нам встречались остовцы, и мы с ними разговаривали.

От лекарств ли с молоком, или от прогулок, но язву доктор вылечил и был этому очень рад. С приближением конца войны эти прогулки стали нерегулярными, потому что не хватало солдат-конвоиров. Но они были очень регулярными с июля 1944 по март 1945 года.

Начальник охраны, младший офицер по фамилии Моргенштерн, был местным мейсенским жителем и больше проводил времени с семьей, чем при ревира. У него было только два-три солдата, и их главной обязанностью было охранять вход на лестницу, ведущую в ревир. Они никогда, по моим наблюдениям, не подымали голову и не смотрели, целы ли решетки на окнах. Они никогда не

стояли даже во дворике, потому что из окна их караулки был виден весь дворик и вход на лестницу. Дверь с лестницы в ревер запирали на замок с наступлением темноты, а отпирали в семь часов утра.

Комендант ревера Зингер не прочь был за пару бутылок вина продать в эксплуатацию на день или два желающих из ревера поработать. А таких было много, хотя голод в этом ревере и не был так ощущаем. Иногда же он сам выбирал "здоровых" среди больных и отводил их к виноделу, оставлял их там на целый день. Доверял, что не убегут. Но мне рассказывали, что до меня был один случай, когда пленный убежал из виноградника. Иногда Зингер спрашивал, не хочет ли кто-нибудь из медперсонала поработать на свежем воздухе.

В первый же свой приезд в мейсенский ревер после моего перевода сюда штабс-доктор Шмидт спросил, как мне нравится здесь. Я ему сказал, что ожидал перевода в Саксенгауз, как обещал фельдфебель. "Это не он решал, я тебя перевел сюда. Он что-нибудь сделал с тобой, наказал?" — спросил он. Я не стал ему рассказывать о наказаниях, но пожаловался, что фельдфебель отнял у меня хорошие брюки, оставив в старых и рваных. Он ничего на это не ответил, но дней через десять мои брюки каким-то образом приехали ко мне. Просто не верилось.

Из всех команд, которые обслуживал наш ревер, запомнилась одна. Это была каменоломня в пригороде Мейсена. Пленных из этой команды часто приводили в ревер с разного рода ранениями и поломами костей. Гражданский мастер этой каменоломни был зверь, а не человек. Он отправил на тот свет несколько пленных в 1942-43 годах и оставил с увечьями других, заставляя поднимать камни не под силу или разбивать их тяжелыми молотками. Многие падали под тяжестью и получали ранения, ломали руки и ноги. Многие нажили грыжи. Даже Зингер подавал куда-то жалобу, что его ревер полон больными из этой команды. Ничто не помогало. Мастер старался всеми силами не попасть на фронт, принося в жертву русских пленных. Он выиграл, на фронт не попал. Правосудие пришло после войны, и он от него не убежал. Об этом потом.

Союзная авиация никогда не бомбила Мейсен, но когда городская сирена оповещала о приближении самолетов, нас выводили во двор и на улицу, а иногда в ближайший парк. На улице мы выстраивались вдоль каменной стенки и ждали, когда дадут отбой. Зимой 1944-45 года это стало почти ежедневным явлением. Страшная бомбардировка Дрездена в феврале 1945 года была и слышна и видна в Мейсене, на расстоянии больше чем 25 километров. Мы слышали взрывы и несколько ночей видели зарево от пожара. Потом из пригородов Дрездена привозили к нам пленных с ранениями, которые они получили во время бомбардировки. Они же принесли нам и жуткую новость о гибели двух тысяч советских пленных и остов-

цев в одной из дрезденских тюрем. Охрана тюрьмы обрекла их на верную гибель, убежав и не открыв двери камер. И все сгорели вместе с тюрьмой.

Весна 1945 года была особенной. И пленным и немцам было ясно, что война приходит к концу. Наша охрана все реже и реже останавливала наши разговоры с остовками. Наш фельдшер незаметно спустился на улицу и ушел на четыре часа в одно из воскресений в парк, где его ожидала девушка из Ростова. Его уход мы замаскировали, и немцы об этом не узнали. Потом под его руководством нам удалось открыть одну запертую дверь и попасть в другую залу, которую хозяин превратил сейчас в своего рода кладовую. Из этой залы шла лестница прямо на крышу дома и на гору.

В апрельский вечер часов в 11 решили сделать вылазку на гору, а оттуда спуститься в чей-то сад. Там нас ждала компания земляков. Провели мы в этой компании часа три и тем же путем возвратились назад.

Наш уход был замечен, по всей вероятности, хозяином, потому что на следующий день он поставил железный засов на дверь и закрыл ее так, что совершенно не было возможности открыть ее. Но комендант нам ничего не сказал, даже намеками.

Больных с каждой неделей становилось все меньше и меньше. Кормить пленных стали лучше с некоторого времени, а так как почти все болезни русских пленных были от голода, то вполне понятно, что теперь они предпочитали оставаться в командах. К тому же в марте-апреле во многих командах не заставляли работать тех, кто говорил, что он болен. Охрана смотрела в другую сторону, если пленные делали что-нибудь не совсем то, что им разрешалось. Охрана страховала себя.

Гибель Германии и поражение фашизма приближались. Многие из советских пленных ждали этого дня почти четыре года. Ждали и надеялись выжить, переноса и голод, и холод, и все издевательства немцев. Многие и дождались этого желанного дня, но миллионы ушли в могилы на чужой земле...

Для нас, сидящих в плену недалеко от Дрездена, бомбежка этого города показала, что наш плен исчисляется теперь неделями, а то и днями.

Потоки беженцев с востока уже достигли Мейсена и других городов в марте-апреле 1945 года, и остовцы приносили нам новости с фронтов почти каждый день. После бомбежки Дрездена мы уже не видели союзных бомбардировщиков. Советских самолетов тоже не было.

Насколько мне известно, мало кто бежал из рабочих команд навстречу освободителям. Из ревира ни один человек. Даже разговаривали мало, как мы будем встречать советских воинов или как они отнесутся к нам. Чувствовалось, что скрытая боязнь жила на дне души почти у каждого пленного. Но об этом не говорилось,

обходили молчанием то, что год или два назад мы так громко обсуждали. Боязнь, которая зародилась со дней коллективизации и сталинских чисток, пережила плен, хотя многих моего возраста она прямо не коснулась.

Наш комендант Зингер уехал в Дрезден к своей семье после бомбежки и провел там около двух недель. Хотя бомбили как будто только сам город, но досталось и окрестностям. Вероятно, его семья тоже пострадала, но, вернувшись в ревир, он никогда ничего не рассказывал, был мрачным и молчаливым. В отношении к нам что-то было утеряно, между нами появилась невидимая, холодная стенка. Свое несчастье он не переносил на нас в прямом смысле. Избегал разговаривать с нами, может быть, чтобы не показать своих истинных чувств. Здесь, конечно, были и боязнь за свою судьбу и сознание, что конец войны неумолимо быстро приближается, и что мы ни при чем в уничтожении Дрездена.

С востока отступала немецкая армия вместе с тысячами гражданского населения. Рассказывали невероятные истории о поведении советских солдат по вступлении в Германию. С запада гнали на восток пленных других национальностей. А впрочем, откуда их гнали, мы точно не знали. Один раз по нашей улице двигалась колонна в несколько сот английских пленных. Вид был у них ужасен: оборванные, грязные, голодные и усталые. Они нам напомнили первые месяцы нашего плена.

Судя по направлению, их гнали в Чехословакию. Мы только гадали.

Скоро пришла и наша очередь уходить из Мейсена. Комендант предупредил нас за два дня, сказал, что выйдем рано утром. Все, кто может ходить даже плохо, должны собираться. Куда нас погонят, не сказал, и это посеяло страх. А может быть на расстрел? Тогда ходило много разных слухов. А некоторые страшные слухи превратились в действительность, как потом все узнали. Были и расстрелы.

Нас разделили на две группы. Доктор Береговой и один фельдшер остаются в ревире с группой постельных больных. Все остальные идут в поход. Нас набралось человек тридцать. С нами шли два солдата. Каждый пленный брал свои пожитки в маленьком узелке. Я просил Зингера оставить меня в ревире. Он отмахнулся. Мысль о побеге проскочила, но быстро погасла. Куда бежать? Зачем бежать? Как показали события, я верно и сделал, что не бежал. Мы медленно двинулись в путь в том же направлении, что гнали и английских пленных. Было 16 апреля 1945 года.

Мне казалось, что с Мейсеном я прощаюсь навсегда. Год, прожитый в плену в этом городе, был самым хорошим из пленной жизни. Но в Мейсен я вернулся. Здесь пришел конец войны, здесь ушло странное слово "плен". Здесь я узнал освободителей и что они принесли миллионам других таких же, как я. Здесь рванулась мо-

лодость из-за колючей проволоки и обволокла своими похождениями. Вместе с радостью освобождения пришли разочарования и отчаяние. Много прекрасных воспоминаний живет во мне до сих пор. Мейсен всегда перед моими глазами. Только жаль, что я его больше не увижу, не найду следов послевоенных дней, не пройду по знакомым тропинкам, не встречу задорный смех тех, кто провел со мной первые месяцы после войны...

8. ПОЛОСА БЕЗВЛАСТИЯ

Шли мы медленно и с частыми остановками, потому что некоторые больные не могли идти быстро. В нормальных условиях они должны были бы остаться в ревире. Наши просьбы не помогли, Зингер все время говорил, что ему дали приказ всех эвакуировать, за исключением тех, кого надо было нести.

Те лекарства, которые были в ревире, мы разделили пополам, и у нас образовалась походная аптечка. Утром каждый из нас получил двойную пайку хлеба, и с этой пайкой мы дотянули до вечера.

Шли мы по проселочным дорогам в направлении Чехословакии. Грубо ориентируясь, мы находились между Фрейбергом и Дрезденом. Первой нашей остановкой была деревня Грумбах. Вокруг этой большой деревни или городка было много небольших деревушек. Нам уже повстречались другие советские пленные из рабочих команд. Казалось, вся окрестность переполнена ими. Первую ночь мы ночевали в фермерском сарае и с пустым желудком.

На следующее утро один из наших конвоиров ушел искать место для ревира. Когда он вернулся, мы опять поднялись и двинулись в путь. Через час-два оказались в маленькой деревне. Название не помню, но знаю, что это было совсем недалеко от Грумбаха. В этих местах так тесно разбросаны деревни, что трудно было судить, где кончается одна, а где начинается другая. Дрезден все же оставался далеко от нас.

Нас привели в помещение неопределенного назначения, но там были уже двухэтажные нары. Их было немного, не больше чем на 20 человек, а нас было около 30. Пришлось некоторым, включая меня, расположиться в комнате рядом, где не было наров, но была какая-то мебель. Кое-кому пришлось спать на деревянном полу, но на следующий день договорились с фермерами, и они дали нам соломенные подстилки. Думаю, что фермеру рядом с нашим временным жильем было приказано кормить нас. К 12 часам дня у нас был уже суп и хлеб, и в почти достаточном количестве. Мы скоро сутки как не ели после двойной пайки хлеба, и горячий суп был хорошей поддержкой. Насколько я помню, мы здесь не голодали. Не могу также сказать, кто нас кормил, но пища всегда была.

Рабочие команды оставались в сараях, в пустых школах и в других помещениях, которые можно было приспособить под временное жилье. Уже было понятно, что это все только временно, что конец войны все быстрее и быстрее идет в нашем направлении. Рабочие команды расползались по швам. В поисках пищи рассыпались по деревням и, если не могли получить мирным путем, то воровали. До большого насилия не доходило, насколько мне известно. Фермеры старались накормить, когда к ним заходили во двор. Охрана уже не помогала. Солдаты боялись останавливать пленных и смотрели в другую сторону. Однако ходили слухи, что где-то совсем рядом охрана подняла стрельбу по пленным при их попытке уйти из временного лагеря и что были раненые. Лично не видел, утверждать не стану. Много разных слухов летало тогда.

Зачем было нас перемещать, когда все равно мы не могли уйти дальше чем на 10-20 км от "насиженного" места? Так было со всеми рабочими командами и даже с концлагерями. Вероятно, в этом была какая-то логика, не знаю.

Днем мы вели себя свободно, выходили на улицу, не боясь, что солдат окрикнет тебя и направит винтовку. Охрана пленных с каждым днем таяла. Уходили или убегали немецкие солдаты по ночам. У кого были нервы сильнее, или же кто был трус, то те оставались чуть ли не до последнего дня. Приблизительно за три дня до прихода советских войск вся охрана разбежалась. Немцев в военной форме мы уже не видели. Мы были свободны, и никто больше не заботился о нас.

Теперь мы уже открыто требовали пищу от фермеров, заходили, не боясь, в их пивнушки, в харчевни. Нам не отказывали. Немцы боялись прихода советских войск. Особенно после того, как нас слушались рассказов беженцев. Некоторые сами собирались бежать. Те, кто решил оставаться, старались быть с нами в хороших отношениях, думая, что мы как-то поможем им. Ни они, ни мы не знали, как плачевно все это обернется. Но человек всегда живет надеждой, ожидает лучшего от жизни.

Мы не знали, что нас ждет, каждый из нас по-своему рисовал картину встречи с армией, разгромившей немецкую мощь и бросившей фашистскую Германию на колени. Ведь шли же нас освободить свои, русские, та армия, где и мы были! Многим встреча рисовалась в розовых красках.

А пока над нами не было никакой власти. На первом плане была пища после полуголодного или голодного существования в плену. Открытого насилия и разбоя не было, а воровство стало законным явлением. При недостатке пищи многие доходяги поправлялись просто не по дням, а по часам. Выпрямлялись, приобретали совершенно нормальный вид. Иногда трудно было поверить, какие чудеса творила нормальная пища.

Контакт с остовами был установлен почти сразу же после на-

шего появления в этой части Саксонии. Остовцы были не только во всех уголках Германии, но и в других странах, оккупированных немцами. Их было гораздо больше, чем выживших советских пленных. Я сказал бы, что в Мейсене соотношение пленных и остовцев было 1:6. Недалеко от деревни, где нас поместили после ухода из Мейсена, был лагерь остовцев. Там было около ста человек. Не только одиночки, там были и целые семьи, насильно увезенные в Германию из оккупированных областей Союза.

Начальство остовцев убежало раньше нашей охраны. Так что примерно две-три недели уже никто из остовцев не работал. Когда и наша охрана убежала, то получилось полное смешение пленных с остовцами. За два-три дня до прихода советской армии все лагерь перемешались, и трудно было отличить, кто остовец, а кто пленный. Среди пленных плыл слух, что лучше быть в гражданской форме, когда придет советская армия. Многие из пленных перекочевали жить в бараки остовцев, сбросили свою пленную форму, не все, конечно, но многие. У остовцев оказалось больше одежды, чем у пленных, и это вполне понятно. Те, кто не мог найти гражданскую форму, оставались в своей до поры до времени. Открыто еще не врывались в немецкие дома за одеждой.

Люди старшего возраста, кто вкусил прелесть советской власти, а были и такие, кто просидел в лагерях несколько лет, потихоньку отделялись от основной массы пленных-остовцев и направлялись на запад, вливаясь в отступающий поток беженцев. В большинстве случаев это делали семьи, которые добровольно уехали из оккупированной Прибалтики, Украины и Белоруссии. Было много и русских семей. Они не мечтали о радостной встрече с освободителями. Они спасали свою жизнь.

Основная масса пленных была в возрасте 25-40 лет. Пленным старше сорока лет было очень трудно выжить первые месяцы плена, большинство из них умерло от голода и лишений в первые два года войны, когда немцы взяли в плен около 90% всей численности пленных.

По ночам немецкая армия спешила уйти от наступающей Красной Армии и попасть в плен к союзникам. По дорогам стоял шум машин, танков и колонн солдат.

За несколько дней до прихода советских войск можно было изредка встретить немецких дезертиров. Они конечно прятались, боялись своих же немцев, боялись нас, боялись остовцев. Одного офицера мы обнаружили у входа в заброшенную шахту. Он испугался нас, а мы его. Он протянул нам свой пистолет и сказал, что боится попасть на глаза отступающей немецкой армии. Будет ждать прихода советской армии. Думаю, что дождался. Мы его оставили, а сами ушли в шахту попробовать, как стреляет его пистолет. В кустах, окружавших заброшенную шахту, бродило много подозрительных типов. По тому, что они молчали, мы догадывались,

что это переодетые дезертиры из немецкой армии. Стычек между нами не было. Немецкой власти уже как таковой не существовало, но и другая не пришла на смену. А боязнь открыто выступить против немцев все еще оставалась в нас. Это было такое безвластие, когда обе стороны боялись друг друга и обходили стороной.

Мы сидели и ждали, бежать навстречу освободителям не решались. За день до прихода освободителей мы все как-то притихли и съезжились, как бы боясь той новой страницы в нашей жизни, которая откроется завтра.

3-го мая днем было тихо: ни отступающей, ни наступающей армии не было видно. Вдали слышались отдельные артиллерийские выстрелы. Пошел слух, что ночью или завтра утром придут советские войска.

Местное население стало группами уходить в заброшенные шахты, которые были в 1-5 км от нескольких населенных пунктов. Я, как и многие пленные, не знал, что представляют собой эти старые шахты. Но остовцы знали о них, и многие работали там под землей, укрепляя стенки и потолки шахт для каких-то военных заводов, которые так и не построили из-за быстрого приближения Восточного фронта.

Когда начало темнеть, в шахтах очутилось много разного народа. Немцы держались своей компанией, а мы своей. Нас уже не гнали, не называли "унтерменшами". Мы поравнялись с "оберменшами". О приближающейся армии не говорили, но все думали о ней. Немцы со страхом, а мы с волнением долгожданной встречи с нашими родными, русскими освободителями, с теми, кого мы ждали долгие годы. Но большого ликования не было. Я его не видел. Почему? Неужели подсоветскому человеку и радость дается с примесью страха? Он был нашим неизменным спутником, пережил и плен, и сейчас, за несколько часов до освобождения, он тоже стоял рядом с нами.

Вход в шахту метров в 6 шириной, цементные ступеньки вниз. Спустившись метров на 50 в шахту, мы увидели громаднейший зал с зацементированными стенками, полом и потолком. От пола до потолка метров 5-6, ширина около 12 и длина 20 или больше. Таких залов было несколько и все они были соединены между собою.

В одном из таких залов были навалены кучи чемоданов, узелков и ящиков. Чьи это были вещи? Говорили, что многие гитлеровские партийцы привезли свои вещи из нескольких городов Саксонии, надеясь, что они уцелеют от бомбардировок. Особенно много было из Дрездена. Вряд ли кто-либо знал истинную историю этих вещей. Конечно, местное население тоже снесло сюда свои чемоданы. Прятали не только от бомб, но от русских, то есть от наступающей советской армии, не задумываясь, что русские были везде: рядом пленные и остовцы, а с востока наступающие. В узких прохо-

дах шахты было сложено какое-то имущество, а в одном была навалена кучами форма национал-социалистической партии.

В подземных залах был электрический свет, деревянные настилы, уборные и вода. Многие запаслись свечами, предвидя, что свет может погаснуть. Так и получилось: под утро свет погас. Зажгли свечи. Вряд ли кто-нибудь спал в эту ночь. Прислушивались к шуму, доносившемуся снаружи. Выстрелов не слышно было.

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА

Это произошло 4 мая 1945 года. Когда мы вылезли из шахты, то увидели, что по главной дороге бесконечной колонной двигалась советская армия. Это было рано утром. Над дорогой облаком стояла пыль. Значит, фронт уже прошел. Никаких боев не было. Некоторые солдаты шли, некоторые ехали на лошадях, на телегах, на велосипедах, на машинах. Дорога от нас была примерно в двух километрах, и пыль столбом висела над ней. Подойдя ближе, мы увидели, что шли они не организованной колонной, а как кто. Спешка была заметна во всем. Они шли в последний бой у границ Чехословакии, как потом стало известно.

Никто из пленных, ни из остоццев не осмеливался подойти близко к двигавшейся "нашей" армии. И те тоже как бы не замечали нас.

Приблизительно к 12 часам начали ехать грузовые машины армейского тыла. Над дорогой все еще стояла пыль и шла армия. Мы разбрелись кто куда, не зная что делать. Освобождение пришло. Без шума, без стрельбы, без победных маршей. Большинство машин ехало по дороге, не останавливаясь. Но некоторые сворачивали в населенные пункты, как бы из любопытства. Нас человек пять стояло у какого-то забора, и к нам подкатила машина. Из кузова выпрыгнули три солдата, остальные оставались сидеть.

Не помню даже приблизительно, как завязался разговор. Одно было очевидно, что они ничуть не удивились, что мы говорим по-русски. Они даже не спросили, кто мы такие и что мы делаем в немецкой деревне. Вероятно, для них уже стало привычным явлением встречать земляков в Германии. Для нас же это была долгожданная встреча. Но как было им понять наши чувства? Они же в плену не сидели, они не знали, как мы выжили и как дождались победы. Встреча, как говорится, произошла по-буднему. Ни одна сторона не выразила своих истинных чувств. У меня ком к горлу подошел и слезы навернулись на глазах. Я даже в сторону отошел, чтобы никто не заметил моего волнения. Проглотил встречу. На душе стало легче, и тяжелая ноша плена свалилась с плеч. Немцы отодвинулись в сторону, ушли с горизонта.

После пятиминутного разговора солдаты прыгнули в кузов машины и уехали. И из этого короткого разговора было ясно, что эти солдаты не имели никакого понятия о советских пленных в Германии. Они знали немного только об остовах. Комиссары не говорили им о пленных, о страшных окружениях в первые два года войны.

С другой стороны, для советского солдата, который прошел тысячи километров до Германии и прошел нелегкой дорогой, какое ему было дело до нас? Он ничему не удивлялся. Он видел ужасы войны, смерть смотрела ему в лицо не один раз, и он ко всему привык. И остова и пленные для них были люди из другой жизни, им не известной.

С этого майского, солнечного утра плен был позади. Новая страница открывалась в моей жизни, как и в жизни многих миллионов людей, заброшенных войной в Германию. Как-то не верилось, что война окончена, что колючая проволока и лагеря остались позади.

За целый день проехало много машин, некоторые останавливались, заводили разговор. Но встреча всегда была одинаковой: холодной, безразличной. Иногда солдаты искали земляков, и, если находили, разговор оживлялся.

Как может быть такое безразличие к нам, пленным и остовам? Спустя несколько недель после прихода советской армии из разговоров с солдатами и офицерами я узнал, что не только рядовые солдаты, но и офицеры не имели никакого понятия о советских пленных в Германии. Этот вопрос не входил в программу лекций политруков и держался в секрете. Когда же наступающая армия стала встречать все чаще и чаще остоцев и пленных, то политпропаганда начала внушать им, что мы коллаборанты, изменники и от нас надо держаться подальше. Нас не признали за своих, мы были помечены другой меткой. У нас был только общий язык. В разговоре можно было слышать часто слова "мы", то есть освободители, советская армия, и "они" — все, кто были в Германии, без различия, как они туда попали. Подразделения на пленных и остоцев в первые дни, да и в последующие, не было.

Нет сомнения, что НКВД и высшие чины армии знали о пленных. Но даже эти органы никогда не подозревали о количестве русских людей в Германии. Я видел их неуверенное поведение, а часто и незнание, что делать, в первые недели после войны. Вероятно для того, чтобы изолировать освободителей от "вредного", по их мнению, влияния тех, кто пробыл сколько-то в Германии, оккупационные власти старались создать стену между ними и нами.

Приход советской армии не изменил нашу жизнь ни в лучшую, ни в худшую сторону. Она продолжала оставаться такой, какой сложилась за два-три дня до освобождения. Мы были свободны сейчас от лагерей, от немцев. Но мы должны были заботиться о куске хле-

ба и где найти ночлег. В этом освободители нам не помогали. Мы брали у немцев, что можно было взять. Потом и у них дома становились пустыми, а многие стали прятать, что осталось. Следуя примеру освободителей собирать "трофеи", мы тоже стали воровать, когда нам не давали добровольно. Мы старались одеться более или менее прилично, да и надо было прокормиться каждый день.

Даже внешнее различие между пленными и остовцами совершенно исчезло буквально в первые дни прихода советской армии. Мы все оделись в немецкую гражданскую одежду. Да и не только мы. Все европейцы, которых Германия насильно вывезла в свои города и села. Можно сказать, что вся Европа перемешалась.

Разница была в том, что большинство европейских пленных двинулись в родные края и достигли их за несколько дней. Другое было с нами. Нас было во много раз больше, чем всех остальных европейцев вместе взятых. Освободители не могли препятствовать всем другим народностям идти домой, в свои страны. Но нас они боялись пустить свободно домой, боялись, что мы за границей, даже в той "проклятой" Германии, набрались чего-то другого, не советского. Нас надо было отгородить, остановить наш бег домой, посадить в репатриационные лагеря и проверить через сита НКВД.

Хорошо было тому, кого конец войны застал хотя и изголодавшимся, худым, но здоровым. А каково же пришлось тому, кто был болен, кто не мог сам добывать свой хлеб насущный и ночлег? Эти люди могли надеяться только на своих друзей, если такие были. Освободители в первые дни никакой помощи не оказывали. Вот, например, трое больных нашего ревира. Они не могли ходить: двое из-за ранений, а у одного была какая-то серьезная болезнь. Их нужно было устроить куда-нибудь и оказать нужную медицинскую помощь. С ними находился наш реверный Петька. Как я уже сказал, он был оптимистом, веря в то, что освободители помогут всем, чем могут. Узнав о местонахождении штаба какой-то части, он отправился туда. Ему стоило много слов растолковать часовому, чего он хочет и о ком он говорит. Часовой так и не понял, о каких пленных больных Петя говорил, но доложил полковнику. Тот вышел из помещения и после нескольких слов понял, что перед ним стоит бывший пленный. Не выслушав Петю до конца, он начал орать на него, пересыпая свою "речуху" отборными ругательными словами вперемешку с "изменники", "предатели", "сволочи". Но Петя не трусил. Он старался доказать ему, что это бывшие советские солдаты, что они тоже воевали и были в Красной Армии. Полковник вошел в ярость от Петиних слов и начал вынимать пистолет из кобуры. "Поворачивайся и убирайся отсюда, изменник! Чтобы твоего духа здесь не было, а то пристрелю как собаку!" — была его команда. Мы решили, что полковник был пьян, потому что человек с непомутившейся головой не мог так себя вести.

Петя убежал, но не сдался. Пошел по другим частям и, в кон-

це концов, набрел на разумного офицера, который распорядился принять бывших пленных в военный госпиталь.

После превых же дней освобождения мы знали, где мы стоим по отношению к советским оккупационным властям. Мы были по другую сторону невидимой стенки, о которой нам напоминали каждый день.

Освобождение пришло вместе с анархией, которая началась сразу по вступлении на немецкую землю, и ее трудно было остановить. Несмотря на многие меры, предпринятые военным командованием, она катилась по инерции и с довольно большим размахом.

Освободители собирали трофеи, от простого солдата до генерала. Мы тоже ринулись по этому же руслу. Нам тоже хотелось не остаться с пустыми руками. И вся многомиллионная наша масса навалилась на погибший "Райх" и стала его разрывать на части, следуя примеру освободителей. Каждый человек из этой массы хотел что-то для себя за все обиды и оскорбления, каждый требовал пищу, и не такую, какую немцы давали во время их власти. Каждому нужен был ночлег и уют свободы. Миллионные массы людей двигались в разных направлениях, кто шел на запад, кто на восток. А были и такие, которые никуда не спешили, а жили сегодняшним днем, надеясь, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Они не знали, где восток, а где запад, было все равно. Грабеж и насилие были их главной целью. А так как ни насилие, ни грабеж не преследовались освободителями в первые недели, то полнейшая анархия дошла до пределов.

Грабеж, воровство и насилие начались, как только Красная армия перешла границы Восточной Европы. Но в этих странах за такие проделки наказывали: надо было не отпугивать население будущих союзников плохим поведением освободителей. Но уже перед тем, как вступить в Варшаву, было разрешено посылать посылки домой: для солдата — пять килограммов в месяц, для офицера — десять, для генерала — пятнадцать. Но эти пределы нарушались всеми чинами и рангами, кто имел друзей при штабах и полевых почтах. В разбитой Варшаве, по словам очевидца, солдаты находили пустые квартиры и отыскивали одежду, чемоданы с вещами и все другое, и слали домой, на родину.

Но главное было впереди, в Германии. В Восточной Европе была как бы репетиция, а полный разворот был в Германии. Почва была подготовлена и толчок к насилию и грабежу дало Главное Политуправление фронта перед вторжением в Германию. Было издано известное воззвание:

"Советский солдат! Ты стоишь на границах проклятой Германии, страны, которая принесла тебе, твоей семье, Родине столько крови, горя и слез. Отомсти, советский солдат. Сделай так, чтобы вторжение наших армий запом-

нилось не только сегодняшним немцам, но и их отдаленным потомкам. Чтобы в Германии на памяти поколений остался страх перед нами. Помни, что все, что имеют немецкие ублюдки, — это твое, награбленное у тебя или у других народов, вскормленное и нажитое на крови и поту даровых, отовсюду согнанных фашистским фюрером рабов. Иди с поднятым мечом, не имей сожаления в сердце, освободи томящихся в немецком рабстве жен, детей, матерей. Стоны миллионов доносятся до тебя. Народы Европы ждут своих единственных избавителей от произвола и смерти”...

Ненависть к врагу и мщение за все горести войны пропагандировались статьями Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Кригера и других. Грабеж и насилие не преследовались, а наоборот поощрялись. По вступлении в Германию развязался бездонный мешок человеческих слабостей, желаний и рефлексов. Все это накапливалось, сдерживалось годами войны и разорвалось теперь на немецкой земле. И начался разгул в стране ”изобилия”, который продолжался много недель после окончания войны.

Изнасилование немецких женщин было ежедневным явлением. Да и не только немецких. Часто пьяные солдаты нападали на своих же русских остовок, и им тоже трудно приходилось, особенно если не было защиты. Иногда между расходившимися солдатами и остовцами-пленными происходили драки не на шутку. Были жертвы. Дело в том, что девушки-остовки не прятались, как немки, а надеялись, что у земляков не хватит совести насиловать своих русских. Для лучшей защиты от пьяной ватаги освободителей девушки стали держаться группами, старались быть вместе со своими остовцами и бывшими пленными.

Армейская дисциплина почти полностью отсутствовала среди победителей. Алкоголь был на первом месте. Я не пишу ”водка”, а именно алкоголь. Пили все, что содержало спирт. Были частые отравления со смертельным исходом. Надо сказать, что кроме грабежа (главным образом охотились за барахлом) и изнасилования женщин, я не видел открытого зверства советских солдат, даже когда они были пьяны. Конечно, были случаи, о которых хочется забыть. В одном из таких случаев заправилой был бывший пленный. Этот пленный, по фамилии Смирнов, знал одну немецкую девушку в деревне недалеко от Мейсена. Она ему никак не давалась мирным путем. Тогда он повел туда двух порядочно подвыпивших солдат, бросился на девушку и стал насиловать. Мать ее стала на защиту. Тогда, не долго думая, этот негодяй вынул пистолет и застрелил мать. На выстрел прибежали соседи, и вся шайка струсила и убежала. Я знал этого негодяя Смирнова из одного из рабочих лагерей около Мейсена. Мне кажется, это было в конце июля. Уже был немецкий комендант города и какая-то городская

власть. Затереть этот случай не удалось. Он приобрел большую гласность среди местного населения.

Бывшего пленного арестовали. Если не ошибаюсь, немецкая городская полиция. Кто же должен судить бывшего пленного? Он не принадлежал к числу освободителей, но он не был и немцем. Каков же было его легальное положение? Советский подданный? Или бывший советский подданный? Военный трибунал его не судил. Судил его немецкий суд. Смирнов получил десять лет тюрьмы. Но где? В Германии или же в Союзе? Двоих соучастников-солдат немецкий суд не судил, да и вряд ли они вообще получили какое-нибудь наказание.

В первые недели после освобождения немцы прятались где только могли: на чердаках, в темных уголках своих владений, где угодно, только подальше от освободителей. Особенно женщины.

Бывшие военнопленные мстили своим издевателям, если могли их найти. Но находили немногих и только случайно. Я уже упоминал о рабочей команде, работавшей в каменном карьере. Там у них был мастер, который изувечил не одного пленного. Каким-то образом некоторые пленные знали его адрес и по окончании войны решили поймать его и наказать. Эту команду также увели из их лагеря перед концом войны, как и другие. Но двое ребят, один бывший летчик, а другой танкист, поставили своей целью найти этого подлеца. Они вернулись в Мейсен, пошли по адресу и увидели, что дом уже разграблен. В доме была одна плачущая женщина. Все двери были открыты. Это была жена того мастера-зверя. На вопрос, где муж, она сказала, что удрал, и она не знает, где он скрывается. Наши ребята решили проследить две ночи. На вторую ночь он пришел домой. Они дали ему войти в дом. Потом один стал у выходной двери, а другой у окна, через которое, они предполагали, он будет убегать. Ребята были вооружены пистолетами.

Спустя некоторое время тот, что стоял у дверей, постучал. Мастер, конечно, знал, что за ним охотятся. Он бросился в окно и выскочил во двор. У Виктора, стоявшего у окна, вероятно, была идея не стрелять сразу в него. Но мастер понял, что здесь идет о жизни и смерти. Быстро выхватив небольшой топорик из-за пояса, он рубанул Виктора по плечу. Но тот в это время выстрелил в упор. Подбежал Юрий и тоже выпустил пару пуль, для полной уверенности. Они не стали задерживаться, быстро ушли. У Виктора рана была глубокая, но не смертельная. Сильно кровоточила. Они пошли в наш ревер, где к этому времени собрался десяток или больше разных больных. Там был наш санитар, и он сделал перевязку.

Обо всем этом они мне рассказали, когда я вернулся назад в ревер в середине июня. Я хорошо знал их по рабочей команде, поэтому у меня не было никакого сомнения в правдивости их рассказа. Юрий тоже был ранен. Но тут по собственной глупости. Порядочно подвыпивший, он ехал на велосипеде с заряженным пистоле-

том в заднем кармане. Забыл поставить на предохранитель. Велосипед подпрыгивал на дорожных выбоинах, произошел выстрел и пуля раздробила ему кости ступни. У него было намного серьезнее, чем у Виктора, рана которого быстро заживала. У Юрия была сильная боль и никакой медицинской помощи. Ему надо было наложить гипс. Обращения в комендатуру не дали никаких результатов.

В ревире я застал двух советских солдат с какими-то ранениями и нескольких прежних больных ревира с серьезными болезнями. Они вообще не могли ходить. Кто-то приносил им пищу. Мне нужно было им как-то помочь. Посоветовавшись с Виктором и Юрием, я пошел в комендатуру, где часовой остановил меня и сказал, что комендант ничем помочь мне не может и этими делами не занимается, да и вообще никто такими делами не занимается. "Все празднуют победу, и не беспокоят никого и не приходят опять, а то нарвешься на пьяного часового, так и сам получишь," — это были его напутственные слова.

После моего рассказа Виктор решил, что он сам пойдет к коменданту или к одному из его адъютантов. Как дела развернулись назавтра, не знаю. Но через неделю я узнал, что всех из этого ревира, включая бывших пленных, забрали в советский военный госпиталь.

Один раз я был очевидцем, как озовцы опознали своего заводского мастера. Говорили, что рука у него была тяжелая, бил многих. Попался он совершенно случайно. Он старался затеряться среди массы беженцев, озовцев и других. И вдруг один из его бывших подчиненных узнал его в толпе. Мастер попробовал было убежать. Но тут поблизости был советский офицер, и его попросили арестовать немца. Нашлось еще несколько озовцев с того самого завода, и подтвердили, что немец избивал их. Суд был тут же, на месте. Услышав подтверждения многих озовцев, лейтенант приговорил его к расстрелу. Вокруг стояла толпа человек в 30. Лейтенант посмотрел кругом и, заметив дом с подвалом, повел немца туда в сопровождении десятка человек. Когда спустились в подвал, лейтенант вытянул свой пистолет и, указав пальцем на одного паренька лет 20-ти, сказал: "Ты будешь его расстреливать!" — "Почему я? Я этого немца никогда раньше не видел. Он мне ничего плохого не сделал. Я расстреливать его не буду", — ответил тот и продолжал стоять. Тогда лейтенант спросил, кто узнал этого мастера. Молодой озовец лет 18-ти сказал, что он. Тогда лейтенант взвел курок, дал ему пистолет и сказал: "Стреляй!" Тот шархнул в сторону от пистолета, но выхода не было. Мне показалось, что обвинителю-озовцу тяжело было стрелять в беззащитного человека. Видно было, что он никогда не держал пистолета в руках. Вероятно он думал, что лейтенант расстреляет немца, а теперь по всему было видно, что если бы он знал исход всего дела, то не начинал бы эту историю.

Дрожащими руками он взял пистолет и выстрелил в упор два

раза. Кроме слов "биттэ, биттэ" немец ничего не говорил. Думаю, что он знал свои преступления. Может быть, он только не ожидал такого быстрого суда.

На многих лицах я заметил смущение и что-то вопросительное. Перед лицом смерти, что ли? Эти молодые остовцы никогда не воевали, и многих эта сцена потрясла. Сам обвинитель был мрачным и молчаливым и быстро куда-то скрылся. Мне было тоже не по себе. Может, обвинение не стоило смертного приговора? Может быть, этот паренек хотел чем-то выпятить себя перед победителями и правдой-неправдой обратить их внимание на себя? Неопытность, наивность, а иногда и глупость руководила подобными поступками. Подобных сцен, но не с таким спешным исходом, мне пришлось много видеть в первые месяцы после войны.

Продолжая разговор о трофейниках, можно рассказать очень много интересного и смешного, но это не входит в мои намерения. Замечу, что были трофеи, которых никто не ценил и не понимал. Мне пришлось быть очевидцем расстрела мейсенского фарфора. Все-му миру известны фарфоровые изделия Мейсенских заводов. Сколько там было изящных вещей: чайники, графинчики, чашки, тарелки. Никто их не брал. По крайней мере я не видел. Это называли "черепками". По ним стреляли как по мишеням. Такая ситуация была первые недели после прихода советской армии. Под пьяную руку Ванька стрелял пулеметом по фарфоровым тарелкам, не задумываясь об их ценности.

Мне также не пришлось встретить охотников за золотом, бриллиантами, ювелирными изделиями и вещами подобного рода. Были, конечно, и такие, но мне не попадались. На первом плане были костюмы, рубашки, брюки — вообще, что-нибудь из одежды.

Нельзя обойти молчанием собирателей трофеев, специализировавшихся на "урах", то есть часах. Преимущественно, ручных часах. Немецкое слово *die Uhr* на языке солдата превратилось в "уры".

Мне встречались и солдаты и офицеры с десятками часов на обеих руках, от самой кисти до локтя и выше, не считая карманных, которые не были популярны. Получилось своего рода соревнование, кто больше приобретет часов. Снимали часы со всех, кто не был в солдатской форме, включая остовцев-пленных. Если солдат был русский и попадал на русского остовца, то дело кончалось миром. Но если солдат был из нацменов, калмык, киргиз или туркмен, то никакие мольбы не помогали. Ему было все равно, он знал по-русски несколько десятков слов и одно немецкое слово "уры". Я сам стал жертвой калмыка, подъехавшего к дому, где мы ночевали. Он соскочил с какой-то маленькой лошади, вбежал в комнату рано утром, когда мы еще не встали, наставил свой автомат на меня и кричал "уры, уры, уры". Я пробовал ему доказать, что я не немец. В ответ он поставил автомат на взвод, и я струсил. Пришлось отдать ему память от француза-санитара. Он быстро выскочил, сел

на лошадь и уехал. Вскоре появились два лейтенанта, и я пожаловался. Те сказали, что я правильно сделал, что с этими болванами шутить нельзя. Он мог бы разрядить очередь из автомата и уехать, и его никто искать в такое время не будет.

Самым ярким примером разграбления немецкого имущества стала для меня та шахта, о которой я упомянул раньше. На второй день прихода советской армии ко входу в шахту подъехала машина, часов в 11 утра. Из машины вышли два капитана и начали спрашивать толпившихся остовцев, что находится в шахте. Те были хорошо осведомлены, потому что их бараки были только в 300-х метрах от главного входа, и все они видели, сколько чемоданов и ящиков было спущено на хранение в последние несколько недель. Не один из них подумал, как бы добраться до этого добра. Рассказали офицерам, что там много чемоданов. А немцы уже с самого рассвета приходили и уносили свои вещи. Офицеры спустились вниз и удивились количеству чемоданов. Потом через переводчика приказали немцам покинуть шахту и поставили часовых у входа, с распоряжением никого не пускать. Взяли с собой десяток остовцев-пленных, спустились вниз, обошли все залы подземелья и остановились как бы в раздумьи. Я был в этой группе. Прежде чем начать ломку чемоданов, я задал офицерам вопрос, что они хотят найти в этих чемоданах и чем они, вообще, интересуются. "Мне нужны сапоги", — сказал один. А другой велел все, что попадется спиртное, передавать ему. — "И это все?" — удивился я. — "Нам ничего больше не надо", — последовал ответ.

Началась бешеная ломка чемоданов и выбрасывания из них разных вещей: костюмов, рубашек, постельного белья, полотенец... Гораздо легче было бы назвать, чего там не было. Нашли несколько бутылок крепких напитков и, наконец, к моему удивлению, сапоги тоже нашли, и они как будто подошли по размеру.

У входа в шахту скопилось около сотни остовцев, главным образом тех, что жили рядом, но были и другие. Кто-то попросил офицеров пропустить остовцев-пленных к чемоданам, но не пропускать немцев. Они разрешили, и толпа двинулась вниз. Офицеры уехали, а вскоре и часовые ушли. Немцы бросились спасать свое имущество. Но как его найти в этой суматохе? Все было перевернуто вверх дном. Остовцы не терялись. Некоторые управились вынести по несколько чемоданов. Пару раз завязалась драка между немцами и остовцами-пленными. Кончалось не в пользу немцев. Только один раз я видел, как немец выиграл. Серебряный сервиз в коробке тащил остовец с одной стороны, а немец с другой. Немец почти плакал, говоря, что это его свадебный подарок и что он уже все потерял и умоляет оставить ему хотя бы этот сервиз. Тут еще кто-то вмешался, и отпустили немца с его сервизом. Многие же немцы боялись спускаться вниз и с грустью смотрели, как остовцы уносят их чемоданы.

Плач, крики, хохот и стрельба эхом отдавались в проходах шахт. Почему стрельба? В чемоданах нашли несколько пистолетов и началась пристрелка в стены шахты. Плакали потерявшие свое добро, смеялись грабившие. Поменялись ролями: "унтерменши" стали хозяевами сегодняшнего дня. Мы забирали только их барахло и не стеснялись. Они ограбили нас больше, и то, что делали мы, этим как-то оправдывалось. Может быть, не в отношении каждого немца, но целой нации, которая шла за Гитлером на все преступления и оправдывала их. А сейчас, мол, пусть они поплачут о своих костюмах, о тряпках. Сколько они отправили пленных на тот свет, сколько жизней искалечили. Даже в самом диком разгуле освободителей не было такого зверства, которое совершили немцы на оккупированной русской земле.

Гора чемоданов таяла на глазах. Образовалась громаднейшая куча одежды. Около нее кольцом и мы и немцы. Нас больше, и выбор товаров большой. Только немецкую партийную форму никто не брал. Она так и осталась лежать кучей. Конца "раздела" немецкого имущества я не видел. У меня тоже появился чемодан и я ушел.

Обчемоданившись, остовцы-пленные старались побыстрее уйти от шахты, как бы боясь потерять "трофеи". Страх перед немцами все еще жил в их сознании? Или же за годы бесправия выработалась определенная психология? Или же совесть говорила, что это не твое, ты награл, это несправедливо? Так или иначе, но не только старались уйти подальше от шахты, но и уехать из этой местности. Однако нести чемоданы было невозможно. Тогда пошли отнимать у фермеров телеги и лошадей. Обычно собиралась группа в несколько человек, грузили чемоданы на телегу и уходили, идя рядом. Куда шли? Никакого определенного направления у большинства не было. Обычно в ближайший город. В данном случае это был Дрезден, Фрейбург или Мейсен. Некоторые оставались в остовских бараках, где уже к вечеру второго и следующие несколько дней шел пир победителей. Офицеры привозили разную пищу, спиртные напитки, и музыка и песни раздавались чуть ли не до утра. Почему остовские бараки? Потому что там было много русских девушек, пили, пели и танцевали под "трофейный" аккордеон.

Первые три недели после окончания войны ни остовцам, ни бывшим военнопленным никто не давал никаких указаний, куда ехать и что делать. Большинство потянулось на восток, на родину. Некоторым, находившимся недалеко от польской границы или в самой Польше, удалось попасть домой в первые же недели после окончания войны. Но когда основная масса из самой Германии двинулась на восток, то они запрудили все дороги. Получилась ситуация: советская армия стремилась в Германию, но навстречу им шла другая армия остовцев-пленных. Слышал, что армии пришлось расчищать дороги танками и что был издан приказ никого не пропускать через границу.

Из всего виденного мною можно вывести, что советское командование не было вполне осведомлено о многомиллионной массе русских людей в Германии. По крайней мере, создававшаяся ситуация сделала очевидным отсутствие разработанного плана, что делать с этой массой людей.

10. РЕПАТРИАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ

Примерно в первых числах июня стали организовывать репатриационные лагеря. Никому не разрешалось ехать на восток в одиночку. Лагеря создавали наспех. А массы людей волнами поступали с запада, из оккупированных союзниками зон. Репатриационные лагеря создавались часто в бывших немецких казармах, на опустевших аэродромах и даже в бывших лагерях военнопленных. Так был создан репатриационный лагерь в бывшем лагере туберкулезников в Цайтхайне, где погибло около 70 тысяч советских пленных. Я поехал посмотреть этот лагерь, где, казалось, каждая доска барака была пропитана туберкулезными бациллами. Встретил доктора, который два года был с туберкулезниками. Я не говорю "лечил", потому что лечения не было.

Я поинтересовался картотекой погибших в этом лагере. Доктор сказал, что советское командование не обратило никакого внимания на картотеку, и какой-то офицер приказал ее уничтожить. А сколько там осталось братских могил! Зимой 1941-42 года могил не зарывали до самой весны. Каждый день трупы засыпали известью, до тех пор пока края могилы не поравнялись с землей. И таких могил было много в ту страшную зиму. Каждый год появлялись новые. Вряд ли оккупационные власти поставили какой-нибудь памятник над этими могилами.

Репатриационные лагеря растянулись по всей Германии, начиная от польской границы. Эти лагеря были во всех оккупированных зонах. В советской зоне они были переполнены до отказа. Скажу на примере репатриационного лагеря в Мейсене, который находился в немецких казармах. Он был рассчитан на 10-12 тысяч, но были дни, когда там пребывало до 32 тысяч людей. Не только казармы были заняты, но и вся территория вокруг них под открытым небом. Хорошо, что это было летом. При таких обстоятельствах надо было быстро отправлять партиями по полторы-две тысячи почти каждый день. Не всегда это удавалось. Не хватало транспорта.

Кто кормил эту массу людей? Немцы, в прямом и переносном значении этого слова. И до репатриационных лагерей и после. Официально же на каждого репатрианта давался солдатский паек. Но репатрианты, попробовав уже лучшую пищу в первые послевоенные дни, не хотели есть перловой каши. Уходя и днем и ночью

из лагерей, они рыскали по окружающим деревням и воровали. То, что не давалось по доброй воле, забирали насилем.

У каждого были свои методы охоты за пищей, которые диктовались атмосферой, сложившейся обстановкой, собственной находчивостью и умением. Кто раз голодал, тот знал, как найти хлеб насущный.

С организацией репатриационных лагерей всех нас стали называть "репатриантами", избавившись тем самым от слов "бывший пленный" или "насильственно увезенный", хотя последнее выражение было в частом употреблении. Но о бывших пленниках — полное молчание, как будто их никогда не было. Это была официальная линия.

Чтобы описать, как рассматривало советское командование бывших пленников, приведу два случая, которые лично знал.

В мейсенском репатриационном лагере я познакомился с человеком по фамилии Колосов. Попал он в плен в самом конце 1944 года где-то на территории Венгрии или Чехословакии. Был ранен во время уличных боев, и его немцы подобрали в бессознательном состоянии, по его словам. Уже в Германии в реви́ре пленных он совершенно поправился. Форма на нем была в хорошем состоянии, он так и остался в ней, только спрятал свои знаки отличия. Освобождение пришло быстро, и он провел в плену только пару месяцев. В Советской армии он служил в штабе армии и был хорошо знаком с генералом, с громким именем. Тот генерал как раз стоял во главе корпуса в Саксонии. Колосов был в чине подполковника. О генерале говорил, что они друзья со времени начала войны. У Колосова не было никакого сомнения, что он — часть Советской армии. И как только пришли освободители, он надел свои погоны и в таком виде расхаживал по городу.

Он ничем не отличался от регулярного советского офицера. Твердо веря, что он не потерял своего офицерского звания, Колосов ходил в своей форме несколько дней. Его задержали патрули, потребовали документы и привели в комендатуру. В комендатуре с него погоны сорвали, в буквальном смысле слова, потому что он не хотел добровольно снять их, выругали последними словами и грозили арестом, если он еще раз покажется в офицерской форме. На его заявление, что он офицер и провоевал почти всю войну, ему ответили, что в этом разберутся соответствующие органы.

Он поехал искать защиты у генерала. Встреча состоялась. Надо полагать, что они выпили изрядно и генерал сказал ему, что ничем помочь не может. Просил больше не беспокоить его, если подполковник не хочет принести неприятностей генералу. Тяжело было смириться подполковнику с таким положением дел, а человек он был смелый и бравый. Проглотил он пилюлю горькую и рассказывал мне и моему другу эту историю со слезами на глазах. Что-то оборвалось у него, потерялось навсегда.

Некоторое время он был помощником, от репатриантов, начальника репатриационного лагеря. Не знаю, как потом повернулась его судьба. Нет сомнения, что он попал на один из транспортов домой и зачислен как единица в каком-нибудь рабочем лагере или хуже.

Другой пример: встреча отца с сыном-летчиком. Отец уже под 50 лет, по фамилии Щербаков, за несколько месяцев до начала войны был взят как инженер на строительство по укреплению советской границы. В плен попал на второй день войны. Не знаю, как и каким образом он встретил сына в Германии. Насколько помню, сын был в летном училище перед войной. Обстоятельств их встречи не знаю. Сын уже командовал эскадрилей и был, если мне память не изменяет, в чине майора. После встречи с сыном Щербаков с горечью рассказывал мне, что сын ему ни в чем не может помочь, увести его домой не может, хотя летает туда почти каждую неделю. Сын ссылался на какой-то приказ, по которому надо пройти сети НКВД, и только таким образом можно попасть на родину. Не знаю, сколько раз он встречался с сыном, продолжая сидеть в репатриационном лагере. Думаю, что все же ему сын посоветовал как можно дольше оставаться в Германии, потому что, несмотря на свой возраст, отец уехал на демонтаж немецких заводов.

Были встречи неожиданные, радостные, счастливые: встречались братья, брат находил сестру, насильственно увезенные родители находили сына в солдатской форме. А земляков из одного города или округа было хоть отбавляй. Иногда встречи с земляками не кончались счастливо.

Поняв официальное отношение оккупационных властей к бывшим пленным, большинство стало скрывать факт пленения и подделываться под остовцев. Теперь мы были "репатрианты". Остовцев признавали, а мы попали в тень, и не замечались освободителями. Так выглядело на поверхности.

Нет сомнения, что самое высшее командование не забыло ни Минск, ни Харьков, ни Киев, ни Вязьму, где немцы окружили целые армии и взяли в плен миллионы советских воинов. По чьей вине? Не простой же Ванька с винтовкой в руках завел полумиллионные армии в немецкие мешки? "Мудрые вожди" в верховном командовании пожертвовали миллионами солдатских жизней. А сейчас они предпочитали молчать, притворяясь, что все хорошо, что мы победили, что все было и есть гладко, пленных нет и не было.

Ни по окончании войны, ни сейчас, спустя 40 лет, советская пресса открыто не писала о количестве пленных и их судьбе в немецких лагерях. Официальная партийная линия молчит и продолжает молчать о миллионах советских солдат, попавших в немецкие руки, о миллионах замученных в концлагерях, умерших от голода и болезней во всей оккупированной немцами Европе. А сколько их после войны попало в советские лагеря?

Но народ обмануть нельзя. Слухами земля полнится, как говорит русская поговорка. Неудивительно, что недавно, во время моего пребывания в Советском Союзе как туриста, одна старушка подошла ко мне и спросила: "А моего сынка ты случайно не встречал там у вас за границей?" Многие матери и жены ушли из этого мира, а те, кто жив, все еще продолжают ждать. Официально они так никогда и не получили сообщения, что случилось с сыном, мужем или отцом.

Несмотря на рассказы беженцев о насилиях и грабежах, у некоторых немцев были намерения подготовиться к хорошей встрече русских. Не все немцы были стопроцентные национал-социалисты. Их умозрение менялось по ходу войны. Особенно среди тех немцев, что жили ближе к Польше. Но вся беда в том, что волна насилия и произвола не разбирала, кто каков. Она поднялась под лозунгом "Вот она — проклятая Германия" и сметала на своем пути всех. Сначала командование поддерживало разбушевавшиеся страсти, но когда был потерян контроль над массой солдат, разбежавшихся из частей на поиски трофеев, то начали бить в набат. Но было уже поздно. Надо было приложить много усилий и дисциплинарных взысканий, чтобы как-нибудь утихомирить низменные страсти.

В деревне, где расположили наш ревер после эвакуации из Мейсена, я знал немца, который готовился с достоинством встретить советскую армию. Еще за неделю до прихода освободителей он уже приносил нам в ревер продукты, желая и нас расположить к нему. На вид он был здоров, не старше 50 лет. Жил в большом двухэтажном доме, и видно было, что он не бедствовал во время войны. Когда наша охрана убежала, то он приглашал несколько человек пленных в свой дом. Угощал пивом и еще чем-нибудь. В подвале хранил две бочки вина, которые специально приготовил для встречи советской армии.

Я не был свидетелем встречи этого немца с победителями, но видел последствия ее. Все в доме было разграблено, разбито, расстреляно. Вино, конечно, выпито, и следов от бочек не осталось. От посуды одни осколки. На каждом этаже словно ураган прошел. Думаю, что в этом разгуле принимали участие и остоуцы и пленные. Но стреляли по стенкам определенно солдаты.

Для стремительно катящейся армии все немцы были враги, всех стригли под одну гребенку. Все разрешалось, все можно, валяй, Ванюха, ты победитель. Можно только представить, как этот немец, имея хорошие намерения, стоял у открытых дверей и ждал гостей. Стоило только узнать одному-двум солдатам о вине, как целая вооруженная толпа бросилась туда. Немца, конечно, оттолкнули, не понимая ни его слов, ни его добрых намерений. Если немец к этому времени не сообразил, что происходит, и не убежал, то могли изнасиловать его жену и пристрелить его, если бы он бросился защищать ее. Гостеприимного немца я больше не видел.

С приходом освободителей с Востока и с Запада, побежденная Германия превратилась в многонациональный и многомиллионный муравейник, беспрестаннодвигающийся по всем направлениям. И осто́вцы и пленные потянулись к ближайшим городам. Большой процент людей направился на восток. Многие, как я в Мейсен, ехали в те места, из которых были эвакуированы. Наша группа в шесть человек шла за телегой, на которой были нагружены чемоданы. Мы совсем не спешили в Мейсен и делали не более чем 10 км в день. И путь наш был не по прямой дороге, а зигзагами. Вскоре мы очутились рядом с рекой Эльбой и ехали вдоль нее. После обеда останавливались на ночлег, если находили место, которое нам нравилось. Надо было кормить лошадей, да и самим искать пищу. С кормежкой было проще: косили траву.

В эти майские, теплые, красивые дни никуда не хотелось спешить. Хотелось наслаждаться свободой и тем, что позволяла обстановка и давала сама жизнь. На большие дороги мы не показывались, потому что по ним все еще прибывала советская армия.

Иногда мы останавливались на несколько дней, если нам нравилось место. Из таких мест запомнилась большая, красивая усадьба на берегу Эльбы, окруженная парком со всех сторон. Прекрасный трехэтажный дом был построен со вкусом и чем-то отдаленно напоминал старинные русские помещичьи усадьбы 19-го столетия. Разве только не хватало липовых аллей. Но там было много других больших деревьев, уходящих вдаль к реке. Дом красивой внешней архитектуры, внутренне он был также хорошо благоустроен. По всему было видно, что жил в нем человек богатый. Освободителей он не ждал. Своевременно убежал, захватив с собой необходимое и вероятно с надеждой, что вернется назад.

В доме оставалось все как было, насколько можно было судить, когда мне пришлось провести здесь несколько дней. Изящная мебель, фарфоровая посуда из Мейсена, сотни граненых стаканов и стаканчиков, шкафы, набитые разной разностью, — все говорило, что здесь жил человек со вкусом и средствами. Но после нескольких волн победителей, осто́вцев, пленных, собирателей трофеев — ото всей роскоши и изящности остался только призрак прошлого. Черепки, разбитая посуда, разбросанные стаканы, разбитые окна... Широкая красивая лестница с одного этажа на другой усеяна осколками разбитой посуды. Картины разорения и безграничного разгула во всех комнатах. Кроме одной. Библиотеки. В многочисленных шкафах хранилось не менее 50 тысяч томов книг. И ни одна книга не валялась на полу, ни одна не была разорвана. Были здесь и классики русской литературы. В шкафах не было разбито ни одно стекло. Уважение ли к книгам или полное безразличие к ним пощадили коллекцию убежавшего хозяина? Вероятно, ни то ни другое. Обстоятельства.

В этом доме никто победителей не встречал, бочек с вином

никто не готовил. Гостеприимного хозяина не было. Но результат оказался таким же, как и в случае, когда хозяин встречал победителей.

Подвалы были пусты. Но так только казалось на беглый взгляд. Кто-то из остовцев, подсчитав количество окон с внешней и внутренней стороны, заметил недочет: с наружной стороны окон было больше, чем с внутренней.

Начали искать секретную комнату и нашли. Ее единственное окно вырисовывалось только на 30 см над землей. Взялись за лопаты, раскопали окно, разломали железную решетку и перед глазами открылся винный подвал, до отказа наполненный французскими и немецкими винами, коньяками и другими дорогими напитками.

Слух о винном погребе стрелой пролетел по всему дому и по парку, где находились в это время около ста остовцев-пленных. У единственного окошка образовалась толпа, и каждый старался первым попасть в подвал, как мне потом рассказывали. Те, кому это удалось, хватили крепкие напитки: коньяки и ликеры. "Разгрузка" подвала происходила через это единственное обнаруженное небольшое окно, потому что дверь с подвальной стороны была заложена кирпичами. Дверь эта к тому же была так умело замаскирована, что первые волны собирателей "трофеев" ее не заметили.

Когда я пришел посмотреть на погреб, а это было часа через два после его открытия, то там оставалось только вино. Около 500 бутылок лежали в порядке на специальных полках. Вино было 1918-1922 годов. Мне кажется, оно было местного мейсенского производства. Кто-то открыл пару бутылок и назвал содержимое "кислятиной", другие называли "квасом". Мое отношение к этому вину не отличалось от других. Я тоже прошел мимо, взял только две бутылки. К вечеру разошлось не больше 50 бутылок. Остальные лежали на полках в полном порядке. Любителей вина не было.

На следующий день я отправился на разведку в Мейсен на "трофейном" велосипеде. Около советской комендатуры я встретил бывшего пленного, с которым я подружился, когда он несколько раз был в реви́ре. Он что-то делал при комендатуре. Я рассказал ему о вине, а он передал какому-то лейтенанту при коменданте, который без лишних вопросов сказал, что поедем за вином. Нашел где-то машину, и мы поехали.

Бутылок вина все еще было много, хотя уже с утра некоторые немцы осмелились и брали по бутылке-две. В машину мы нагрузили около 50-60 бутылок. Лейтенант больше не пожелал брать. Да и машина была маленькая. День был жаркий, и я решил утолить жажду "квасом". К моему удивлению, квас опьянил меня. Лейтенант понес несколько бутылок коменданту, а когда тот узнал, в чем дело, то приказал поехать и забрать все бутылки. Но уже было поздно. Мы приехали и увидели только пустые полки.

Этот дом так и остался для меня "замком". Много мне еще

приходилось встречать красивых зданий, но память сохранила почему-то детали вот именно этой усадьбы.

В тени деревьев этого парка я провел несколько незабываемых майских дней в кругу своих друзей. Как давно это было, как быстро улетели годы и как свежо воспоминание! Словно это было вчера. Те первые послевоенные недели были истинно радостными, счастливыми. Бродя часами по парку на высоком берегу Эльбы в окрестностях Мейсена, мы не думали о мрачных днях. Казалось, что все самое худшее прошло, осталось позади. Была молодость, светлые мечты и вера в будущее. Послевоенный хаос не казался страшнее пережитого, а советская власть еще не оскалила на нас зубы. А если и были рычание, то от них можно было легко уйти. Мы довольствовались немногим, жили настоящим днем.

В самом начале июня произошло то, о чем мы и думать не могли. Оказалось, что война еще не окончена, что надо еще воевать с Японией. На всех главных дорогах, ведущих в Мейсен, по которым толпами валили остовцы-пленные, была поставлена военная заграда. Останавливали всех входящих в город, отбирали молодых ребят, заводили их рядом в большой двор какого-то бывшего учреждения, и начиналась регистрация. Там за столом сидело два лейтенанта. Записывали имя, фамилию, день и место рождения. Никаких документов не спрашивали. У нас никаких и не было. Никто не ожидал этого, и как результат — паника, волнение. Те, кто увидели или узнали об этом издалека, повернули назад, пошли в обход, спрятались. Никто их не преследовал и не останавливал. Думаю, что так происходило и в других городах.

Во время регистрации никто ни одного раза не спросил о прежней службе в Красной армии. На наши вопросы отвечали, что нас повезут скорым путем в Сибирь, где формируется армия для похода на Японию.

Попался в эту ловушку и я, и был изрядно обеспокоен. В голове завертелись разные мысли в поисках выхода из этого положения. Бежать с пункта регистрации совершенно не было возможности — кругом стояли солдаты с винтовками. Мечталось жить без охраны, без военщины, без проволоки. Война и плен покалечили нашу молодость, и нам вовсе не хотелось снова надевать солдатскую шинель, а тем более воевать. Кругом благоухала весна, цвели цветы, и хотелось радоваться тому, что остался жив, и мечтать о чем-то красивом и радостном. Я решил приложить все усилия, чтобы бежать отсюда.

Когда численность группы достигла нескольких сот человек, нам приказали выстроиться в колонну и шагать по направлению к городу Ризе, большой железнодорожной станции в 25 км от Мейсена. Колонна сопровождалась вооруженными солдатами. Их было немного, не больше десяти. Многие из нас ехали на велосипедах, многие шли. По дороге начали разговаривать о войне с Японией.

Все думали, что война окончена, — начались обсуждения, рассуждения. Пересмотрев всю колонну, я не нашел ни одного знакомого лица, с кем мне бы приходилось встречаться в лагерях.

Я ехал на велосипеде рядом с грузином, тоже бывшим военнопленным. Воевать я определенно не хотел. Поделится с грузином своими мыслями и предложил ему бежать на первой же остановке. Он отказался. Он совсем не был против армии и говорил, что пойдет воевать и, может быть, искупит свою "вину". Вина его была в том, что он был в плену. Не знаю, может быть, он и был в чем-то виноват. Я не стал его отговаривать, пусть воюет. За собой я никакой вины не чувствовал. Грузин предложил помочь мне бежать на первой же остановке, хотя, собственно, никакой посторонней помощи не нужно было. Просто надо было рискнуть. Охрана мало обращала на нас внимания.

Шли мы по берегу Эльбы: с правой стороны текла река, слева возвышался крутой берег. Между рекой и крутым обрывом шла дорога, росли кустарники, попадались большие деревья, весь берег был усеян густой растительностью. День был жаркий, лето набирало свою силу. От Мейсена мы ушли, вероятно, на 7-8 км. Вся колонна остановилась на привал, и каждый старался найти место в тени деревьев. Наши охранники делали то же самое. Вероятно, их не проинструктировали охранять нас строго и смотреть за беглецами. Мне кажется, им было все равно. Война окончена, и они также вздохнули свободной грудью. Собственно, мы не были ни заключенными, ни частью армии. Может быть, они и думали, что мы все были добровольцами. Какой-то процент добровольцев определенно и был. Возможно, некоторые думали, как тот грузин.

Когда все расположились на отдых, я начал подходить к крутому обрыву, покрытому сплошь густыми кустами. Велосипед свой не оставлял. Это был мой трофей. Никто не обращал на меня внимания, когда я начал забираться все дальше и дальше в кусты. Не скажу, что я был спокоен, страх какой-то был. Не легко было взбираться на крутой обрыв, но я приложил все усилия, чтобы за самое короткое время подняться наверх, где уже начиналось открытое поле. Грузин проводил меня до крутого подъема, подал руку, а я пожелал ему успеха.

Быстро отбежав метров на двести от обрыва, попробовал ехать на велосипеде. Но по полю без дороги это мне удавалось лишь с большим трудом. Добравшись до проселочной дороги, сел на велосипед и поехал в направлении Мейсена. Местность вокруг Мейсена покрыта небольшими холмами, впадинами и кое-где группами деревьев. На полдороге к Мейсену увидел большую усадьбу. Вокруг дома бегали люди, летали перья от вспоротых перин, кричали куры. Это остоуцы собирали "дань", рассчитываясь с фермерами за свои труды. Кругом валялось барахло, разбитая посуда, подушки, опрокинутая телега. Рядом с главным входом в дом стояла пара лоша-

дей, запряженная в телегу, доверху нагруженную разной всячиной. Человек шесть, а может быть и больше, готовы были к отъезду. Это был, конечно, грабеж, но я не хочу употреблять это слово, потому что грабящие были сами ограблены немцами и угнаны в Германию. Много страданий выпало на нашу долю, много озлобления накопилось против немцев. Думаю, что все происходило без насилия, потому что не слышались ни плач, ни стоны, ни мольбы. И это не первый раз, что мне приходилось быть свидетелем мирных сборов "дани". Немцы не сопротивлялись. Кто был поумнее — спрятал, что мог, остальные молча смотрели, как уходили их костюмы, платье и разный хлам. Многие даже не смотрели, а прятались, и "унтерменши" были хозяевами. Были, конечно, отдельные случаи сопротивления, но я не был их свидетелем и ничего об этом не могу сказать. Может быть, некоторые немцы знали, как вели себя их гитлеровцы на оккупированных землях. Знали или не знали, но боялись сопротивляться и молча принимали возмездие. Нет сомнения, что если бы они только могли, то послали бы на "унтерменшей" самое жестокое и истребительное оружие. Но у них уже не было ни оружия, ни власти.

Через пару часов я был в Мейсене в нашем бывшем ревире, где, как ни странно, нашел знакомых больных. Среди них были Виктор и Юрий, о которых я упомянул раньше.

Я опять поехал к комендатуре, надеясь встретить своего друга. И не ошибся. Он все еще околачивался там, выполняя разного рода поручения. Он решил, что спешить некуда. А тем временем надо пристроиться где-нибудь. Он предложил мне присоединиться. Главное благо при комендатуре состояло в бесплатном питании в столовой, с местом жительства.

Поселились мы в квартире совсем рядом с комендатурой, которая находилась в бывшем доме мэра города. Обедали в столовой комендатуры. На время все как будто бы наладилось. Мой друг заведывал складом, где находились тысячи немецких радиоприемников. Дело в том, что вскоре по приходе советских войск и установления советских комендатур по всем маленьким и большим городам Германии был издан приказ о реквизиции всего огнестрельного и холодного оружия, а также всех радиоаппаратов. Заведывали приемом сначала офицеры. Но оружие исчезало на глазах, хорошие радиоприемники уходили в обмен на водку или трофеи. Когда до коменданта дошли эти сведения, он уволил всех бывших заведующих и решил поручить это дело моему другу, которого он уже знал. Комендант думал, что тот не будет обменивать радио направо и налево — будет бояться. В каком-то смысле он был прав.

Я стал помощником по приему и охране радио. Немцы портили 75 процентов своих приемников, особенно, когда узнали, что освободители не проверяют их исправность. Начали валить разное

барахло. В большинстве случаев вынимали лампы, оправдываясь тем, что во время войны ламп не выпускали и они перегорели. На складе было не менее двух тысяч радио.

В один прекрасный день комендант дал приказ выбрать несколько сот исправных радиоприемников для отправки. Забыл, куда. Мне кажется, что в какую-то восточно-европейскую страну, может быть, даже в Чехословакию. Хорошо помню, что это был не Советский Союз, потому что мы возмущались, что посылают не своим. Для того, чтобы собрать нужное количество радио, пришлось вынуть лампы из всех остальных, а многие так и отправили в неисправном состоянии. Самые лучшие комендант забирал для себя и своих друзей.

Продержались мы при комендатуре несколько недель. Потом познакомились с какой-то понтонной частью, стоявшей в Мейсене. Вернее, не с частью, а с офицерским составом. Им нужны были переводчики для какой-то цели. Но я не помню, чтобы мы переводили что-либо дельное. Нас это знакомство устраивало в том смысле, что нам дали целый дом в наше распоряжение. Вернее сказать, мы в этом доме занимали две комнаты и кухню, а остальные комнаты были в распоряжении штаба этой части. Но так как официально офицеры должны были находиться при своей части, а не на частной квартире, то для них было удобно вселить нас туда, а самим пользоваться остальной частью дома. Иногда, но не часто, они устраивали там свои попойки.

Зная положение репатриационного лагеря в Мейсене, мы не хотели попадать туда. Мы часто там бывали, но жить там не хотели. Нашей целью было — отсрочить день, когда мы станем репатриантами в лагере. Сейчас мы были тоже репатриантами, но не в лагере.

С появлением репатриационных лагерей появились и лозунги: "Родина вам все простила!", "Родина вас ждет!" и тому подобные. Их было много. Многие из нас задумались над лозунгом: "Родина вам все простила". Значит, мы все, как говорится оптом, были виноваты в чем-то? Пленных вина была в том, что недалекие генералы отдали их в немецкие руки, что из пяти с лишним миллионов выжило их меньше половины. Что же родина прощает оловцу, которого в 15-16-летнем возрасте немцы схватили на улице и увезли как скотину, как когда-то африканских рабов, на рабский труд в Германию? Что же родина прощает нам? Какие грехи?

Не помню, чтобы много и громогласно говорили об этих призывах возвращаться на родину. Люди более зрелого возраста делали соответствующие выводы. Молодежь в своей массе не обращала на лозунги внимания. Они попали в Германию совсем подростками, и конец войны застал их 17-19-летними, а то и моложе. Они знали только притеснения, унижения и оскорбления. Выйдя из лагерей, они радовались свободе, весне. Не подражая победителям в разгуле, они по-своему наслаждались жизнью. Пили, пели и влюбля-

лись. Жили сегодняшним днем, не задумываясь о завтрашнем. Кочевали с одного места на другое, пока общий поток не приносил их в репатриационный лагерь. Но и здесь все продолжалось по-прежнему. Разве только в более широком масштабе. Новые знакомства, новые друзья, встречи с друзьями, потерявшимися во время войны.

Репатриационные лагеря были не только в советской зоне. Они были по всей оккупированной Германии: в американской, английской и французской зонах. Лагеря в советской зоне были постоянно переполнены в первые послевоенные месяцы, тогда как в других зонах они быстро разгружались отправкой репатриантов в советскую зону.

Начиная с мая установились два потока репатриантов: один поток шел из западных зон Германии в советские репатриационные лагеря, а другой уходил на родину в Советский Союз. Но поток на восток был гораздо меньший, чем поток с запада. Положение было особенно острым в июне, июле и августе. Неуравновешенное положение поправилось, когда поток с запада ослаб, а потом почти совсем прекратился в ноябре и декабре 1945 года.

В мае и июне тысячными потоками из всех зон Германии ехали репатрианты на Родину. Ехали добровольно без принуждений. Но уже во второй половине июля насильственная репатриация набирала силу. В разных зонах она проводилась по-своему. Советские репатриационные миссии рыскали по всем зонам Германии и, можно сказать, по всей Европе, и нажимали на союзников, чтобы они применили все усилия для отправки советских подданных назад в Советский Союз. По ялтинскому договору, и остовцы и пленные подлежали насильственной репатриации. Союзники старались угодить Сталину и из кожи лезли для выполнения договора.

Насильственная репатриация, по рассказам тех, кто пережил ее, выглядела так. Лагерь окружали американские солдаты, а в других зонах англичане и французы, приказывали всем собираться с вещами и грузиться в машины, которые уже стояли наготове. Потом машины двигались под вооруженным конвоем к советской зоне. Иногда их пропускали и разрешали ехать до репатриационного лагеря. Я таких случаев не видел. Чаще всего американским машинам не разрешали въезд в советскую зону. Они подъезжали к самой границе, разделяющей советскую и американскую зоны, и выгружали репатриантов. Потом подъезжали советские машины, и опять надо было грузиться и ехать до репатриационного лагеря. Поезда пропускались, но от станции до лагеря часто надо было идти пешком. Особенно, если до лагеря было не больше 3-5 км. Не знаю, делалось ли это умышленно. Большинство ехало по крайней мере с одним-двумя чемоданами, а то и больше, и переход от места выгрузки до репатриационного лагеря был тяжел, почти невозможен. Приходилось расставаться с вещами, выбрасывая их по дороге. Со

слезами на глазах люди бросали вещи, добытые после лет голодной рабской жизни. Этим пользовались советские солдаты и офицеры, которые принимали привезенных из других зон. Они набивали выброшенными вещами свои мешки и чемоданы, грузили на свою машину и уезжали. Мне кажется, что советский комендант города делал это нарочно, чтобы поживиться на чужом несчастье.

Иногда прибывшие сбрасывали вещи в большую кучу и поджигали ее. О двух таких случаях мне рассказывали приехавшие в мейсенский лагерь. Может быть, это было неумно, но озлобленные репатрианты жгли и рвали вещи, как бы мстя за свое насильственное возвращение на родину. Иногда этот пир сжигания вещей продолжался по несколько часов, сопровождаясь проклятиями по адресу американцев и своих. Хотя в составе приемной комиссии охрана официально была, но в таком количестве, что она справиться с репатриантами не могла.

По правде говоря, и приемная комиссия и охрана были для видимости, чтобы показать союзникам, как советское командование с радостью ждет и принимает своих земляков. Как только официальная процедура кончалась, репатриантов выводили на улицу, по которой надо было идти до лагеря. По улицам стояли указатели со стрелками в направлении лагеря. Комиссия садилась на машины и уезжала. Хотя репатриантов и насильственно отправили из западных зон, их не охраняли в советской зоне во время их путешествия до репатриационного лагеря. В лагере уже охрана была. Это то, что я наблюдал в Мейсене. Нет сомнения, что картина выглядела по-иному в других случаях, особенно если говорить о власовцах.

Растянувшись на несколько километров, с частыми остановками, неся свои чемоданы, репатрианты достигали лагеря.

Мне пришлось много раз слышать удивления насильно возвращаемых, что их никто не охранял. Они были уверены, что в советской зоне их будут вести под конвоем и охранять все время. Поначалу никто их не допрашивал, никаких анкет они не заполняли при входе в лагерь.

Бежать назад в западные зоны было совсем не сложной проблемой. Граница между зонами охранялась слабо, никаких проволочных заграждений не было, и пограничники не стояли на каждом десятом метре. Обычно стояли на границе наблюдательные вышки в 1-2 км одна от другой. Если граница проходила по дороге, то по ней проезжала машина каждые полчаса. В машине сидело два солдата с пулеметами, высунутыми в окна в обе стороны. Впереди сидели водитель и лейтенант. Проезжали они медленно и осматривали обе стороны дороги. Так было и днем и ночью.

Но очень мало кто бежал назад в зоны союзников, потому что боялись опять попасть под насильственную репатриацию. А жить вне лагеря было довольно сложной задачей: где жить, что есть? К тому же многие не знали немецкого языка даже поверхностно.

Поэтому смирялись в лагерях и ожидали своей дальнейшей судьбы.

Я видел один поезд из Франции, в котором привезли насильственно русских девушек, которые по тем или иным причинам оказались во Франции. Поезд охранялся по прибытии в репатриационный лагерь, находящийся на аэродроме близ Ошаца, где был через дорогу мой первый ревер. Девушек везли под французской охраной, а по прибытии в лагерь ее сменила советская. Все девушки были пострижены под машинку. Это французы так наказывали своих девушек за их сожительство с немецкими солдатами или же за коллаборантство. Такое же наказание они применили и к русским девушкам. Дело в том, что много остовцев работало на фабриках, заводах и на фермах вместе с французами. Начинались близкие связи, и француз обещал девушке, что по прибытии во Францию он женится на ней. К сожалению, многие не выполнили своего обещания и отказались от подруг, при малейшем нажиме со стороны своего правительства. Не все, конечно. Их собрали по всей Франции в один лагерь, остригли и привезли в руки советских властей. Это наказание было очень несправедливо по отношению ко многим девушкам, вина которых была лишь в том, что они поверили своим французским друзьям и надеялись стать их женами. Они не были коллаборантками и не жили с немцами. Дальнейшую судьбу этой группы не знаю, но думаю, что продержав день-два, их влили в общий лагерь, где они рассеялись среди массы репатриантов.

Когда главный поток репатриантов из западных зон прекратился, уже к концу 1945 года, продолжали приезжать отдельные группы и в 1946 году, и даже позже.

Мне пришлось встретиться с особой группой в три человека. Одеты они были в американскую военную форму. Это произошло, когда я был на демонтаже немецких заводов в городе Хемнице, в феврале 1946 года. Офицер из комендатуры привел их ко мне и попросил устроить их на одну ночь. Хотя моя комната была очень маленькой, мы устроились. Насколько помню, ребята не ели целый день. А привели их ко мне часов в 8 вечера. Что было у меня — поели, и они рассказали мне их историю. Они бежали из какого-то немецкого лагеря за несколько месяцев до окончания войны. Сначала попали во Францию, потом в Италию, перешли фронт и оказались среди наступающей американской армии. Сказали, что хотят воевать против немцев. При этой части уже был батальон иностранцев. Их приняли в армию, дали оружие, и они браво сражались. Двое из них были даже награждены какими-то американскими медалями. По окончании войны им предложили американское подданство, переезд в Америку. Они стали раздумывать, и на это ушла половина года. Сказали, что хотят ехать домой. Отпустили их со всем почетом, с оружием, с медалями, в полной американской форме и с долларами в карманах. Вероятно, и сами ребята и наивные союзники думали, что этих солдат примут в советскую армию... Но

как только их передали советским властям, с них сняли медали, отобрали винтовки и доллары. Сразу ребята протрезвели и поняли ошибочность своего решения. Переправляли их до ближайшего репатриационного лагеря. Были они не старше 20 лет, молоды и неопытны в жизни. Теперь они сожалели о своем решении, но было уже поздно. Что можно было им посоветовать? Поехали они до следующей остановки, кажется, в Дрезден. К этому времени многие лагеря опустели, но единицы, подобные этим ребятам, все еще набирались из западных зон.

В репатриационном лагере в городе Ризе я в первый раз увидел советских беспризорников, которые каким-то образом пробрались в Германию. Их держали в лагере под строгой охраной в отдельном здании. В группе было около 15 человек, включая трех девушек, в возрасте от 12-13 до 17 лет. Одеты они были уже во все немецкое, в жакетах, шляпах, пальто, а некоторые в цилиндрах. Все это было не по размеру, и выглядели они смешно. Вероятно, по одежде их и ловили. Можно только вообразить, что они пережили за годы войны в голодных и холодных городах Союза за свою короткую и безрадостную жизнь! Но они улыбались, шутили, чувствовали себя, как дома. Им нечего было терять: все было потеряно. Приезжавшие из Союза военные рассказывали, что беспризорники буквально терроризировали Ленинград, Ростов и другие города.

Репатриационный лагерь в Мейсене охранялся советскими солдатами у главного входа. Вокруг лагеря охраны не было. Весь лагерь был обнесен забором, так как он помещался в бывших немецких казармах. Специально забора не строили. Обычно, если группа лагерников направлялась в город через главный вход, то часовые спрашивали письменное разрешение начальника лагеря. Но зачем такие хлопоты? В заборах везде были дырки. Стоило только оторвать доску-две, и получался новый проход, где никаких пропусков никто не спрашивал. Все знали об этом, никто не протестовал, не запрещал. Так и получилось, что главный вход был для парада и машин. Задний вход через дырки в заборе был оживлен и днем и ночью.

Здания в мейсенском лагере были трехэтажные, каменные. На каждом этаже был свой начальник. Здесь уже что-то напоминало военную дисциплину. Или же лагерную?

Отправка из РЛ на родину началась уже в июне и набирала скорость. Первые поезда уходили спешно на уборку урожая. В Прибалтику уехало около двух тысяч человек. Обычно намечались здания, из которых набирали нужное число для отправки. Людей сажали на машины и отвозили на железнодорожную станцию. С группой в Прибалтику поехало несколько моих друзей. При отправке им не говорили, куда и зачем их везут. Получив письмо от одного из друзей, я только тогда узнал, что они убирали поля. Местного

населения не хватало. Первые эшелоны, ехавшие на родину, не проходили никакой проверочной комиссии, как мне кажется.

Эшелоны уходили почти каждый день. Место назначения их никогда не объявлялось, люди ехали в неизвестность. Потом распространился слух, что всех везут в "рабочие лагеря" и что всем, кто был в Германии, надо отработать четыре года в таких лагерях. Наказание? За что? А когда же к маме и папе, в родную семью, в родные края?

Если в первых поездах уезжали с надеждой попасть домой, то постепенно эти иллюзии рассеивались, и репатрианты уже не спешили домой. Потом начали распространять пропагандную литературу и иногда проводить лекции о том, что страна разрушена войной и надо приложить все усилия к восстановлению разрушенной индустрии, разбитых городов и сел. Но громогласно никто не говорил о четырехлетней трудовой повинности.

Так как о восстановлении страны говорилось и повторялось очень часто, а другого выхода не было, то постепенно репатрианты приняли рабочие лагеря как неизбежность и, понутив головы, записывались в следующий эшелон.

Хотя и держалось в тайне назначение эшелонов, но иногда уже заранее знали, куда формируется следующая группа. Так, в сентябре, стало известно, что в ближайшие дни будут собирать группу в три тысячи человек на восстановление подмосковного угольного бассейна. Немцы и там были и успели разрушить шахты. Те из лагерников, кто был из Москвы или подмосковных городов, старались попасть в эту группу, надеясь, что какими-нибудь чудесами им удастся очутиться в Москве. Дело в том, что с самого начала репатриационных лагерей было официально объявлено, что в Москву, Ленинград, Киев и Минск въезд запрещен всем, кто был в военное время в Германии.

Лагерные слухи о том, куда уходит следующий эшелон, очень часто были ложными. Может быть, эти слухи распускались нарочно, чтобы не отпугивать репатриантов. А их везли туда, где требовались рабочие руки. Попадали во все края Союза и в те места, о которых и думать не думали. Много ушло эшелонов на восстановление Донбасса.

Правда о судьбе репатриантов постепенно просачивалась через немногочисленные письма на условленные адреса, через военных, уезжающих и приезжающих назад в Германию, а главным образом через демонстрационных. Они составляли особую группу среди оккупационных властей. И мечты о родных местах, о семье, о радостных встречах расплывались по швам. А потом, когда детали жизни в рабочих лагерях дошли до репатриантов, то стало страшно. Выходило, что эти лагеря ничем не отличаются от немецких: полуголодное существование и работа до изнеможения.

Начались поиски выхода. Для тех, которые были запуганы

до смерти и чувствовали какую-либо вину за собой, единственным выходом было бежать на Запад. Но там натыкались снова на насильственную репатриацию и выдачу союзниками беглецов. Их уже сажали в настоящие тюрьмы и со связанными руками отправляли "домой". Этим домом часто был концлагерь. Видел я однажды в Дрездене группу человек в 25 под конвоем со связанными руками. Вели их, вероятно, к поезду. Среди них были и дезертиры советской армии, которые каким-то образом увернулись от расстрела. Союзники немилосердно выдавали всех.

Можно было попытаться попасть в команду по демонтажу заводов. Таких команд было много с первых недель июня. Иногда эти команды одевали в советскую военную форму. Так, вероятно, было легче держать контроль над ними. Обычно такие команды охраняли заводы, склады и другие пункты. Иногда они упаковывали станки и грузили в вагоны. Обычно это делали немцы, но часто не хватало рабочей силы и брали репатриантов. Большинство таких команд уехало в СССР с оборудованием в октябре-ноябре 1945 года.

Репатриационные лагеря с самого начала были хорошим источником для походно-полевых жен (ППЖ). Приезжали офицеры из многих частей и под видом набора на подсобные работы выбирали молодых, красивых девушек. После первых пробных наборов слух среди советских офицеров быстро распространился и спрос на красивых девушек возрос. Девушек в роли ППЖ было много. Многие из них сами предпочитали играть роль ППЖ, чем ехать на угольные шахты.

Офицеры, а среди них было много демонtajнников, жили в реквизированных квартирах, — и вот пополняли свое хозяйство временной женой. Большинство из ППЖ годились в дочери офицерам, но склоняли головы перед своим положением. Правда, были случаи, когда смелые девушки убегали из объятий стариков-офицеров. Были также случаи, когда офицеры женились на этих девушках. Но это были единицы и, чтобы дойти до женитьбы, надо было преодолеть много трудностей. Советская власть не предвидела закона, позволявшего советскому офицеру жениться на русской девушке в Германии. Русской? В Германии? Как она туда попала? Сотни подобных вопросов — и желание жениться проходило. К тому же жены — те, которые оставались дома и воспитывали детишек, — скоро узнавали о своем муже и его ППЖ. Вероятно, кричали они громко, потому что уже в октябре был приказ освободиться от ППЖ. Приказ был строгий, за непослушание наказывали. Расставания были слезные — не все, конечно, но многие. Более трезвые девушки принимали это как неизбежное, и пока сожительство вали со своим покровителем, набивали чемоданы трофеями, а потом уходили бесслезно. Иногда офицеры устраивали им более или менее благополучный отъезд на родину. Многие же из ППЖ попа-

дали опять в репатриационный лагерь и ждали своей очереди отправки домой. Отношение к бывшим ППЖ в репатриационных лагерях было недоброжелательным.

Но такой отсрочкой попасть в советские лагеря могли воспользоваться только девушки и только немногие, принимая во внимание тот факт, что их было в Германии много, много тысяч.

Существовал еще один выход, чтобы задержаться в Германии на некоторое время. Заболеть венерической болезнью. Не думаю, что нашлось много избравших этот путь. Не помню точно месяца, мне кажется, что это было уже в конце июня, — был отдан приказ: никого с венерической болезнью на родину не пускать. Это касалось в первую очередь военных, как солдат, так и офицеров. Но скоро этот приказ был распространен на всех, включая остовцев и военнопленных. Для лечения этих болезней созданы были специальные лагеря, потому что речь шла о тысячах людей. Тем не менее, эти болезни при отправке на родину не проверялись. По крайней мере, что касалось остовцев и военнопленных. Думаю, что так же было и с военнослужащими. Если болеющие этими болезнями обращались в клинику, то их сразу же брали на учет, и списки передавали коменданту лагеря. При каждом лагере была клиника, обслуживаемая военными врачами. Беда вся в том, что на каждого, обращавшегося в клинику за помощью, было, по крайней мере, три человека, умалчивавшие о своей болезни. Так они и везли это "добро" на родную землю. Потом, позже, мне говорили, что демобилизованных солдат с венерическими болезнями оказалось так много, что власти не знали, чем их лечить и что с ними делать. Нелзя забывать, что антибиотиков тогда еще не было. Вернее, они были в ограниченном количестве только у американцев. Советская армия не располагала этими лекарствами, не говоря об остальном населении.

А как этих "прокаженных" лечили в Германии? Очень старыми и ненадежными методами. Гонорею лечили уколами скипидара и морфия, перемешанными в определенной пропорции. Укол делали в ягодичную мышцу длинной иглой с расчетом, что впрыскиваемое дойдет до надкостницы. Этот укол вызывал температуру выше 38 градусов, и если температура продерживалась хотя бы два дня, то она убивала гонококков. Это было адское лечение, очень болезненное и часто безуспешное. У мужчин отнималась нога, в которую был сделан укол, и две недели надо было учиться ходить с помощью костылей. На женщин эти уколы почти не действовали. Температура не поднималась, они продолжали ходить, ощущая только небольшую боль. Очень редким женщинам этот метод помогал. Женщинам делали укол только по согласию, заранее предупредив их, что после этого укола они никогда не будут матерями.

Один из таких лагерей находился недалеко от Ризы в лесу. В этом лагере все перемешалось. Там были полковники, и младшие

офицеры, и солдаты, и остовцы, и военнопленные. Разбора не было. Если болен венерической болезнью — попадай в этот лагерь. Недалеко от того лагеря был настоящий репатриационный, на много тысяч человек. "Прокаженные" могли свободно ходить в этот лагерь, а из лагеря приходили друзья с визитами. Остовцы и бывшие пленные в этом лагере жили в отдельном бараке, но им не запрещалось ходить в другие, где помещались военные. Весь лагерь был разделен на две части: женскую и мужскую. Общение было свободное.

Первые эшелоны, уходившие на родину, как я уже говорил, еще не проходили проверочно-фильтрационную комиссию (ПФК) НКВД. Вероятно, эта организация не сразу выработала свою стратегию для допросов земляков на немецкой земле. Надо было продумать, какие вопросы задавать, чего не спрашивать, а главное, не запугать возвращаться домой. Насколько мне память не изменяет, только в июле появились энкаведисты с анкетами. Каждый репатриант должен был ответить на вопросы этой анкеты. Вопросы были очень простые: год и место рождения, где и при каких обстоятельствах попал в Германию, где работал и жил в Германии.

С одним из таких энкаведистов я был знаком. Как-то сидя со мной и моим другом, после нескольких рюмок водки он рассказывал нам немного о своем прошлом. Был он из беспризорников, которого завербовали работать в НКВД. Я только думаю, из каких беспризорников он был? потому что был молод, не больше 25 лет. Но считая, что в Советском Союзе всегда были беспризорники, можно поверить, что это было так. Начали разговор об анкетах. Улыбаясь, он сказал нам, что это просто так, анкеты, приглашающие ехать домой, а там будут настоящие энкаведистские анкеты, которые всю душу перевернут и всю подноготную узнают о каждом из нас. Здесь анкеты просто так, чтобы не испугать нас и составить какой-нибудь список репатриантов. Просил никому не говорить об этом. А что толку, если бы мы и сказали кому-нибудь? Конечно, мы не болтали об этом, но намотали себе на ус. Вообще, был он симпатичный парень, еще не полностью энкаведист. Возможно, ему нравилась Германия. Потом я его еще пару раз встречал. Он был при Мейсенском лагере. Он же нам и посоветовал не спешить ехать домой.

Итак, расправа ждала нас на Родине. Расправа за что? НКВД найдет за что, не беспокойтесь! Тот факт, что мы видели другую, не советскую жизнь, хотя она была видна из-за колючей проволоки, делал нас опасными для советской власти. Никто не станет разбираться в степени нашей опасности, опричники НКВД всегда найдут причину посадить в концлагерь. А здесь, в Германии, с нами разговаривали тихо, строгих вопросов не задавали, а лозунги прощали нам неизвестные преступления.

Вот поэтому я и мой друг начали кочевать из одного лагеря

в другой: сначала Мейсен, потом Ошац и последний Риза. Они все были в Саксонии, на близком расстоянии друг от друга.

Остался в голове один штрих из жизни в репатриационном лагере, о котором я хочу написать несколько фраз.

В мейсенском лагере после первых эшелонов на родину находили маленьких детей под нарами, или на чердаках, или в других укромных местах. Сначала думали, что это матери потеряли своих детей, но после опросов оставшихся убеждались, что это были дети, оставленные уехавшими матерями. Хотя не много, но были и совсем молодые девушки с маленькими детьми. Кто были отцы этих детей? Можно много придумать ответов, и все они будут правильны. От освободителей дети рождались гораздо позже, к весне или весной 1946 года. Что было делать с этими детьми? Сначала их было трое, потом еще добавилось несколько, и так к концу августа их набралось больше двадцати. Дети были совсем маленькие, не больше года, иногда до двух. Опять всевидящие органы не предусмотрели такой проблемы. Что с ними сделали? Куда их отправили? Иногда этих малюток находили со всеми признаками материнской заботы и любви. Было видно, с каким тяжелым сердцем мать покидала своего ребенка.

11. ДЕМОНТАЖ НЕМЕЦКИХ ЗАВОДОВ И ДЕМОНТАЖНИКИ

В конце ноября, когда я и мой друг находились в Ризе, приехали офицеры-демонтажники и начали набирать людей, умеющих писать, читать и говорить по-немецки. Эти знания нужны были для оформления документации на отправляемое оборудование в Союз. Старались брать главным образом людей, имеющих полное или неполное высшее образование. Записался и я.

Ждать долго не пришлось. Четвертого декабря за нами пришла машина и начала развозить нас чуть ли не по всей Саксонии. Большинство были девушки, их демонтажники брали гораздо охотнее, чем мужчин.

Нас было десять человек. Мой друг отказался поехать и остался в лагере. У него были другие планы. Оставляли нас по одному-два человека в разных городах. Меня привезли в Хемниц.

С первого дня приезда в Хемниц и в последующие месяцы открылась мне полная картина официального отношения советских оккупационных властей к бывшим пленным и остовам, то есть к людям, которые некоторое время провели за пределами Советского Союза.

Начну с того, как меня встретили. Было около двух часов дня 5 декабря 1945 года, когда машина подъехала к индустриальному комплексу, который демонтировали. Часовые стояли у ворот

и въехать не разрешили. Вызвали какого-то лейтенанта. Узнав, в чем дело, он ушел за распоряжением высшего начальника. В данном случае, как потом я узнал, это был подполковник Требушной. Тот приказал отвести меня в дом, где жило восемь человек офицеров-демонтажников. Расстояние не больше километра.

Взяв с кузова свой единственный чемодан и ручную сумку, я вошел в дом, где услужливая немка указала мне место в приемной. Я был голоден, но усталость одолевала, и я вздремнул на полчаса. Время шло медленно, и сидеть надоело. Несколько раз выходил на улицу, чтобы размять ноги. Через дверь на кухню я увидел, что там три женщины готовят обед. Они беспрестанно бегали наверх и вниз. Разговора я с ними не начинал, они были заняты своим делом.

Время приближалось к шести часам. Начали приходить демонстрационщики один за другим. Все в офицерской форме, которая сидела на них неуклюже, выдавая тем самым, что они не кадровые офицеры. Посматривали на меня, но заговаривать не хотели или не решались. Думаю, что к этому времени они уже знали, кто я такой и зачем приехал. Они шли на второй этаж. Там были их комнаты.

Беготня на кухне и в столовой усиливалась: накрывали стол, ставили тарелки, стучали вилками и ножами. Готовились к обеду и, как мне показалось, к какому-то торжеству.

Вскоре пришли три девушки-немки, хорошо одетые, и было понятно, что они здесь не в первый раз. По шуму, доносившемуся из столовой за закрытой дверью, я понял, что начали садиться за стол. Разговор вели как-то приглушенно, несмело. Вдруг я слышу голос майора, с упоминанием моего имени. По всей вероятности, он обращался к подполковнику. Послышался трубный, пропитый голос подполковника, что он не желает сидеть за одним столом с "изменником родины". Вмешалось еще несколько голосов и за и против. Но решение подполковника-горлопана взяло верх. Пир продолжался, а я остался сидеть на своем чемодане.

После выпитой водки шум за столом усилился и начали проносить тосты. Оказывается, это был "день сталинской конституции", 5 декабря! Прожив последние годы не "под солнцем сталинской конституции", я и думать забыл, что существует такой день. Теперь мне стало понятно усердие полковника не сидеть рядом с "изменником". Вот на какое торжество я попал, хотя и сидя на своем чемодане. Они продолжали пировать. Много раз мне хотелось встать и уйти, но куда? Было обидно до слез...

Начали вставать из-за стола. Стали расходиться по своим комнатам. Немки тоже куда-то исчезли. Младшие офицеры не осмеливались нарушить как бы приказание полковника и проходили мимо. Только один майор, человек пожилой, подошел ко мне и сказал, что я могу переночевать у него на диване. Предлагал пойти на кухню и пообедать. Было обидно, бушевало негодование и презрение

ко всему тому, что слышал и видел. Выходило так, что немки, спящие с демонtajниками, были ближе подполковнику, чем я. Значит, мое место было ниже немецкой проститутки?! Это был хороший урок для меня.

Идти обедать на кухню, как предлагал майор, я отказался, хотя и не ел с самого утра. В комнате у майора был диван, на котором я и переспал ночь. С майором разговора не было. Он ни о чем меня не спрашивал, и я его тоже.

Утром одна из немок-кухарок повела меня завтракать в отдельную комнату, где уже сидело два человека. Они оказались главными инженерами этого завода, немцами. Во время войны занимали важные места, а теперь их решили использовать для решения некоторых проблем. Собственно, они писали инструкции об оборудовании завода, участвовали в разработке планов по советским указаниям. Одним словом, я оказался в компании тех, кто называл меня "унтерменш" во время войны. Сейчас я стал "унтерменш" для освободителей, они не принимали меня в свою компанию.

Итак, я очутился за столом с "оберменшами". Этим инженерам было лет за 50. Они, конечно, уже слыхали от прислуги офицеров о том, как обошлись со мной, и усмехались про себя. Проглотил я и эту пилюлю. Хотелось есть после 24 часов голодовки. Вопрос, что делать со мной, еще разрешен не был. В полдень меня определили в другой дом, в квартиру двух солдат. Они согласились дать мне место у себя на несколько ночей. Эти двое солдат были оловцы, которых спешно мобилизовали на демонтаж. Они были свои, с ними можно было говорить более или менее свободно. Им тоже не нравилось обращение с нами победителей. Но свое недовольство они, не зная, кто я, высказывали осторожно. Один из них работал бухгалтером на другом демантируемом заводе.

Когда дело с квартирой было устроено, хотя и временно, я пошел на работу. Это было на второй день. Первым делом вызвал меня горластый негодяй-подполковник. Прошло так много лет, но ненависть к этому негодяю не прошла. За пять месяцев совместной работы я от него не видел ничего человеческого. И здесь, в своем кабинете, он разносил меня на все тона и голоса. И закончил так: "А кто ты такой? Для нас ты не лучше их. Вы все фашисты."

И меня действительно определили на работу, как немца. Платили мне 650 немецких марок. Это была самая большая сумма, на которую могли рассчитывать главные немецкие инженеры.

Все же я задал подполковнику вопрос, являюсь я советским подданным или нет. Почему меня оформляют как немца? Его ответ был, что в этом разберутся соответствующие органы, а сейчас я должен сидеть тихо и не рыпаться.

Вспомнился мне случай на третий день после войны. Забежал я в одно разгромленное немецкое заведение и увидел там на полу полуметровый слой немецких марок. Набивай чемоданы, бери

сколько хочешь! Я прошел мимо, не взяв ни одной марки. А сейчас мне платят теми же марками и надо работать за них. И жаль мне стало, что я упустил случай стать миллионером. Я, как и многие другие, рассуждал, что с падением Германии марки как валюта будут уничтожены. Будет что-то другое. Кто мог знать, что те же марки еще будут в ходу целые два года. Правда, к старым немецким маркам союзники выпустили свои марки, которые внешне почти не отличались от гитлеровских.

Подполковник приказал мне не выезжать за пределы завода больше чем на 5 километров.

— А как насчет документов? — спросил я.

— Какие тебе документы? — заорал громко.

— Хотя бы удостоверение личности. У меня никаких документов нет. А если остановят комендантские патрули, что я им скажу?

Через некоторое время я получил удостоверение от комендатуры, в котором значилось мое имя и где я работаю, но без указания национальности и подданства. Никогда я этим документом не пользовался, но он еще раз подтверждал наше бесправное положение среди советских оккупационных сил.

Горластый подполковник Требушной, которого называли "Требуха", контролировать меня не мог, а его запугивания ни к чему не привели. Он забывал, что это Германия, а не Союз. Ходил и ездил я на велосипеде, где мне только хотелось, без всяких осложнений.

Так потекли мои дни в оформлении документации на отправляемое оборудование. Вместе со мной работал один старый немец и среднего возраста немка. Оба прекрасно знали русский язык, потому что оба родились в России. Завтракал и обедал я в компании двоих немцев-инженеров. Кормили этих инженеров потому, что местное население голодало, и они отказывались работать на голодный желудок, а из них хотели выжать их знания. Собственно, это уже было дело демонtajников при каждом заводе, подлежащем демонтажу.

Таких, как я, на демонтаже заводов было много. В этом я убедился, когда пришлось ездить в главную квартиру по демонтажу в Дрезден и один раз в Берлин.

Демонтажники в своей массе были хорошие люди. Но искалеченные, огрубевшие, как и миллионы других, перенесших страшную Вторую мировую войну. Большинство демонtajников, с кем мне пришлось встречаться, приехали из Сибири, где провели всю войну. У них была своя война: с голодом, холодом и смертью. Никто из них не вспоминал о военных днях, никто не хотел разговаривать на эту тему. Короткий разговор с одним из инженеров сразу дал мне понять, как им жилось. Как-то я начал было говорить о тысячах военнопленных, умерших от голода и холода в немецких лагерях. Он меня сразу остановил и злым голосом сказал: "А

знаешь ты, что я собственными руками каждое утро выносил трупы из своего завода в Сибири? Знаешь ли ты это? Ты был в плену, и многие из вас выжили, но как жили мы эти годы? Об этом никто никогда не расскажет”.

Постепенно я узнал, как им пришлось строить эвакуированные туда заводы, работать на этих заводах, жить впроголодь или совсем голодать и молчать, потому что вся страна так жила. Жаловаться было некому. Жаловаться боялись ”под солнцем сталинской конституции”.

Почему он выносил трупы из своего заводского отделения? Да просто потому, что рабочие там работали, там же на заводе отдыхали короткие часы, потом снова работали, потом умирали от истощения, от болезней, от беспросветной жизни, полной горести и бедствий. В основном это были люди старшего возраста или подростки, или же те, кто был по какой-нибудь причине освобожден от воинской обязанности. Были люди и призывного возраста, но они нужны были для производства военного оборудования. Другой инженер мимоходом заметил, что многие рвались на фронт, предпочитая быструю смерть от немецкой пули медленному умиранию на заводе.

Как в Сибири начинали восстанавливать эвакуированные заводы? Поезда выгружали наскоро вывезенное, скажем из Минска или Киева, оборудование на более или менее ровном месте, вблизи населенного пункта. Появлялось несколько инженеров и рабочих. Сначала расчищали площадку, трамбовали пол, потом строили крышу. Стен не было. Под крышу ставили машины, станки и вообще то, что удалось вывезти. Подводили или электрический ток или механическую передачу и начинали работу. Станки работали, рабочие стояли у этих станков. Постепенно подводились стены, чтобы защититься от холода, снега, дождей. Потом как-то все налаживалось, и завод выпускал продукцию — ”выполнял план”. Можно представить, какими трудами и муками строились эти сибирские заводы, сколько жертв они унесли вдаль от фронта. Живи, работай и умирай на заводе! На фронт редко отпускали просившихся. Постепенно все как-то устроилось само по себе, как это часто бывало, есть и будет на Руси. Так дошла до меня действительность тех дней, по скудным рассказам демонtajнников.

Демонtajнники периодически сменялись: одни возвращались в Союз, другие приезжали продолжать их работу. У меня сложилось впечатление, что тогда, в первый послевоенный год, можно было сравнительно легко получить разрешение поработать в оккупированной Германии, но это касалось в основном только инженеров. Конечно, были и высокосидящие бюрократы советской власти. Обыкновенному советскому гражданину такое счастье редко выпадало. Говорю редко, потому что были случаи, когда колхозники из приграничных районов доходили до Берлина за трофеями. Их быстро

отправляли назад. Может быть, даже и в лагерь. Не только колхозники, но и приезжавшие инженеры сразу же искали одежду. Хотя бы какой-нибудь костюм, рубашку, платье для жены. Не брезговали никаким барахлом. Все шло за первый сорт.

Первые демонтажники приехали в Германию в своем отрепьи, и когда им пришлось встречаться с союзниками, то те приходили в ужас от вида русских инженеров. Тогда быстро был отдан приказ одеть демонtajников в военную форму, присвоив каждому из них какое-то звание. Давали им чин лейтенанта и выше. На заводе в Хемнице было только два лейтенанта. Остальные капитаны и майоры. Главой был Требуха, член партии, доверенное лицо, бдящий глаз власти.

Весной 1946 года, кажется в марте, к нам приехало несколько молодых инженеров из Киева. Хотя все, казалось бы, пошло на трофеи, но были и немцы, которым удавалось припрятать материал на мужские костюмы и кое-что другое. Знаю, что в одном уголке Хемница был портной, который за продукты (хлеб, мясо, муку, сахар) мог смастерить костюм. Думаю, что промышлял он с разрешения советского коменданта города. В одной из таких сделок участвовал и я. Приехавший молодой инженер каким-то образом нашел путь к этому портному. Говорить по-немецки он не мог. Нужна была моя помощь. Пошли мы с ним по адресу искать этого портного. Проходя по разбомбленным трущобам Хемница, он удивлялся, почему большие, просторные подвалы пустуют. Там никто не жил. Он сказал, что в Киеве ни один подвал не пустует, что люди живут в землянках, что бедность и горе кричат на каждом углу. Удивлялся, как хорошо люди живут в Германии, не видно ни нищих, ни военных калек. "Разве так плохо в Союзе?" — был мой вопрос. — "А ты что? С луны сорвался? Где ты был эти годы? Кто ты такой?" Пришлось рассказать ему немного о себе. "И ты собираешься ехать домой?" — "Да, думаю скоро, через пару месяцев", — ответил я. — "Дурак, на твоём месте я бы никогда не поехал назад." — И тут же он рассказал мне о судьбе тех, кто вернулся домой, кто спешил под лозунг "родина вам все простила". — "Она никому ничего не простила", — было его заключение. Прощаясь, он еще раз советовал не ехать домой. А потом он исчез куда-то. Костюм ему портной сделал хороший.

Демонтажники часто жили в квартирах (бесплатно) в ближайших домах около демонтируемого завода. Когда они уезжали, то их квартиры занимали вновь приехавшие. Один из наших демонtajников уезжал со следующим эшеленом оборудования, и я вселился в его квартиру, совсем рядом с местом работы.

Все демонтажники получали какие-то продукты питания. Может быть, это был военный паек, но на этом пайке далеко не уедешь. Так как этот завод выпускал мотоциклы и велосипеды до войны и во время войны, то осталось много запасных частей, покрывки и

камеры для велосипедов, части мотоциклов и другое. Все это было "трофейное" и шло в обмен на продукты питания. Для этого был поставлен один из демонстражников, в распоряжении которого была машина. Он брал покрышки, камеры, другие части (а иногда для обменной цели собирались велосипеды и даже мотоциклы) и отправлялся в немецкие деревни. Привозил все, что попадалось и что удавалось выменять, — муку, картошку. Помню, за мотоцикл привез целую свинью, в другой раз телят. Знаю детали этого торга, потому что иногда участвовал в нем по просьбе или добровольно. Мне тоже надо было жить и чем-то кормиться. Когда я помогал, то получал свою долю, бесплатно не ездил. Демонстражники пошли дальше: на вымененные продукты они тоже выменивали у городских жителей фотоаппараты, радио, охотничьи ружья, заводили любовниц и вообще старались более или менее украсить свою жизнь, чтобы она не была похожа на советские будни.

Что же я делал, помогая демонстражникам? Главной моей работой было смотреть за оформлением бумаг на отправленное оборудование, иногда переводить, делать копии чертежей, следить за исправлением чертежей. Вот здесь мне и пришлось столкнуться с простыми немецкими инженерами и чертежниками. От них я узнавал разные новости, о которых можно было узнать только устно.

Часто обязанности наваливались на мою голову совсем неожиданно. Например, будят меня в два часа ночи на отправку оборудования, надо спешно грузить, потому что вагоны подали только на три часа и не должно быть никакой задержки. Надо смотреть, чтобы немецкие рабочие правильно грузили и крепили тяжелое оборудование на открытых платформах. Потом вкладывать нужные номера в отправную документацию. В одну из таких ночей я встретил майора, которого тоже вызвали помогать. Я никогда его раньше не видал. Он был не совсем трезвый, в чем и сам признался. Человечек он был немолодой. Спросил, кто я и что делаю, разговорились. Показывая на свои погоны, он выругался и сказал: "Смотри, такие погоны я когда-то вырезал на плечах белогвардейцев, а сейчас они повесили их мне. А придет время, сорвут с моих плечей и пустят мне пулю в лоб. Наша жизнь для них ни гроша не стоит". Говорил он громко. Я начал было останавливать его, чтобы он говорил тише, но он не обращал никакого внимания на мои замечания. В заключение он сказал: "На твоём месте я бы никогда не поехал туда, загубят, раздавят тебя. Тебе там дышать не дадут, раз ты видел другую жизнь. А тем более, что попал в плен. Для них ты изменник. Не езжай, беги куда угодно."

Не все могли так открыто говорить. Но иногда из коротких замечаний можно было заключить, сколько недовольства накопилось в душе победителей. Были и такие, которые тихо носили в своей голове неразрешенные проблемы, как быть и что делать, а потом кончали смертью, не желая возвращаться назад в бедность

и бесприютность. Знал я одного старшего лейтенанта, демонстражника, который имел свою машину. Разговаривал с ним редко, и своих мыслей он мне не высказывал. Потом разнеслась вестъ, что он разогнал свою машину, врезался в стену дома и разбился насмерть. Говорили, что это самоубийство. Другой молодой лейтенант застрелился. Были и такие, которые пытались бежать, но не многим повезло. Попавших в союзные зоны спешным порядком отправляли назад в советскую зону. Союзники усердно помогали. Иногда для устрашения некоторых беглецов расстреливали перед строем всей военной части. Других отправляли в лагерь — домой, на родину.

Параллельно с демонтажем заводов, где я работал, организовали конструкторское бюро. Около 60 немецких инженеров и чертежников работало в этом бюро. План был следующий. Одна часть завода отправлялась в Киев для производства мотоциклов. И эти мотоциклы планировались в Германии, со всеми чертежами и другим оформлением. Даже делали прототипы и посылали их в Киев. Станки и все другое оборудование отправлялись своим ускоренным путем. В Киеве завод собирался, и чертежи были готовы для производства мотоциклов. Это была копия немецких мотоциклов с кое-какими модификациями для советских дорог.

Но не все происходило по плану. Оборудование терялось в пути, ржавело под открытым небом. Так как немецкая колея уже русской, то были организованы перегрузочные станции. На этих станциях не хватало советских вагонов. И это было не просто — из одного вагона в другой. Мне говорили приезжавшие из Союза, что на перегрузочных станциях целые горы дорогих машин стоят под открытым небом. К тому же упаковка ломалась, надписи терялись, и многое, что, например, должно было идти в Киев, попадало совсем в другой город. На упаковку оборудования ушел весь немецкий лес, и уже в начале 1946 года был недостаток в упаковочном материале. А машины были по несколько десятков тонн, для этого нужны были большие бревна, толстые доски, гвозди и прочее. Чертежи и бумаги были в порядке, проекты выполнены, поправки сделаны, копии посланы, а оборудование не приходило туда, куда было послано.

12. ПОБЕГ ИЗ СОВЕТСКОЙ ЗОНЫ В АМЕРИКАНСКУЮ

Подогреваемая разговорами, о которых сказано раньше, моими собственными наблюдениями и отношением советских оккупационных властей к бывшим пленным и остовцам, зарождалась у меня идея о побеге. Если меня здесь в Германии не признавали полноценным советским подданным и считали чуть ли не немцем, то чего же можно ожидать в Союзе? В лучшем случае рабочий ла-

герь на четыре года. Прошел почти год после окончания войны, и я писал письма на родину, но получил не больше трех ответов. Мой друг, уехавший на Украину, вообще не отвечал.

Что происходило в западных зонах Германии, я совершенно не знал. Одна уверенность жила в голове, что там не осталось ни одного советского. Казалось, что насильственная репатриация всех выловила и все были отправлены на родину. Немцы из разных зон, конечно, переписывались, но их совершенно не интересовало положение иностранцев, от них нельзя было узнать ничего для меня важного.

Возник вопрос: куда бежать? Где найти приют на первое время и не быть выданным союзникам, которые всеми силами старались угодить Сталину и не нарушить ялтинские соглашения. Этих соглашений широкая публика не знала. Они хранились в тайне. Только спустя несколько лет после войны я узнал об их содержании.

Бежать одному было страшновато. Говорить о побеге со случайными знакомыми боялся. Были тут остоуцы в солдатских шинелях. Одни охраняли военные склады, другие грузили оборудование вместе с немцами. Более или менее близкий контакт был у меня с двумя. Как-то в разговоре один из них стал жаловаться на свое положение. Я шутя сказал, что можно бежать, если ему не нравится. Но они придали этому большое значение. Так как они доверяли друг другу больше, чем мне, то начали разговаривать серьезно о побеге, не посвящая меня в их разговоры. Потом их планы лопнули, как мыльный пузырь: в один прекрасный день Дмитрия без предупреждения отправили в другое место и Василий остался один. При встречах он осторожно начал прощупывать почву, задавать мне вопросы с намеками о побеге. Вскоре я уже был почти полностью уверен, что Василий хочет бежать. Один раз после нескольких рюмок водки я задал ему прямой вопрос: хочет ли он бежать или же это пустые разговоры? К этому времени мы уже доверяли друг другу. Он сказал, что хочет и что надо строить планы в этом направлении.

Он был казначей и бухгалтер на одном из демонтируемых заводов, выплачивал деньги немцам и вел разного рода учет. Он был в солдатской форме, но жил на квартире в доме рядом с заводом, где работал. Таких было много в те дни, они помогали демонтировать заводы, и для лучшего контроля их одели в военную форму. Почему меня не одели в форму? Не знаю. Вероятно потому, что пришел я на демонтаж по другой линии. Василий был прикреплен к какой-то демонтажной части и должен был приходить туда каждый вечер для проверки.

Для меня было неожиданностью узнать, что Василий был один из тех, кто попал в первые волны добровольно возвращающихся на Родину из американской зоны. Оказалось, что он работал в Мюн-

хене на автомобильных заводах "БМВ" и хорошо знал город и окрестности. После бомбежки заводов он некоторое время работал у фермера около Мюнхена. Говорил, что знает этого фермера как хорошего человека, который нам поможет, если мы к нему придем. Это уже была хорошая зацепка.

Планы строить надо было очень осторожно, и без помощи местных не обойтись. Прежде всего нужно найти немца-проводника до границы, а по возможности и через границу. От Хемница до границы было около 175 километров. Надо было ехать поездом с пересадками. На каждой железнодорожной станции был советский представитель, и немецкий начальник станции подчинялся ему. Пропускались поезда с оборудованием в первую очередь, во вторую все другое. Но главное — если в билетной кассе на покупателя билетов падало подозрение, то об этом тут же доносилось советскому начальнику. Наш акцент сразу же выдал бы нас. Надо было искать чистокровного немца для покупки билетов и других разговоров.

Началось прощупывание тех немцев инженеров, которых я более или менее знал. Доверия к немцам тоже не было. Разговаривать надо было намеками, недосказанными фразами. Один из инженеров, по имени Карл, разгадал мои мысли и вызвался помочь. Пригласил к себе на воскресенье, чтобы больше узнать о моих планах. Говорил я только о себе, не вмешивая Василия.

Решили, что жена Карла будет проводником, будет покупать билеты на железнодорожных станциях, вести все другие разговоры, если таковые будут, и быть, как говорится, разведчиком. Она написала родственникам, которые жили на границе, и узнала, что ее брат может устроить переход через границу. Он обещал помочь за деньги.

Карлу я сказал, что нас будет двое, и посвятил Василия во все планы. Побег начнется с того, что мы приедем к Карлу в любое время дня или ночи и оттуда сделаем наш следующий шаг. Карл за свои хлопоты берет 600 марок и ему остаются два наших велосипеда.

Был конец апреля. Почти все оборудование уехало на восток. Собирался последний эшелон, с которым и я должен был уехать, хотя мне об этом никто не говорил. Это должно было последовать после майских праздников. К этому времени мы с Василием назначили и время побега: 3-е мая.

Но в один прекрасный день Карл с тревогой сообщил мне, что родственника его жены накрыли на границе во время перевода какой-то контрабанды. Обещал найти другой путь. Но прошло несколько дней, а ему не удалось найти нужные связи. Планы рушились. Чтобы ободрить нас, он пообещал, что сам поведет нас до границы, а там найдет нужного человека для перехода через границу. Потом сказал, что проводить нас он не сможет, потому что его отсутствие на работе сразу вызовет подозрение. Сначала мы подума-

ли, что Карл испугался, но, как потом выяснилось, это было не так. Он действительно хотел помочь. Но чего ждать? Шли дни, и мы не знали, что делать.

Не помню точно, чья это была идея, но мы решили запастись пистолетами. У Василия был, а другой он достал. Не знаю, что бы мы делали, если бы нас прижали в тесный угол, но на всякий случай мы вооружились. Василий видел собственными глазами расстрел солдата, который был пойман во время перехода границы, и знал, что нам грозит.

Конец апреля. Демонтажники готовились праздновать первое мая. Собирали продукты, обменивали, кто что и как мог. Это был первый послевоенный май. Его надо было встретить достойно: с "выпивоном и закусоном". Меня это не касалось, никто меня не приглашал праздновать первый победный год.

Вечером 30 апреля стук в дверь. Открываю и вижу встревоженного Василия. "Или сейчас или никогда", — говорит он. — "В чем дело, что случилось?" Оказывается, его куда-то переводят после первого мая, кажется, в регулярную армию. Приказали ему принять полный облик советского солдата: снять волосы, подтянуться и стать в строй в полной боевой форме. "Нам на сборы осталось полчаса. Иначе меня хватят и придут сюда. Поэтому решай — или сейчас, или никогда."

Он начал торопить меня. Наши велосипеды были в полном порядке и стояли у меня в коридоре. Еще раньше мы решили взять с собой только рюкзаки. У меня хранилась и гражданская одежда Василия, он ее приобрел раньше. Кажется, его рюкзак тоже был у меня. В рюкзаки мы собрали только самые необходимые вещи, а все остальное сложили в два чемодана. Но что делать с солдатской формой? Ее надо было или сжечь или спрятать так далеко, чтобы ее не нашли при обыске моей квартиры. А времени у нас было в обрез. Хозяева моей квартиры были порядочные, интеллигентные люди, но в свои планы я их не посвящал. У них был 18-летний сын, и мы попросили его увезти куда-нибудь военную форму. Он растерялся, не зная, что делать, и спросил совета у родителей. Они пришли в мою комнату и сказали, чтобы мы не боялись и доверили им. Они обещали спрятать чемоданы и убрать солдатскую форму Василия. Дом был большой, многоквартирный, трехэтажный и, по их словам, чердак с его темными уголками будет подходящим местом для двух чемоданов. А сын отвезет военную форму на их огород за городом. Мы поверили, другого выхода не было, и времени тоже не было. Спустя несколько недель из их писем я узнал, что они все сделали так, как обещали, и на вопросы присланных из комендатуры солдат отвечали, что ничего обо мне не знают, ни где я, ни что со мной.

Из их же писем я узнал, что мое исчезновение было обнаружено в ту же ночь. Неожиданно подали вагоны для погрузки обо-

рудования и понадобилась моя помощь. Прибежал лейтенант звать меня и увидел пустую комнату. Дальнейших подробностей не знаю, но можно предполагать, что последовало.

Было уже за десять часов, когда мы вышли с велосипедами и рюкзаками и поехали к Карлу. Ехать в темноте не так просто, особенно за городом. Карл жил километрах в десяти от моей квартиры. Подходило к двенадцати часам ночи, когда мы постучали к Карлу в дверь. Он испугался, но, узнав нас, открыл дверь и впустил в дом. Он был очень удивлен нашим неожиданным появлением, начал спрашивать, что случилось. Он растерялся, у него никакого конкретного плана не было, после того как первый обрушился. Что делать? Как быть? Никаких связей не было установлено.

Его жена оказалась женщиной более смелой, чем он. Она предложила план, по которому мы должны переждать несколько дней у родителей Карла, в деревне рядом. Оставаться у Карла было рискованно, потому что подозрение могло упасть на него, и пришли бы с обыском. Долго не рассуждая, мы пошли по узкой, проселочной дороге, а кое-где и без дороги, и через час примерно были у дверей фермерского дома.

Неожиданный стук в дверь в два часа ночи испугал стариков. Узнав Карла, они пустили в дом его, а мы остались на дворе. Ночь была свежая, небо усыпано звездами и темно. Прошло не меньше получаса. Родители никак не соглашались приютить нас на несколько дней. К тому же Карл не сказал им, кто мы такие были. Если бы узнали, то определенно не согласились бы. Уговоры кончились тем, что нам разрешили залезть на чердак в сарае и сидеть смирно.

Подробностей, как мы провели на чердаке сарая три дня, память не сохранила. Помню только, что жена Карла приезжала к нам каждый день и передавала новости, которые приносил с работы Карл. Мы спускались в дом, чтобы поесть. Старики с нами не разговаривали и все время подозрительно смотрели на нас.

На следующий день первого мая все работали, и немцы, и монтажники. Горластый подполковник пришел в отделение, где работали немецкие инженеры и чертежники, и громогласно объявил, что те, кто знают о моем местопребывании, должны придти к нему в кабинет и сказать. В противном случае никому не поздоровится. Он уже был совершенно уверен, что я бежал. Подозрительных инженеров вызывал к себе в кабинет и допрашивал. Карла не вызывал, наверное потому, что никогда не видел меня разговаривающим с ним. Угрозы сыпались на головы немцев все последующие дни.

Комендантским патрулям горлопастый описал мою наружность, и они искали меня по городу. Многие из них знали меня в лицо, потому что стояли часовыми при входе на заводскую территорию и видели меня все пять месяцев каждый день. Комендантские сыщики каждый день приезжали к девушке, с которой я был близко знаком, и допрашивали ее по несколько часов, надеясь, что

она запутается в ответах и выдаст меня. К счастью, ни она и никто другой из моих знакомых совершенно ничего не знали о моем побеге. Внезапность моего исчезновения помогла нам спастись. Я уверен, что немцы могли проболтаться во время допросов, а то просто не выдержали бы натиска энкаведистов.

Из допросов девушки стал вырисовываться ход мысли комендантских сыщиков. Они думали, что я уехал в Берлин, а оттуда перешел в одну из зон союзников, потому что ее спрашивали, были ли у меня знакомые в Берлине, говорил ли я ей что-нибудь о Берлине. А у меня никогда и в голове не было бежать через Берлин. Они считали, что границы из советской зоны в другие так хорошо охраняются, что перейти их невозможно, а Берлин слабое место в советской цепи.

Своим бегством я досадил Требухе, испортил ему майские торжества. Всем другим, мне кажется, было безразлично, где я и что со мной стало. Но выходило, что горлопастого я перехитрил, подложил ему свинью, несмотря на многочисленные угрозы по моему адресу. Он никак не мог успокоиться, что не мог командовать мной так, как он делал это с сотнями советских рабов там, дома, в далекой Сибири. Говорили, что он был беспощаден. Он, бюрократ с партийным билетом в кармане, столкнулся здесь с другими людьми, которые, хотя из-за решетки и поверхностно, познали другую жизнь. И тут он промахнулся. Это его мучило и не давало покоя.

Но и у нас с каждым днем нарастал страх. Планы рухнули, новых не было, мы были в тупике. Из своего укрытия мы смотрели на окружающие зеленые поля, а ночью прислушивались к каждому шороху. Вкрадывалось недоверие и к Карлу. Человеком он был трусливым, и если бы вызвали на допрос и прижали, то, я уверен, он во всем признался бы. Пронесло мимо, его на допрос не вызывали. Надо было действовать без отлагательств, но Карл и его жена все откладывали со дня на день принятие какого-либо решения.

Мы решили просидеть на чердаке до 4 мая, а потом самим поехать на велосипедах по направлению к границе, если Карл не захочет нас сопровождать. У нас были карты, и в общих чертах мы знали, куда двигаться. О своем решении мы сказали Карлу. Возврата назад не было. Он сам увидел, что зашел далеко и уже было поздно отказаться помогать нам.

Начали обсуждать, каким путем легче и быстрее добраться до границы. Велосипедами было очень опасно. Поездом тоже опасно, потому что поезда периодически проверяли советские патрули. Опасность была во всем, как бы мы ни старались найти лучший путь. Решили ехать поездом до самой границы, хотя мы совершенно не знали, как обстоят дела в приграничной зоне. Сопровождать нас будет жена Карла, потому что одна женщина в компании двух мужчин не вызовет такого подозрения, как трое мужчин с рюкзаками за плечами.

Родители Карла запротестовали держать нас в сарае, и вечером 4 мая мы вернулись назад в Карлов дом. Обсуждения продолжались до поздней ночи. Выходило, что понедельник 6 мая будет более удобным днем, чем суббота или воскресенье. К тому же, мы думали, попытки найти нас в Хемнице и его окрестностях прекратились или потеряли свою остроту.

Меня мучила совесть, что я ничего не сказал своей девушке. Получалось так, что я ее обманул и даже не сказал, куда исчез. Она же не знала, как все получилось внезапно. Я решил сообщить ей каким-нибудь путем. Карл предложил, что он расскажет ей, когда мы уже будем в американской зоне.

Но я решил сам ехать в Хемниц в воскресенье 5 мая. Это решение пришло ко мне внезапно утром. Оно было принято молча и с неодобрением, но никто меня не остановил. Майские празднества заканчивались, и, как мне казалось, бдительность была притуплена. После обеда, подделавшись внешне под немца, я поехал на велосипеде в город. Было страшно, но, когда молод, есть чувства сильнее страха.

Глядя на те события с пирамиды наслоившихся лет, мой поступок видится безумным и безгранично опасным. Но тогда была молодость, рвение и отвага. Трусости тоже было в меру, но думалось — авось пронесет. Может быть, именно трусость, которая тяжелым бременем давила нас последние дни, толкнула меня на этот неразумный поступок. Я шел по краю пропасти и мог навсегда исчезнуть, сделав один неправильный шаг.

Майское солнечное воскресное утро 5 мая 1945 года было прекрасно. По дороге в Хемниц ехало много немцев, но из города ехало еще больше на лоно природы. Мне казалось, что я ничем не отличался от других. Встретилось несколько солдат на велосипедах. Никто не обращал на меня никакого внимания, и я стал постепенно успокаиваться. Страх куда-то соскользнул, но осталось много других эмоций, которые натягивали мои нервы как струны.

Мне предстояло проехать весь город и проехать его быстро, потому что девушка жила на другом конце. Но спешить не в меру тоже было опасно, можно привлечь внимание.

Заехал с задней стороны дома. На стук открылась дверь, и моя девушка не поверила своим глазам. Была бессловна несколько секунд: так неожидан был мой приезд. Она, вероятно, решила, что я канул в бездну и она больше меня никогда не встретит. "Только десять минут назад они уехали из моего дома. Что ты делаешь? Они могут возвратиться в любую минуту. Два офицера из комендатуры. Они уже были здесь три раза. Тебя везде ищут. Поехали быстрее в городской лес, там поговорим..." — волновалась она. Взяв свой велосипед, она быстро поехала впереди меня. Через 20 минут мы были в густых зарослях леса.

Так как было воскресенье, то в лесу было сравнительно мно-

го немцев. Она рассказала мне о деталях допроса: с кем я встречался, кроме нее, кто мои друзья, где я мог бы быть, говорил ли я ей когда-нибудь о побеге в Западную Германию и множество других вопросов. Кем я был для них, чтобы меня искать так усердно? Никакого ответственного места я не занимал, в свою компанию они меня не принимали, за немца тоже не считали. Но выпускать из своих сетей никого не хотели. Хорошо, что она совершенно ничего не знала о моем исчезновении. В мои планы она не была посвящена, хотя иногда разговор подходил близко к моим намерениям. Поэтому комендантские сыщики не получили ни одного нужного им ответа. О Карле, может быть, она и догадывалась.

Мы уселись в кустах погуще, и я посвятил ее в наши планы. Спросил, не хочет ли она присоединиться к нам. Да, хочет, но не сейчас. Бежать в неизвестность не решалась. Обещала, что если мы доберемся благополучно в американскую зону, то тогда будет более определенным ее решение. Мы условились, под каким именем я буду писать на ее адрес. Просила писать почаще и посвящать ее во все мои дела.

Ей, восемнадцатилетней девушке, было страшно уходить из родительского дома. Она была нерешительна в своих обещаниях и не полностью уверена в своих чувствах ко мне. Колебалась на каждом повороте нашего разговора. Но обещала, обещала многое. Мне хотелось верить, что будет так, как она обещает, но где-то там на дне души зашевелилось сомнение. Неужели что-то переменялось в наших отношениях? Я гнал от себя сомнения.

Попросил ее забрать мои вещи от квартирной хозяйки и при возможности переслать их мне сразу же по моему запросу. Это обещание она исполнила, спустя полгода после нашего бегства.

Подходил вечер. Я решил проскочить город в сумерки, не дожидаясь темной ночи. В сумерках можно лучше распознать опасность, а ночью вслепую еще попадешь в беду. Лес к этому времени почти опустел, разве то тут, то там слышен был разговор. Патрулей нигде не было. Так как моя девушка хорошо знала город, то мы поехали по боковым улицам, избегая главные. Но на одном перекрестке мы наткнулись на группу солдат, которые громко разговаривали и смеялись. Им было не до нас. Но эта неожиданная встреча бросила меня в панику. Они почти полностью преграждали нам путь.

Зная поведение освободителей, я испугался, что они могут схватить девушку и избить меня, если бы я стал защищать ее. Надо было быстро найти выход из положения. "Ребята, дайте дорогу", — скомандовал я. Они расступились и, громко смеясь, дали нам проехать. Они приняли меня за офицера. Офицерам разрешалось по воскресениям надевать гражданскую форму. Им и в голову не приходило, что кто-либо другой в этом городе может говорить по-русски и скомандовать им дать дорогу. Больше подобных встреч не было. Мы ехали быстро, потому что Т. боялась в темноте возвра-

щаться домой. Тем не менее было уже почти темно, когда мы приехали на другой конец города. Мы попрощались до скорого свидания, пожелали друг другу всего хорошего и разъехались в разные стороны, чтобы никогда больше не встретиться.

Подсознание говорило мне, что это последняя встреча и другой никогда не будет, но рассудок не хотел принимать... Тот подъем и энергия, с которой я ехал утром на это свидание, меня покинули. Казалось, нет сил доехать до дома Карла. Ночь уже полностью опустилась на землю, и вечерняя прохлада угоняла теплоту дня.

У Карла только в одном окне виднелся свет. На мой осторожный стук дверь никто не открывал. Постучал еще раз, и дверь открыла жена Карла. Я молча вошел в дом и увидел Василия за входными дверями с пистолетом в руках. Молчание было напряженным, никто не спрашивал меня, как я провел день. Почему Василий стоял с пистолетом за дверьми? (Оказывается, у него не было доверия ко мне. Как он рассказал мне несколько месяцев спустя, он думал, что я спровоцировал побег, затянул его в сети, а сам поехал в город, чтобы привести энкаведистов. Он решил, что живым не сдастся. Пристрелит меня и других, а потом и себя. С этой тяжелой думой он провел целый день. К такому поведению и таким мыслям у него были веские причины. За несколько недель до нашего бегства его вызывали в Особый отдел и поручили ему шпионить за двумя его близкими знакомыми, которые тоже были в солдатской форме. А тем поручили шпионить за ним. Зная друг друга довольно хорошо, они поделились своими поручениями. Все они были бывшие оловцы. Он и подумал, что, может быть, мне поручили затянуть его в ловушку. Скажу одно, что у меня никогда не было сомнения на его счет. Я ему доверял полностью.)

Мы решили на следующее утро идти на ближайшую железнодорожную станцию, купить билеты и ехать к границе. Это означало проехать Саксонию и попасть в Тюрингию. Покупать билеты было не так легко, присматривались к каждому пассажиру. На каждой станции советский офицер мог потребовать документы у любого человека. Утро понедельника было хорошим временем, офицеры появлялись поздно, отходили от воскресения.

Жена Карла купила билеты, не вызвав никакого подозрения, и мы начали тревожно ждать прибытия поезда. Поезда тогда ходили хаотично. В первую очередь пропускались поезда с оборудованием в Союз. Долгими и тревожными казались минуты ожидания. Между собой мы не разговаривали. Только иногда тихо перебирались с Хильдой несколькими словами.

Наконец пришел поезд и мы сели в угол вагона, подальше от вопрошающих глаз, которые, казалось, все смотрели на нас. Людей в вагоне было немного. Впереди надо было делать пересадку на город Заалфельд. Там когда-то жили знакомые Хильды, и она надеялась найти их и узнать, как перейти границу.

Всех подробностей этого путешествия к границе память не сохранила. Помню только, что по приезде в Заалфельд мы направились к знакомым Хильды, с которыми она не поддерживала связь последние пять лет. Шла по старой памяти. Нашли дом по адресу. Мы остались на улице, а Хильду после стука в дверьпустили в квартиру. Не прошло и пяти минут как она вышла оттуда: ее знакомые больше здесь не живут и никто не знает, где они. Ей посоветовали купить билеты на станции и ехать поездом до границы. И надо спешить, потому что поезд к границе ходит только один раз в два дня, и если мы не успеем, то придется ждать почти двое суток. Ее так уверили, что это самый лучший путь, что она и нас уверила, что нет никакой опасности ехать поездом к границе.

Так как до отъезда поезда оставалось не больше 40 минут, то мы быстрым темпом пошли туда. Она купила билеты. Пассажиров на станции было порядочно. Только куда они могли ехать, если конечная станция совсем небольшая и поезд останавливается еще лишь в двух местах? Многие пассажиры были с двумя или больше чемоданами и узлами. Было как-то подозрительно. Советских солдат не было видно ни на станции, ни на улицах города, через который мы прошли около двух километров. По разговорам, до границы было 30 километров.

Вскоре подали поезд, и толпа быстро заполнила вагоны. Мы вскочили в первый вагон, что стоял прямо перед выходом из подземного перехода. День был жаркий, и все окна вагонов были открыты.

За несколько минут до отъезда поезда человек восемь солдат и лейтенант вышли из перехода и остановились перед нашими окнами. Лейтенант давал им указания, из которых мы поняли, что это и есть пограничники и что они будут проверять пассажиров, как только тронется поезд. Это мы слышали собственными ушами, и душа от страха уходила в пятки. Солдатам было велено тщательно проверять документы, открывать слишком полные чемоданы и отводить всех с подозрительными документами в особый вагон. А у нас совершенно никаких документов не было — ни настоящих, ни поддельных. Мы переглянулись и стали подниматься со своих мест. Хильда, не понимавшая по-русски, пришла в ужас. Говорит — поедem, сидите, все будет в порядке. Не отвечая, мы пошли к выходу. Она за нами. Большинство солдат уже разошлись по вагонам, к которым они были определены, но три солдата еще стояли у подземного перехода, надо было пройти мимо них. Другого выхода не было. Мы на них не смотрели и по ступенькам быстро побежали вниз. Смотрели ли они на нас, не знаю. Если у них и было подозрение, они его не проявили, потому что через минуту-две отходил поезд. Внешне мы ничем не отличались от других гражданских лиц. Но те несколько секунд, когда мы проходили мимо них, были полны смертельного страха. Сердце сжалось и колотилось в

груди. Мне кажется, я даже забыл о своем пистолете. Да и что мы могли бы сделать против десятка солдат? Все надежды были на авось. Это тоже не правда, надежды умолкли. Хотелось только побыстрее исчезнуть со станции. Хильда потом говорила, что один из солдат проводил нас вопрошающим взглядом.

Выйдя из здания станции, мы еще быстрее зашагали, оставив Хильду далеко позади. Мы спешили скрыться из виду. Свернув с улицы, мы пошли по полю и через минут 5-6 лежали в густых кустах. Ждали Хильду и думали, что теперь делать. Другого выхода не было, как послать ее на разведку и на этот раз говорить более или менее открыто о переходе в американскую зону.

Хильда пошла опять к тем же людям, с кем она разговаривала первый раз. Узнав, чего она хочет и конечную цель, женщина повела ее в другой дом и оставила там. Прошло не меньше часа. Хильда вернулась: выход есть. Она разговаривала с женой человека, который за деньги ведет людей по тюрингским горам, напрямик, и передает их другим немцам, которые устраивают переход через границу. Всех подробностей она не знала. Жена проводника удивилась, что мы из Латвии. Мы так проинструктировали Хильду, выбрав национальность, язык которой вряд ли знают немцы. Та немного призадумалась, потому что до сих пор переводили через границу только немцев, которые по той или иной причине не могли легально уехать из советской зоны, и решила: пусть муж ее решает. Его дома не было. Он с самого утра повел партию людей на границу.

Хильда сказала, что жена проводника велела идти к ним. Мелькнула мысль, не ловушка ли это. Но что нам оставалось делать?

Увидев нашу усталость и страх, хозяйка дома стала успокаивать нас, что здесь безопасно, что оккупанты не ходят больше по квартирам. Проводник должен был вернуться часов в семь-восемь вечера. Мне кажется, что мы просидели в этом доме около шести часов до прихода проводника. На вид ему было лет за пятьдесят. Он не удивился нашему присутствию, не стал задавать лишних вопросов. Сказал, что рано утром мы пойдем напрямик через горы в одну довольно большую деревню в полукилометре от границы. Плата за его труды с каждого из нас будет по триста новых марок, то есть марок, выпущенных оккупационными властями во всех зонах Германии. Опасности, говорит, мало, потому что мы будем идти по горным тропинкам, по которым оккупанты не ходят и не знают о них. Человек этот внушал доверие. Не знаю почему, но с ним стало как-то спокойнее. Может быть потому, что он не много говорил, не задавал лишних вопросов и выглядел усталым. По нашему немецкому языку он сразу понял, что мы не немцы, но не стал спрашивать, откуда мы. Два дня подряд он обыкновенно не ходил на границу — слишком утомительно, в горной местности идти трудно. Но видя нашу настороженность и натянутость, согласился идти рано утром. Мы и обедали и ночевали там же.

Утром встали часов в пять или раньше. Хильда почему-то решила тоже идти, хотя ее помощь уже не была нужна. Проводник стал отговаривать ее, но она заупрямилась и пошла с нами.

Было очень приятно идти рано утром по лесу в горах, по свежей росе. Природа благоухала, набиралась весеннего соку. Шли мы быстро, насколько позволяли горы, с небольшими остановками. Проходя через какое-то небольшое селение, мы увидели нескольких советских солдат, игравших в волейбол. Шли под шум соснового леса и тихого плеска многочисленных ручейков. Наконец увидели внизу деревню — нашу цель. До нее надо было идти еще около километра по совершенно открытой дороге. Нас снова охватил страх. Проезжали советские джипы, солдаты на велосипедах. Мы начали трусить и совсем испугались, когда вошли в деревню и увидели около полусотни солдат-пограничников.

Это была не совсем деревня, скорее маленький городок. Наш проводник повел нас в третий дом, что стоял в тени деревьев, как бы прижавшись к ним. Нас завели за какую-то перегородку, а девочка лет 12-ти, получив инструкции, куда-то побежала. Встретившись со многими совсем незнакомыми людьми, мы уже потеряли в какой-то степени нашу подозрительность и отдались, как говорится, на прихоть судьбы. Чувство страха притупилось, но не уходило. Чему быть, того не миновать. Вдруг в дом ворвался совершенно безволосый человек. Я не говорю "лысый", на голове у него не было ни одного волоска, видно было, что какая-то болезнь облысила его. Во всех его движениях была спешка. Переговорив коротко с нашим проводником, он зашел к нам за перегородку и начал уверять нас, что все будет хорошо и чтобы мы не волновались. О деталях скажет позже, а сейчас уходит по делам.

Солнце уже заходило. Отчетливо до сих пор помню солнце над самым горизонтом и длинные тени от деревьев. Казалось, все движение остановилось, кругом царил тишина. Наконец совсем стемнело, а мы еще оставались в этом доме. Через час или больше опять прибежал безволосый. Сказал, что ночевать мы будем в гостинице, в которую он нас отведет. Во время нашего разговора в дом заскочил без всякого стука советский солдат. Нас он не увидел за загородкой. Безволосый выбежал ему навстречу и увел в другую комнату. Они о чем-то договаривались, но их разговор не доходил до нас. После нескольких минут мы успокоились. Поняли, что солдат пришел не за нами. Потом он так же быстро убежал.

Было уже совсем темно, когда безволосый повел нас в гостиницу. Окна нашей комнаты на втором этаже выходили на городскую площадь. Безволосый сказал, что этой ночью проверки гостиницы не будет, поэтому мы не должны бояться. "Когда же мы пойдем через границу?" — "Завтра утром", — был его ответ. — "Как, утром, у всех на виду?" — "В другое время я не могу. Завтра мой пограничник — солдат, которого вы видели, — будет стоять на посту (на

наблюдательной вышке), и только тогда я смогу перевести вас через границу. С ним уже все договорено. Завтра в половине одиннадцатого. До границы минут 15. А сейчас пойдемте вниз, в ресторан, там моя компания ждет вас. Все, кто будет сидеть за столом, мои люди, и они обо всем знают. Вы будете угощать их шнапсом. Будем пить за ваши деньги. Это наш закон. Ничего не бойтесь. Там могут быть советские офицеры, но они вас не тронут. За перевод через границу с вас по 300 новых марок. Если хотите, дайте мне сейчас все или половину. Другую половину дадите мне на другой стороне границы. Нас ждут, пошли вниз.”

У нас не было другого выхода, и мы не возражали. Надо было делать все, как он говорил. Мы были полностью в его руках. Пошли вниз в маленький ресторан. За большим столом сидело человек восемь. Нас посадили в центре стола друг против друга и между незнакомыми людьми. Нас эти люди окрестили тут же немецкими именами. Все они шутили и смеялись. Вели себя совершенно свободно. Может быть, это была своего рода маскировка. Ведь им не повеселилось бы, если бы нас арестовали. Безволосый пошел к прилавку и принес две бутылки шнапса. Что-то было на закуску. Мы все время были охвачены страхом, который удесятичился, когда мы заметили за соседним столом двух советских офицеров. Они спокойно пили шнапс и, казалось, не обращали на нас никакого внимания. Наша компания после нескольких рюмок стала совсем веселой, начали петь песни, громко разговаривать, создавая впечатление, что все мы настоящие немцы. Вероятно, и мы выдавливали на своих лицах улыбки, хотя душа была в пятках.

Скоро офицеры ушли, потом приходили другие, это еще больше натягивало наши нервы. Наконец, мы попросили безволосого увести нас в нашу комнату. Купили им еще одну бутылку шнапса. Отведя нас наверх, безволосый еще раз сказал, что проверки, он точно знает, не будет, и что мы должны хорошенько отдохнуть. А сам ушел продолжать веселиться. Думаю, что у этих немцев было подозрение, что мы не из Латвии. Часов в десять вечера произошла строевая проверка пограничников на площади перед нашим окном. Их оказалось около ста или больше. Не верилось, куда мы попали. Солдаты маршировали, пели песни. Все, как полагается в советской армии. Потом стало тихо, но спать мы не могли. Может быть, перед самым утром уснули на час-два.

Утро до десяти часов шло медленно, нам казалось вечностью. Пришла Хильда, мы ей отдали один пистолет и еще кое-какие вещи. Подготовили наши рюкзаки. Вскоре появился безволосый, веселый, спокойный, как ни в чем не бывало. — ”Пошли”, — говорит.

Солнечный, прекрасный майский день. Мы идем по открытому полю в направлении леса. Десять часов утра, на полях работают фермеры. Нам кажется, что нас видят со всех сторон этого маленького городка. Мы стараемся прибавить шагу, чтобы быстрее дойти

до леса. Безволосый нас останавливает. "Быстрый ход или бег, — говорит он, — может привлечь внимание пограничников. Идите нормально, словно вы идете работать в поле. Несите ваши рюкзаки в руках." — Идем как сказано. Минут через десять мы вошли в небольшой лес. Еще через несколько минут безволосый отдал рукой команду, чтобы мы шли тихо и не хрустели ветками под ногами. Осторожно пробираемся от куста к кусту. Вдруг впереди, в 30 метрах от нас показалась шоссейная дорога. Кругом пусто, никакого движения. Остановились.

— Вот эта дорога и есть граница, — говорит безволосый. — Стойте здесь, я выйду на дорогу, посмотрю кругом. У дороги стоят наблюдательные вышки на расстоянии около километра одна от другой. На вышке с левой стороны стоит мой пограничник. Он знает, что я буду проводить вас ровно в половине одиннадцатого. Он будет смотреть в другую сторону. С ним все договорено.

После этих слов он скрылся в кустах, потом выглянул на дорогу, посмотрел в обе стороны и подал нам рукой сигнал, чтобы мы шли к нему. Подошли, остановились. Он посмотрел на часы. Было почти половина одиннадцатого. Еще раз выглянул на дорогу и командовал тихо: "Бежим!" Быстро пересекши дорогу, мы еще бежали метров 50 или больше. — "Давайте остальные деньги, — говорит, — вы уже в американской зоне". — Продолжая бежать, но уже тише, я дал ему условленную сумму. — "Метрах в ста там деревня. Идите туда, там вам нечего бояться." — Сам повернулся и убежал назад.

Добежав до первых домов на краю леса, мы остановились, присели отдохнуть. Не верилось, что мы в американской зоне. Прошли несколько шагов до первых домов. Показался какой-то человек. Сначала хотели расспросить его, где мы и куда идти, но решили, что это уже не нужно. Пошли по спускавшейся вниз улице. Деревня находилась между двух невысоких гор. Было безлюдно и тихо. Казалось, все наши страхи и опасения прошли. Мы совсем не подозревали, что с этого момента начинается новая страница нашего хождения по мукам. Навстречу шел молодой человек лет тридцати. Шагов за пять до нас он остановился и попросил показать документы, удостоверяющие наши личности. В недоумении мы посмотрели друг на друга. Наши проводники говорили, что в американской зоне никаких документов не надо. Нас все уверяли, что по ту сторону границы все будет в порядке и бояться нечего. Конечно, никаких документов у нас не было. Молодой человек велел нам следовать за ним. Куда? Да вот близко, на пограничный контрольный пункт. Он был с пистолетом. Можно было сбить его с ног и бежать. Но этой мысли у нас не было. Думали: раз мы в американской зоне, нам больше ничто не грозит. Насильственная репатриация не пришла на ум — мы считали, что все о ней забыли. Конечно, это было наивно, если учесть, что последняя насильственная выдача произошла в июне 1947 года из Италии. После этого все затихло и началась холодная война.

Сообразив, что нам грозит опасность, мы попытались подкупить его взяткой, предложив ему две тысячи марок. Он отклонил это рукой, сказав, что это не поможет. Наша попытка насторожила его, и он твердым голосом приказал следовать за ним. Наш второй пистолет мы бросили, как только очутились на американской стороне. Наши проводники предупреждали, что с оружием в американской зоне не надо показываться, будет плохо. Конечно, ничего хорошего не вышло бы, если бы мы его оглушили посередине деревни и начали бежать. Думаю, что не только он видел нас.

Дом, куда он нас привел, мало чем отличался от других. Он стоял на краю деревни, ближе к границе. За столом сидел немец со свирепым лицом. После короткого разговора с нашим Фрицем нас начали допрашивать. Кто мы такие, откуда, куда намерены идти, зачем перешли границу и другие вопросы. Наши ответы были враньем. Это, наверное, было замечено, и мы не внушали им никакого доверия. Нас начали обыскивать. Забрали наши рюкзаки, а также все, что было в карманах. Не раздевали, но провели руками по телу и ногам. У меня к одной ноге были привязаны несколько фотографий. Отобрали. Еще раз прощупали, более тщательно. Все это были немцы, американцев не было.

Нам показалось странным, что мы опять в немецких руках. Появились два солдата с винтовками, и нам приказали следовать за ними. Один солдат шел сзади, другой впереди. Вот тебе и свобода. Мы попали в ловушку в американской зоне.

Привели нас в импровизированную тюрьму, устроенную из фермерского склада. На окнах были толстые стальные прутья, дверь массивная, обитая железом. Там было три пары двухэтажных нар. Когда мы вошли в комнату, с одних нар прыгнул рыжий человек, как потом оказалось — немец. Один солдат сразу ушел, а другой стал нам говорить, что он сейчас принесет нам суп, потому что уже было около двенадцати часов дня. Он начал уверять нас, что все будет в порядке. Поняв, что он человек разговорчивый, я попытался вытянуть хоть немного правды, что сделают с нами. Немцы, говорит, с вами ничего не будут делать. Они только останавливают незнакомых людей, идущих через эту деревню, и сторожат границу. Собственно, говорит, граница не охраняется с американской стороны, а на советской стоят солдаты на наблюдательных вышках. Это мы знали и без него. Продолжая разговор, он сказал, что каждый день в четыре часа приезжают американские МП (военная полиция) и забирают всех подозрительных людей без документов в Бамберг. Что делают с ними, он точно не знает, но обыкновенно многих передают в советскую зону. Солдат ушел.

Все было понятно: нас отправят из Бамберга назад в советскую зону. Надо было действовать, и очень быстро. Рыжий немец залез опять на свои нары и подозрительно смотрел на нас. Но нам было не до него. Мы бросились к двум маленьким окнам и стали пробо-

вать стальные прутья. Они были заделаны прочно в цемент, и разломать их было невозможно. Тогда попробовали дверь. Хотя она была и толстая, но уже отживала свой век. В раму не точно входила. Между косяком и дверью было достаточно пространства, чтобы ухватиться руками. Дернули несколько раз, поддается. Вася рванул дверь сверху. Ростом он был более шести футов и силы молодецкой. А в страхе силы, говорят, прибавляются. Замок, вернее, скобы замка, что сидели в двери, вырвались с куском дерева. Немец в панике стал что-то орать.

Выбежав наружу, мы бросились к склону горы не遠далеке от нашей тюрьмы. Со склона мы увидели всю деревню, лежавшую узкой нитью между двух больших склонов. Каждый склон был в несколько сот метров и с крутым подъемом. Убегая, мы слышали крик рыжего немца. Он, вероятно, понял из нашего разговора, кто мы такие. На его крик прибежали немцы-пограничники. Мы остановились, зная, что если побежим дальше в лес, то попадем обратно в советскую зону. Немцы тоже сообразили, что назад мы не побегим, а будем продолжать бежать по склону горы параллельно деревне, стараясь обойти ее с другого конца. Сверху мы видели, что облава на нас началась. По деревне мчалось несколько человек. Они бежали на другой конец деревни, чтобы пересечь нам дорогу. Они знали с точностью, что у нас не было другого пути.

Надо было быстро принимать решение, что делать. Так как немцы помчались на другой конец деревни, мы решили бежать вниз, пересечь деревню и подняться на другой склон, а там уже виднелся лес и в нем можно было спрятаться. Колебаний не было, рассуждать тоже не было времени. Вниз с горы бежать было легко, и мы за несколько минут пересекли деревню, чего немцы совершенно не ожидали, и быстро начали подниматься на другую гору. Бежать было тяжело, сил не хватало. Спыхватившись, наши преследователи наседали на нас. До леса оставалось около сотни метров. Видя, что мы можем уйти, немцы стали стрелять по нам. Думаю, что стреляли они из пистолетов. Пули свистели по сторонам, ложились у наших ног, но пролетали мимо. Крик и стрельба усиливались. Расстояние между нами и нашими преследователями уменьшалось по секундам. Одно время казалось, что они в 10-15 метрах от нас. Оглядываться было некогда. До леса оставалось около пятидесяти метров.

Напрягши последние силы, мы вскочили в лес. Это был молодой, густой ельник. Не хватало дыхания, ноги подкашивались. Мы не могли бежать дальше. Вася сдал первым. Упал под ветки ели, спускаясь до земли, и сказал — пусть делают что хотят, но он бежать больше не может. Он был бледен как смерть. Думаю, что и я так выглядел.

Мы залезли как можно глубже под ветки ели и стали ждать наших тюремщиков. К нашему удивлению, они остановились око-

ло первых кустов и дальше не шли. Их голоса доносились до нас.

Дождик, который накрапывал, когда мы подбегали к лесу, пошел густо, усиливаясь с каждой минутой. Голоса немцев все еще раздавались, было впечатление, будто они не знают, что делать дальше. Вскоре мы увидели из своего укрытия немецкую овчарку. Она делала большие круги вокруг нас, потом круги становились меньше и меньше. Мы почти не дышали, чтобы не выдать себя. Дождь тем временем полил настоящими крупными каплями. Собака еще сделала два круга и убежала куда-то. Вероятно, потеряла наш след благодаря дождю.

Майская гроза набрала полную силу: с молнией, громом и ливнем. От нее не было никакого укрытия и под густыми ветками. Больше голосов не было слышно. Все потонуло в грозе. Дождь лил минут сорок пять. Потом постепенно стал стихать.

Прошло не менее двух часов, а мы все еще не решались вылезти, думая, что немцы где-то рядом стерегут наше появление. Гроза перестала, но мелкий дождик продолжал шуметь по листьям деревьев. Осторожно выглянув через ветки и осмотревшись кругом, мы пошли, как нам казалось, в правильном направлении. Ориентиром была все та же злополучная деревня, которую мы уже не видели, но знали, что она осталась где-то там внизу.

Сначала шли очень осторожно, осматриваясь и не разговаривая. Промокли мы до нитки. Через час ходьбы по мокрому лесу дождь совсем перестал. Мы ободрились, прибавили шагу и начали разговаривать между собой.

Хотя все наши вещи, приобретенные после войны, остались в руках пограничников, мы не унывали. Сознание, что мы перешли границу и сейчас на свободе после немецкой тюрьмы вселяло веру, что самое плохое осталось позади. Куда мы шли, мы не знали. Через два часа ходьбы всякая ориентировка была потеряна. Шли в полной уверенности, что мы находимся в американской зоне. Старались идти по склону, то одному, то другому. Внизу где-то шумел ручеек, но ни одной живой души не было видно. После дождя пели птицы, и солнечные лучи играли в каплях воды на ветках. Рожденные на русской равнине, мы совсем не знали, что дорога "напрямик" в горах хранит для нас много неожиданностей.

Прошло не меньше четырех часов хождения по Тюрингским горам. Солнце стало клониться к закату. Повеяло вечерним холодком. Параллельно нашему пути, внизу, сквозь ветки деревьев была видна какая-то дорога и шумел небольшой ручей.

Сумерки спустились на землю. Вдали были слышны голоса. Мы остановились и начали оглядываться кругом в надежде найти кого-нибудь, чтобы спросить, где мы. Совсем недалеко от нас шла женщина и вела на поводке двух коз. Она, вероятно, вела их домой. Но вблизи никакого жилья не было видно. Подойдя к ней, мы спросили, где мы, в какой зоне.

— В советской, — говорит. — Разве вы не слышите, как поют советские солдаты?

Внутри у нас как будто все рухнуло, ноги подкосились. Что делать?

— Где граница? — спросили ее.

— А вот там внизу, видите дорогу и ручей? вот это и есть граница, — сказала она.

— Границу охраняют?

— Конечно, по дороге проезжает автомобиль с советскими солдатами, а там на вышках тоже сидят пограничники. Подождите, пока станет темно, а потом можете перебежать границу. — С этими словами она ушла.

Опять тревога, опять страх неизвестного. Мы снова спрятались в кустах. Прислушавшись, действительно услышали слова русской песни. Потом мы подошли ближе к дороге и, прячась в кустах, стали наблюдать. Минут через пять медленно проехала машина. Рядом с водителем сидел, вероятно, офицер, а на заднем сидении два солдата с выставленными через окна автоматами. Из нашего укрытия мы их видели, хотя сумерки уже спустились на землю. Минут через 15 та же машина возвращалась назад и скрылась в противоположном направлении. Кроме машины мы не видели ни патрулей, ни вышек. Патрулей определенно не было, а вышки прятались в деревьях. Мы находились на склоне, приблизительно метрах в 50-ти над дорогой-границей.

Только сейчас мы поняли, почему немцы не побежали за нами в лес: они нас выгнали на границу, в направлении советской зоны, и мы перешли границу, совсем не заметив ее. И шли мы все время рядом с границей. А может быть и переходили ее несколько раз, не отдавая себе отчета. И овчарка была советских пограничников. Может быть, мы сидели под елкой уже в советской зоне? Хорошо, что всего этого мы не знали и шли с уверенностью, что мы в американской зоне.

Сейчас надо было еще раз переходить границу. Было уже почти темно. Проводив машину еще раз и подождав, когда она скроется из виду, мы бегом спустились вниз, перепрыгнули узкий ручеек, потом дорогу и выбежали на открытое поле. От дороги-границы мы бежали метров двести что есть мочи и наткнулись на стадо овец. Их гнали в деревню рядом.

Боясь столкнуться с немцами-пограничниками, мы постучались в первый же дом. Дверь открыла женщина. Здесь тоже был риск. Но что делать? Мы были холодные, голодные и мокрые. Вид у нас был самый жалкий. В дом она нас непустила, а позвала мужа-фермера. Здоровый детина лет пятидесяти сказал, что приюта нам не может дать. Посмотрев на нас и немного подумав, он сказал: "Мой брат здесь бюргермейстер. Я проведу вас к нему. Пусть он разберется с вами".

Промелькнула мысль, что мы опять попали в руки новой власти. Но что делать? Бежать сейчас? А если бежать, то куда? Приняли, что готовила нам судьба, и пошли за фермером, который все время молчал. Бюргермейстер впустил нас в дом нехотя, но видя наш жалкий вид, согласился поговорить с нами.

Здесь нам опять пришлось врать, но по-новому. Конечно, мы ему не сказали о наших приключениях за день. Сказали, что перешли границу здесь, рядом с этой деревней, и хотим добраться до Мюнхена.

Нам дали поесть, и бюргермейстер сказал, что мы можем у него ночевать. Добраться до Мюнхена не так просто. Он постарается помочь нам, чем может. Через час или больше пришел молодой парень лет 25-ти и сказал, что трудно нам будет выйти из пограничной зоны, которая простирается на 30-50 километров от границы. Ближайший от этой деревни город — Бамберг. Человек этот был очень хорошо информирован. Знал все детали приграничной зоны и все порядки в американской зоне. Нарисовал нам план, как добраться до Мюнхена. Вся приграничная зона усеяна проверочными пунктами, где американская военная полиция проверяет документы и задерживает всех подозрительных лиц. Если есть даже небольшое подозрение, что человек пришел из советской зоны, то сразу же отправляют назад. Проверочные пункты находятся на главных дорогах, железнодорожных станциях, на мостах и в других пунктах, где большое людское движение.

Молодой человек тоже спросил нас, откуда мы и как нам удалось пройти такое большое расстояние из Прибалтики до Тюрингии. Думаю, что какой-то части нашего рассказа он поверил. Он дал нам точную картину, как добраться до Бамберга: где ехать поездом, где идти проселочными дорогами, где обходить железнодорожные станции, где ночевать и другие подробности. Бамберг надо было пройти пешком и только на первой станции за Бамбергом взять поезд на Мюнхен через Нюрнберг. Определенно, такие детали мог знать только тот, кто был в контакте с оккупационными войсками. Не ошибусь, если скажу, что он был пограничником.

После его ухода жена бюргермейстера сказала, чтобы мы сняли нашу мокрую одежду, она высушит ее, а нам идти спать. Видя хорошее отношение к нам, мы успокоились, но заснуть долго не могли. В голове копошились разные мысли: первый переход границы, взлом двери и опять бегство из тюрьмы в "свободной" американской зоне, потеря всего, что было приобретено после войны, пять часов хождения по горам и лесам Тюрингии, во время которых мы опять перешли назад в советскую зону, потом второй раз переход этой злополучной границы.

Утром наша одежда была высушена и ждала нас. Приведя себя в более или менее приличный вид, мы сели за стол завтракать. Бюргермейстер и его жена оказались порядочными людьми и не вы-

дали нас американской военной полиции. Чтобы мы не заблудились и не пошли по неправильной дороге, их двенадцатилетняя дочь провела нас, куда нужно, и рассказала, в каком направлении идти. Мы шли не по деревне, а как бы в обход ее.

Начался третий этап нашего побега. Солнечным днем приятно было идти по проселочным дорогам. Приятно, но не безопасно. Пуганая ворона и куста боится. Боялись и мы опять попасть в руки тех, кто выполнял пункты ялтинского договора. Шли мы несколько часов подряд, немного отдыхали, потом опять шли, в каком-то месте проехали поездом небольшое расстояние, и опять шли. Приближался вечер. Мы решили переночевать в лесу. Наломали веток и легли. Под утро стало холодно, поэтому спать долго не пришлось. Целый день, конечно, мы ничего не ели. Рано утром двинулись опять к Бамбергу. Проходя по улицам Бамберга, мы заглядывали в окна немногих магазинов, но боялись заходить туда. Все же голод взял свое. Набравшись смелости, вошли в хлебный магазин. Все продукты в те годы были по карточкам, так что выпросить кусок хлеба было делом не простым. Вероятно, наш вид помог: помятая одежда, небритые, усталые, просто страшные. Женщина за прилавком сурово толкнула нам буханку и сказала, чтобы только быстро уходили. Никаких денег даже не хотела.

Найдя на одной из улиц Бамберга какой-то парк, мы, присев на несколько минут, проглотили хлеб и начали присматриваться, что делается вокруг нас. И здесь мы услышали то тут, то там польскую речь. Иногда даже прохожие говорили по-русски, но у нас был такой великий страх, что мы не осмелились заговорить с ними. В Бамберге был большой польско-украинский лагерь. Как мы потом узнали, там было много и русских, подделавшихся под украинцев. В те годы надо было подделываться под любую нацию, только не быть русским.

На первой станции после Бамберга мы купили билеты до Мюнхена. Вагоны не были переполнены пассажирами, и мы заняли свободные места подальше от других. Первое время не разговаривали. Потом осмелились и начали почти шопотом говорить по-немецки. Почти рядом с нами разговаривали по-украински. Ни в какие разговоры с другими мы не вмешивались. Да и нас люди сторонились из-за нашего внешнего вида.

А откуда у нас оказались деньги? Еще в доме Карла, как бы предвидя несчастье, я спрятал под подкладкой брюк в поясе шестьсот немецких марок. При обыске немцы их не обнаружили. Не знаю, что бы мы делали без этих денег. Они спасли нас от многих неприятностей и опасностей.

В Нюрнберге была пересадка на Мюнхен. Между поездами было около двух часов, в течение которых мы имели возможность заметить, что Нюрнберг сейчас — многоязычный город, с преобладанием славянских языков, главным образом русского. И на станции и

на улицах было много американской военной полиции (МП). Поэтому мы не расхаживали, а сидели смирно в углу ожидающего зала. МП могли остановить любого человека и спросить документы. Подальше от беды и подальше от МП.

В поезде на Мюнхен было уже много людей, чуть ли не давка. Многие стояли в проходах. В Мюнхен приехали уже вечером. Куда идти? Сначала подумали оставаться на станции всю ночь. Ну а наутро что? Василий предложил ехать в деревню к фермеру, у которого он работал пару месяцев перед окончанием войны. Это означало ехать еще одним поездом минут тридцать, а потом идти еще минут сорок от станции к фермеру.

Нам казалось, что это будет лучшим выходом из нашего положения. Добрались к фермеру часов в двенадцать или позже. Кругом тишина, немецкая деревня спит. Василий хорошо знал расположение фермерского дома, и мы зашли во двор с задней стороны. Хотя время было позднее, но мы решили постучаться. На стук никто не отвечал долгое время. Потом сонный голос хозяина спросил, что нам надо и кто мы такие. Василий назвал свое имя. На минуту молчание, потом ответ, что фермер не помнит такого человека и чтобы мы уходили. Василий старался его убедить, что он тот самый, кто работал у него перед концом войны. Напрасны были уговоры. Мы отошли вглубь двора и остановились в нерешительности, что делать дальше. Надо было где-то провести ночь. Надеюсь, что фермер ушел спать, мы тихонько открыли сарай, вошли туда и наощупь нашли в углу солому. Решили, что здесь лучше, чем в другом месте под открытым небом.

Утром, услышав, что в доме уже встали, мы опять постучали. На этот раз нас впустили в дом, и фермер, конечно, узнал Василия. Мне казалось, что он его припомнил и ночью, но боялся впустить по той простой причине, что в те годы было много разбоя и грабежа в Германии. Нам дали что-то позавтракать и мы рассказали фермеру о нашем бегстве из советской зоны. Только сейчас он сообразил, почему мы стучались к нему.

— Здесь кругом лагеря Ди-Пи. Самый близкий только в трех километрах отсюда. А в Мюнхене еще больше. Вы должны идти в лагерь и там устроиться, — посоветовал фермер.

Новость о лагерях и о множестве иностранцев в Германии, которые сейчас превратились в Ди-Пи (Displaced Persons — перемещенные лица, иными словами бездомники, потерявшие свою родину), так ошеломила нас, что мы засыпали его вопросами. Он нам посоветовал идти в лагерь и самим узнать обо всем.

Пошли в ближайший лагерь, который оказался польско-украинским. Украинцы в основном из Галиции. Но было много и советских украинцев. При входе в лагерь стояли охранники-украинцы. Без оружия, но с целью не пускать посторонних. Во время нашего разговора с охранниками вдруг Василий увидел человека, с кото-

рым когда-то работал на "БМВ" в Мюнхене. Тот тоже узнал Василия, позвал еще несколько человек, с которыми они прежде работали, и повел в их комнату. Вопросам не было конца. Рассказав коротко, что с нами приключилось за последние пять дней, мы немного насытили любопытство присутствующих. Их набилось в комнату человек двадцать и многие из них знали и помнили Василия. Петр Р. предложил нам привести себя в человеческий вид, побриться, помыться, почистить грязную одежду. Тем временем он начал организовывать встречу за столом.

Стол был уставлен многочисленными консервными банками, конечно, американскими, появился самогон, который делали здесь же в лагере, и нам устроили хорошую встречу.

Во время разговора нас учили мудрости, как жить в американской зоне, как забыть о том, что мы русские, и не дай Бог сказать кому-нибудь из официальных лиц, что мы бывшие советские подданные. Первым делом надо было получить, достать легальным или нелегальным путем карточку Ди-Пи — документ, удостоверяющий личность, с которым можно свободно передвигаться в "свободной" американской зоне. В противном случае МП могут задержать и отправить в советскую зону. К сожалению, никто из присутствующих не мог нам помочь в этом деле. Василий сказал, что во время работы на "БМВ" у него был друг, Иван Пиц, не знает ли кто о нем. Да, он живет в Мюнхене. Дали нам его адрес.

С разрешения администрации, которая состояла почти целиком из украинцев, мы переночевали в этом лагере, а на следующее утро отправились на ближайшую станцию и поехали к Ивану. Нашли мы его без всяких трудностей. Он ошеломлен от неожиданности, потому что сам провожал Василия, уезжавшего на родину. И вдруг Василий перед ним! Опять сотни вопросов. Просим устроить нам карточки Ди-Пи. Иван призадумался. Сам он ничего не может сделать, но у него есть знакомые, которые работают в главной квартире УНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation Association). Но чтобы попасть к ним, надо идти еще через одного человека, русского, который живет недалеко от Ивана. Иван Пиц, как и многие тысячи выходцев из Восточной Европы и Советского Союза, жил с женой на частной квартире, спасаясь этим самым от насильственной репатриации.

Иван и его жена предложили нам остаться у них на несколько дней, пока дело с карточками Ди-Пи устроится. На следующий день мы пошли на квартиру человека, чей друг имел прямое отношение к карточкам Ди-Пи. Встретились, поговорили. Сказали ему не всю правду о нашем побеге. Обещал помочь, но без большой надежды на успех. Он поговорит, где нужно, и передаст через Ивана, что делать дальше. Опять мы видели трудности впереди.

Иван и его жена рассказали, что в Мюнхене и пригородах находятся шесть лагерей Ди-Пи, разделенных по национальностям. За

пределами Мюнхена тоже есть лагеря, и устроиться в один из таких лагерей легче, чем в Мюнхене. Вообще же администрация УНРРА строго следит за выдачей карточек Ди-Пи и не хочет принимать в лагеря новых людей. Во всех этих лагерях нет ни одного бывшего советского подданного. По официальным бумагам. На самом деле на 85 процентов советские подданные, но они зачислены под другой национальностью. Советовали нам подделаться под украинцев и выдумать себе ложную биографию.

Через два дня Иван сказал, что нам надо идти в центральный штаб УНРРА, чтобы встретить человека по фамилии Владимир Гальской. Встреча произошла. Человек он был общительный, русский эмигрант из Франции. Потом мы узнали, что он пишет стихи и помогает русским, если может. Взял у нас ложные данные и велел приходить завтра.

У нас выросли маленькие крылышки надежды. По Мюнхену мы бродили более или менее свободно, но все еще осматривались по сторонам. Пошли опять на встречу в УНРРА. Гальской принес нам карточки и тут же сказал, что они сделаны нелегально. Посоветовал устроиться где-нибудь в лагере подальше от Мюнхена, потому что там не будут любопытствовать долго и проверять наши документы. Указал лагерь в Эммеринге в нескольких километрах от Фюрстенфельдбрюка и в 25-ти километрах от Мюнхена.

Итак, в кармане был поддельный документ, дающий право на жизнь в американской зоне. Мы поехали в Эммеринг. Посмотрев на наши новые карточки, комендант лагеря сказал, что в лагерь принять нас не может. Есть приказ из УНРРА не принимать в лагерь новых людей. Опять началось хождение по мукам, стучание в двери, которых нам не открывали, от одного лагеря в другой, просьбы и отказы. И кончилось тем, что наши ложные документы разоблачили и мы остались у "разбитого корыта". Но это уже страница из другой жизни.

И.А. ЛУГИН

ПОЛГЛОТКА СВОБОДЫ

Мои воспоминания относятся к 1942-47 годам — жизни в немецком плену и последующему периоду насильственной репатриации.

Судьба была милостива ко мне. Я пережил все, выпавшее на мою долю. Оно кажется мне ничтожным по сравнению с теми страданиями, которые претерпели многие миллионы моих товарищей по плену, выжившие и погибшие в немецких и советских лагерях.

Один урок я вынес из всего пережитого. Хорошие и злые люди встречаются среди всех наций. Нет преступных народов, есть преступные правительства.

В своем рассказе я не уклоняюсь от правдивого изложения событий, действительной обстановки и мыслей того времени.

Но в отношении имен я соблюдал осторожность. Имя и фамилию я сообщаю только в тех случаях, когда уверен, что человек уже ушел в лучший мир или же ему не может угрожать опала, как, например, встреченному в лесу капитану с просоветским образом мыслей. В других случаях я сообщаю только имена, без фамилий. Многое я просто позабыл. Особенно даты.

В заключение я выражаю сердечную благодарность всем, когда-либо оказавшим мне помощь или одарившим улыбкой.

1. ХАРЬКОВСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ МАЯ 1942

29 артиллерийский полк Р. Г. К. (Резерва Главного Командования), в котором мне довелось служить, формировался под Москвой в г. Красногорске. В полк вливались люди из разбитых артиллерийских частей. Мы, например, прибыли из Грузии, куда нас перебросили осенью 1941 г. после отступления от Днепра.

Полк был одним из первых такого типа, созданных для усиления огневых средств регулярных частей в момент наступления. По выполнении задачи, полк перебрасывали на другой участок фронта. Идея создания таких полков, заимствованная в дореволюционной русской армии, полностью оправдала себя во второй период войны.

Когда мы из солнечной Грузии, где уже зацветали деревья, в начале марта 1942 года прибыли в Подмоскovie, нас встретили заснеженные поля, перерезанные противотанковыми рвами и линиями сварных ежей. Столица недавно отразила врага и жила серой военной жизнью...

Дни мы проводили на занятиях — топтались в сугробах снега и зверски мерзли в своих шинелях и обмотках. Не согревались и ночью: спали на голом полу в нетопленных помещениях школы. Знаменитая тимошенковская "закалочка" действовала круглые сутки. Неудивительно, что многие рвались на фронт, предполагая, что даже там будет лучше.

В начале апреля, получив новые 122-мм пушки, мы погрузились в вагоны и двинулись в сторону Курска. Ехали медленно, подолгу задерживаясь на каждой узловой станции. На остановках занимались тем, что многие делали до нас и после нас — отправлялись на поиски топлива для печек. Найти его было почти невозможно: на версты все деревянное было выломано, вырублено и сожжено.

Станции представляли собой неприглядное зрелище. Частично разрушенные бомбежкой, невероятно грязные, с мечущимися на путях женщинами. Женщины, роняя мешки, старались уцепиться за тормоза или подножки вагонов проходящих эшелонов...

Проехав далеко за Курск, мы высадились на станции Лиски. Здесь и загадка открылась. Идем на фронт под Харьков.

На станции нас уже поджидали большие, крытые брезентом английские грузовики. Их доставили через Иран по лендлизу. К машинам цеплялись орудия, грузились снарядные ящики, и еще оставалось место для оружейной прислуги. Полк стал мобильным, каким по замыслу и должен был быть. Но не совсем. Места не нашлось разведчикам, связистам и вычислителям. Им предстояло идти пешком.

Кроме машин, мы получили партию прекрасных кожаных ботинок. Но вот незадача: ботинки были скроены не на русскую медвежью лапу, а на интеллигентную английскую ногу, тонкую и длинную, как шило. Даже разрезав ботинок, в него трудно было всунуть ногу. Мелочь! Но как она важна пехотинцу, особенно тому, кто шагал еще в стоптанных московских валенках или разбитых гражданских туфлях.

От станции машины, конный обоз и люди потянулись на запад. Все это снова скапливалось у г. Изюма, где нам предстояло переправляться через Северский Донец.

У переправы все пространство было забито войсками. Шли холодные весенние дожди, от которых в еловом лесу, где мы расположились, не было укрытия. Только на третий день подошла наша очередь. Донец еще не вошел в берега, быстро катил мутные волны и крутил наш утлый паром.

Переправившись, мы в ночь пошли к фронту по неширокой лесной дороге. Дождь перестал, но прошедшие ранее танки или тягачи оставили глубокие колеи в мокром грунте. Шагать даже по обочине дороги было трудно. Под утро весь лес заполнился соловьиным пением. Казалось, на наши проводы собралось все соловьиное царство.

Утром мы вышли из леса. Перед нами расстиралась бесконечная равнина с уходящей на запад двойной полосой серой грунтовой дороги и зеленой ленты посадок справа. За спиной, из-за леса, поднималось яркое весеннее солнце, обещая жаркий и тревожный день летной погоды. Опасения нас не обманули. Два раза в этот день появлялись одиночные самолеты, сбрасывали бомбы и строчили из пулеметов по посадкам.

Только ночью, на второй день марша, оставив за посадками несколько свежих могил, мы дошли до большого прифронтового села Мироновка. На пологих берегах речушки собрались войска всех родов: стрелковые части, артиллерия, кавалерия, саперы. Немногочисленные фронтовики, уцелевшие от кровавых зимних боев, все еще ходили в ватниках и ушанках. Как вороны, слонялись в гражданской одежде только что мобилизованные колхозники, вряд ли умевшие стрелять из винтовки.

На фронте было так же голодно, как и в тылу, и наши надежды на лучшее питание не осуществились. Правда, стали давать по сто грамм водки в день.

Политотделы развернули усиленную работу. Читались сводки, проводились беседы. Бойцы задавали осторожные вопросы. У многих были на уме слова, кем-то сказанные на походе: "И куда они нас опять гонят, в мешок же идем!" Продолжалась комедия приема в партию с нажимом. Власти рассчитывали на то, что партийный боец будет лучше воевать, зная немецкое отношение к коммунистам. Но успех был невелик. Прикидывались дурачками, иные утверждали, что не чувствуют себя достойными такой великой чести. Разыгрывались двуличные сценки, в которых участники прекрасно понимали друг друга. А тут еще на голову политруков свалился новый приказ о расстреле бойцов, потерявших винтовку или катушку с проволокой. Как объяснить все это бойцу?

Фронт был удивительно спокоен. Время от времени обе стороны постреливали из минометов. Изредка в голубом небе появлялись одинокие самолеты, сбрасывавшие смертельный груз на наши головы. Кажется, самое страшное не смерть людей, а вид смертельно раненых лошадей. В глазах их столько муки и страха, что выворачивается душа!

Ночами выставались многочисленные караулы, арестовывавшие каждого, отошедшего на несколько шагов по нужде. Делалось все, чтобы остановить частые переходы на сторону немцев.

11 мая вечером был прочитан приказ Тимошенко к войскам Юго-Западного фронта о наступлении. Тихим весенним вечером можно было наблюдать картины, повторяющиеся столетиями: русские солдаты задумчиво и медленно переодевались в чистое белье перед боем.

Ночью мало кто спал. В 6.30 утра наша артиллерия открывала огонь по немецким позициям и наблюдательным пунктам. В 7.00 огонь был перенесен на тылы, и в атаку пошла пехота. Левее наших позиций наступала часть, вооруженная только саперными лопатками.

К месту небольшая справка. По мнению иностранных военных историков, Харьковская наступательная операция весны 1942 г. — наиболее замолчанный эпизод 2-й Мировой войны. Особенность этого периода та, что судьба давала в руки немцев последнюю возможность успешно закончить войну, при условии ставки на антисоветские настроения широких кругов населения. После Харькова вера в немцев как союзников в освобождении от коммунистической тирании пошла на убыль. В немцах стали видеть не союзников, а врагов.

В зимних боях января-февраля, а затем марта 1942 г., Красная армия, ценой больших усилий и тяжелых потерь, потеснила немцев и, заняв узловую станцию Лозовую, перерезала важный железнодорожный путь, соединявший Харьков с Донбассом. Образовался т.н. "Барвенковский выступ", вклинившийся в позиции немцев приблизительно на глубину 90 км и ширину по фронту около 80 км.

На Лозовой были обнаружены сложенные штабелями трупы советских военнопленных, погибших от голода, холода, болезней и расстрелов. В центральных печатных органах появились фотографии и страшные рассказы переживших немецкий плен. Впервые страна могла воочию убедиться в зверствах немцев и их действительных целях в этой войне. Но вопрос заключался в том: многие ли, кроме очевидцев, поверили этим сообщениям в печати, известной своей лживостью?

Как ни скромны были зимние успехи Красной армии, но они открывали дальнейшие соблазнительные перспективы для советского командования. Командующий Юго-Западным направлением маршал Тимошенко, при поддержке члена военного совета Хрущева и начальника штаба ген. Баграмяна, представил в Ставку амбициозный план прорыва с Барвенковского выступа к Днепру с последующим движением вдоль течения Днепра на юг, на Херсон и Николаев, с выходом к побережью Черного моря. В окружение попадала вся южная группировка противника. В тесном взаимодействии всех родов войск трех фронтов, Южного, Юго-Западного и Брянского, предполагалось ее уничтожение.

Ставка план отклонила, обосновав свое решение недостатком резервов для операции такого масштаба. Сталин, несмотря на донесения разведки глубокого тыла и шпионской организации "Красная Капелла" о готовящемся весенне-летнем наступлении немцев на юге, был загипнотизирован московским направлением, на котором и продолжал концентрировать имеющиеся резервы. Все же Ставка разрешила произвести местную наступательную операцию с целью освобождения Харькова — второго по величине города Украины. В Харькове были сосредоточены штабы, склады и госпитали 6-й армии ген. Паулюса, погибшей позже в Сталинграде.

Такова официальная версия. Но, принимая во внимание высказывания ряда высокопоставленных особ — Хрущева, ген. Москаленко и др., а также органов пропаганды, вещавших не более и не менее как об освобождении Украины, задуманные масштабы и цели операции были более значительны. Вернее, они прогрессивно росли с приближением начала кампании. Военное искусство, даже на оперативном уровне, подменялось буйной фантазией. По-видимому, после занятия Харькова планировался, как и в ранних вариантах, прорыв к Днепру.

По новому плану, в наступлении участвовал только Юго-Западный фронт. Две ударные группировки этого фронта, южнее и севернее Харькова, 12 мая начинали наступление по сходящимся направлениям с целью окружения и захвата города.

Южная группировка, наступавшая с Барвенковского выступа, состояла из 6-й армии ген. Городнянского и армейской группировки ген. Бобкина, которой был придан наш полк. Южнее этих войск на Барвенковском выступе в активной обороне стояли 57-я и 9-я армии Южного фронта ген. Малиновского. Наступавшие войска имели 4-5-кратное превосходство в живой силе, многократное в танках и артиллерии.

Приблизительно в то же самое время, когда штаб Тимошенко во главе с ген. Баграмяном корпел над планами харьковской операции, немецкий Генеральный штаб завершал составление планов среза Барвенковского выступа как прелюдии для удара на Кавказ и к Волге. Операция получила кодовое название "Фридрикус I".

Срез Барвенковского выступа производился — с юга, со стороны Славянска, — механизированными дивизиями ген. Клейста, а с севера, навстречу, — частями 6-й армии ген. Паулюса. Начало операции назначалось на 18 мая.

Так и случилось, обе стороны планировали наступление на одном и том же участке и почти в одно и то же время. Обе стороны убедили себя в слабости противника. Все же Тимошенко имел большое преимущество. К началу его наступления немцы были заняты перегруппировкой войск. Для немцев переход в наступление частей Красной армии был большой и неприятной неожиданностью,

грозившей сорвать все их весенние планы. Нельзя сказать, что немцы не знали о концентрации советских войск на харьковском направлении, но они не придавали ему должного значения.

Но вернемся к нашему повествованию. Слабые немецкие части не оказали никакого сопротивления и отступили без боя. Пехота начала преследовать врага. Сорвались и двинулись вперед наши батареи. Время от времени они разворачивались и вели огонь по путям отступления.

Передовая немцев оказалась основательно развороченной нашими снарядами. Лежали убитые. Их еще не успели целиком раздеть. Наиболее ценились немецкие сапоги и ботинки, а также алюминиевые котелки и фляги. У нас таких удобных котелков не было. Наши были круглые — как жестяные кастрюли с дужкой, очень неудобные в армейской жизни. Фляги нам выдали стеклянные, и они незамедлительно разбились. Но с убитых немцев снимали и все остальное, включая нижнее белье.

Мы все спешили к первому освобожденному селу. Оказалось, что передовые части пропустили пекарню со свежее выпеченным хлебом. Но эта новость не остановила меня. Другой, более животрепещущий интерес владел мною. Хотелось мне узнать из первых рук — как жили люди под немцем? Наш политотдел распространял брошюры, в которых красочно описывались ужасные условия жизни и страдания наших людей. Особенно поразила меня деталь отсутствия у жителей спичек. Огонь, как в древние времена, будто бы хранился в одном месте. Хозяйки за получение огня должны были платить определенную мзду огнехранителю.

Иду по главной улице села. Она пуста. Без энтузиазма встречал народ своих освободителей. Но вот у ворот стоит еще молодая женщина с ребенком на руках и девочкой, прячущейся за материнскую юбку. Женщина приветливо улыбается. Со вспыхнувшей вдруг печалью говорит:

— Так и мой муж где-то воюет!

Состоялся следующий разговор на украинском языке:

— Ну, как же вы жили под немцами?

— Так и жили! — говорит она нараспев.

— Ну, что сделали немцы, когда пришли в село? — допытываюсь я.

— Да ничего! Разбили кооператив, масло забрали, а макароны нам отдали!

— А дальше что было?

— Ну, мы поделили колхоз. Я сложила свое зерно в сени. Тогда поставили ко мне солдата. Но стала я замечать, что он ночью по нужде не выходит во двор, а идет к мешкам с зерном. Или он темноты боялся, или партизан — не знаю. Ну, я его подстерегла и дала ему

по морде. А потом пошла и сказала коменданту. Комендант поставил всех солдат и начал ему выговаривать.

— Ну, а дальше что было?

— Да ничего! Солдат был не злой, а еще и в хозяйстве помогал.

Посмеялись мы с ней немного и разошлись. Может быть, подобная встреча населения с немцами и не была характерна. Но несомненно характерна встреча с освободителями. В этом селе нескольких женщин расстреляли за укрывательство немецких солдат, не успевших уйти.

К концу дня у нас оказалось около десяти пленных. Наши бойцы окружили их и с интересом разглядывали. Некоторые радостно им сообщали: "Гитлер капут!" Немолодой солдат в белой рабочей одежде охотно кивал головой и соглашался: "Йа, йа, капут!" Ему насыпали в бумажку махорки. Руки у солдата мелко дрожали. Кто-то свернул ему сигарку и дал прикурить.

За селом, в поле у дороги, также лежали немецкие убитые и раненые. Особенно запомнился солдат с перебитыми ногами. Он лежал у самого края дороги и, опершись на локти, смотрел на нас. Взгляд его был совершенно спокоен. Но уже как бы удален от всего земного. Может быть, он предчувствовал, что ему уже не увидеть завтрашнего дня, и смирился с этим. Наш санитар, молодой парнишка, пошел перевязывать раненых. Но, откуда ни возьмись, на него налетел разъяренный политрук. Хватаясь за кобуру револьвера, он кричал: "Ты что это, спасаешь врага?! Тратишь народное имущество! Да тебя расстрелять мало!" Мы со страхом наблюдали сцену, боясь, что политрук исполнит угрозу.

Когда мы остановились на ночевку, комсорг собрал несколько добровольцев, и они, громко смеясь, пошли испытывать захваченные немецкие гранаты на раненых немцах. Пришел конец и пленным. Их расстреляли короткими очередями из автомата за соседним холмом.

Так прошел памятный первый день наступления. На следующий день я получил нагоняй от того же комиссара полка. Мы остановились в селе, на окраине которого было немецкое кладбище. Я полюбопытствовал посмотреть его. Ухоженные могилки с белыми крестами и касками на крестах выглядели, как солдаты на параде. За рассматриванием крестов меня и застал комиссар. Он сразу же перешел в крик:

— Вы что здесь делаете?

— Да, вот, смотрю, сколько мы уничтожили фашистов!

— Не ваше дело здесь быть!

Комиссар, видимо, не желал невыгодного сравнения с нашей небрежностью к убитому солдату, жалкими похоронами где попало, в неглубоких могилах без крестов и надписей. Позже такие немецкие кладбища разрушали.

Последующие дни мы продвигались вперед, не встречая сопротивления немцев. Нашей целью был г. Красноград. Но, не доходя

до него, мы как-то самопроизвольно остановились. Творилось что-то неладное. И тут впервые прозвучали зловещие слова: "Мы в мешке!"

Утром 18 мая я попался на глаза какому-то штабному командиру и был послан вперед, наблюдать за врагом. Вместе с разведчиком и связистом мы отправились за село, в котором расположился наш полк. Поставив стереотрубу возле старого окопчика, принялись за наблюдение невидимого врага. Но скоро, пригретые ласковым весенним солнышком, стали подремывать. Оставив разведчика у стереотрубы, мы со связистом крепко уснули. Сквозь сон я услышал шелестящий звук летящей мины и недалекий взрыв, другой, третий. Обстреливали нас с противоположного холма. Начался также обстрел села. Связист стал звонить в штаб, но связи не было. Мы, собрав стереотрубу, бросились к селу. Связист отстал, сматывая провода. На дороге уже горела подожженная снарядом телега с хлебом. Ездовой, отцепив коней, мчался к селу. Когда мы добежали до штаба, оказалось, что часть здания штаба ровненько срезана снарядом. Пушки, кухни, обоз в беспорядке двигались на восток. С этого дня началось всеобщее отступление. Только наша артиллерия оказывала сопротивление немцам, ведя ночами заградительный огонь. Впрочем, эффективность огня следует поставить под сомнение: немцы ночами не наступали.

Армия разлагалась на глазах. Вчера еще подтянутый красноармеец, сегодня уже ходил с оторванным хлястиком шинели и с глубоко гражданским видом. Начались тяжелые налеты авиации. Пикирующие бомбардировщики терзали обнаруженные цели — а их было много в открытой степи. Глухо вздрагивала земля от разрывов. Черный фонтан украинского чернозема взметался до небес. Многие из нас постигли сложное искусство уклоняться от сброшенных юнкерсами бомб. Все же самые тяжелые потери нанесла нам именно авиация, безнаказанно, на бреющем полете, обстреливающая нас.

Одним из первых погиб командир полка. Фамилии его я, к сожалению, не помню. Он был ранен осколком в ногу и через неделю умер от заражения крови. Статный, красивый кадровый командир. По слухам — бывший офицер царской армии. Пользовался большим уважением командиров и красноармейцев. Позже погиб и комиссар полка. Он был убит разорвавшейся вблизи бомбой, когда ехал на лафете орудия. Как и всех политработников, его считали представителем ненавистой власти.

В двадцатых числах мая отступающие по всему фронту войска оказались сжатыми со всех сторон в северо-восточной части бывшего Барвенковского выступа. Теперь к регулярным дневным налетам авиации присоединилась артиллерия. Красноармейцы выбрасывали все немецкое: ходили слухи, что за любую найденную вещь немцы расстреливают. Я бросил тяжелый дальномер французского происхождения, подобранный в первый день наступления.

Однажды ночью я зашел в крайнюю хату какого-то села, в окне которой мигал свет. В хате размещался лазарет. При раненых находилось два санитар. Воздух был невыносимо тяжел, стонали раненые, снаружи доносился шум моторов последних машин, покидавших село. Утром здесь будут немцы.

Я поинтересовался — где доктора? Санитар махнул рукой:

— Третьего дня сбежали!

— А вы как же?

— Мы раненых не бросим, — ответили санитары.

Пожилые, неказистые, они показались тогда героями. Но позже закралось сомнение — не было ли это просто благовидным предлогом, чтобы перейти к немцам?

При отступлении я следовал за пушками. Надобности в этом большой не было: снаряды были израсходованы. Но пушки спасли мне жизнь. Случилось это так. Я сидел на камне недалеко от орудий и следил за виражами юнкеров, клевавших какую-то жертву. Вдруг я увидел приближавшуюся ко мне группу командиров. Но что меня сразу поразило — все командиры были без фуражек и шли тесно прижавшись друг к другу. Подойдя ко мне, передний спросил:

"Где ваша часть, товарищ сержант?" Я показал на орудия. Командиры круто повернули, направились к стоявшему невдалеке красноармейцу и задали ему, вероятно, тот же вопрос. Вдруг передний командир шагнул в сторону, за ним оказался другой с револьвером в руке. Прозвучал негромкий выстрел. Красноармеец упал. Командиры дружно повернули и зашагали в сторону. Когда я подошел к солдату, он уже не двигался. На груди расплзлось черное пятно крови. Я предполагаю, что это была группа энкаведистов или же комиссаров, наводивших "порядок". Сколько они убили неповинных людей, сказать трудно.

В окружении исчезли командиры, особенно высоких рангов. Этим отчасти объясняется, что наши части не сопротивлялись. Только уже в последний день перед пленом появился какой-то храбрый капитан и начал сколачивать группу прорыва. Собрал он около двух сотен бойцов. План состоял в том, чтобы следовать за танками, которые, собственно, и должны были прорвать фронт, так как у большинства из нас винтовок не было с самого начала наступления. Из леса выползли наши танки. Я насчитал их около 50 штук — все Т-34. Танки, развернувшись, бодро покатили на восток. За ними на некотором расстоянии следовали мы. Вдруг далеко впереди сверкнул огонек, другой, третий. Затем долетели негромкие звуки выстрелов. Передние танки начали гореть. Мы залегли. Часть танков продолжала идти вперед, другая повернула назад. Минут через двадцать все было кончено. На поле осталось десятка два догорающих танков. Капитан исчез. На этом поле мы и заночевали.

2. ПЛЕН. ПУТЬ В ГЕРМАНИЮ

Утро встретило нас необычайной тишиной. Не летали самолеты, молчали пушки. Часов в 10 утра мы заметили группы людей, шедших по дороге. Присмотревшись, увидели, что это немцы гонят наших красноармейцев. Мы поняли, что все кончено. Нас оставалось человек десять. Начали обсуждать, что делать дальше. Но судьба решила за нас. Показалась редкая цепь немецких солдат. Они прочесывали местность и собирали пленных. Бежать было некуда. Кое-кто поспешно закапывал документы. Я спрятал свои чертежные инструменты. При приближении солдат мы встали и подняли руки.

Что же случилось? Почему так удачно начатое наступление обернулось крупным поражением?

Как выяснилось много позже, наступающие части прорвали немецкий фронт только южнее Харькова, на Барвенковском выступе. Иначе положение сложилось севернее Харькова, на Волчанском направлении. Здесь наступающие дивизии сразу же натолкнулись на упорное сопротивление немцев. Только местами удалось продвинуться на 5-10 км, но фронт прорван не был. На третий день наступление фактически выдохлось. Между тем, войска 6-й армии ген. Городнянского, продвинувшись на 25-30 км на запад, топтались на месте. На третий день наступления, согласно плану, ген. Городнянский должен был вводить в бой за Харьков танковые корпуса. Но Тимошенко задерживал наступление, все еще надеясь на прорыв со стороны Волчанска. Только 17 мая он отдал приказ. Но было поздно. В этот же день, раньше запланированной даты, по личному приказу Гитлера, моторизованные дивизии Клейста рванулись в "однорукое" наступление вдоль Донца. То самое, на которое так долго не мог решиться Тимошенко. Через несколько часов фронт 9-й армии был прорван. В конце второго дня танковые колонны немцев достигли г. Изюма и перерезали коммуникации трех или даже четырех армий. 22 мая окружение было завершено. 27 мая окруженные сложили оружие.

О размерах поражения свидетельствуют цифры: около 240 тысяч пленных, захвачено или уничтожено 1 200 наших танков, сбито 540 самолетов. Три армии, наступавшие на Волчанском направлении, были обескровлены. О человеческих потерях сведений нет. Но, судя по гибели многих старших командиров, они были значительными. Погибли: заместитель Тимошенко ген. Шерстюк, генералы Городнянский, Бобкин. Боясь расплаты, застрелился недавно вышедший из лагеря командующий 57 армией ген. Подлас.

По сообщениям советских источников, из окружения вырвалось около 20 тысяч бойцов и командиров. По немецким данным — несколько сотен.

Ворота на Кавказ и Волгу оказались широко открытыми. Как дым рассеялись надежды на то, что 1942 год станет переломным.

Гнали нас недолго. На большом поле у села уже были собраны тысячи наших товарищей. Я встретил многих из нашего полка, в том числе земляка, сержанта Виталия К. С ним мы порешили держаться вместе. С едой у большинства дело обстояло благополучно. При отступлении бойцы громили собственные склады и, к своему удивлению, обнаружили там не только сухари и селедку, которыми кормили нас, но и невиданную роскошь — консервы всякого рода и даже сало. Почти у каждого вещмешок был набит продуктами. Не растерялся и мой земляк...

К вечеру немцы привезли несколько бочек воды. Явился румын переводчик. На сносном русском языке он объявил, что советская пропаганда врала о плохом обращении немцев с пленными. Нам нечего опасаться за свое будущее. Верилось и не верилось...

На поле собралась, за малым исключением, колхозная Россия. Когда волнения первых часов плена несколько улеглись, наступила неожиданная реакция — всеми овладело чувство какого-то облегчения. Казалось, огромная тяжесть, давившая плечи много лет, наконец свалилась, и мы впервые в жизни расправили плечи. Развязались языки. Перебивая друг друга, посыпались рассказы один другого горше и страшней: о коллективизации, голоде, пытках, издевательствах, расстрелах. Много горя и слез выпало в прошлом на долю русского народа, но такого лютого, сатанинского, всепроникающего зла еще не бывало! Один местный житель прочитал письмо жены, переданное ему в начале наступления. Простая полуграмотная женщина описывала возвращение в их село советской власти. Энкаведисты собрали всех жителей, отобрали мужчин, начиная с 15 лет, и всех расстреляли в соседнем овраге. Погиб и ее сын. Столько душевной муки и скорби было в ее письме, что, казалось, речь идет не о селе, но обо всей Русской земле. К сожалению, дословно передать этот народный плач я не могу.

Только теперь, в этот момент признаний, частично раскрылись чудовищные размеры доноительства и слежки, пронизывающие организм рабоче-крестьянской Красной армии. Многие рассказывали, как их заставляли быть сексотами. Признался и мой хороший знакомый, что ему было поручено следить за мной. Конечно, он ничего плохого обо мне не написал.

В тот день мы были готовы взять оружие в руки и идти против советской тирании. Высокий подъем духа владел нами.

Теплой ночью я лежал и глядел на далекие мерцающие звездочки. Неизъяснимая радость наполняла меня. Казалось, что черная туча, висевшая над Русской землей, навсегда исчезла с горизонта. А как прекрасна может быть жизнь на свободной земле среди своих людей! Первая ночь в плену запомнилась мне навсегда как счастливейший момент всей жизни.

(Излишне говорить, что одни раньше, другие позже поняли действительные цели гитлеровской Германии на Востоке. Активный

антикоммунизм народных масс был нейтрализован. Все же, значительная группа населения продолжала считать, что хуже и свирепей советской власти на свете ничего не может быть. И нам выпал единственный шанс спасти Россию, а может быть и весь мир, от коммунистической чумы!)

На следующий день немцы установили громкоговоритель и стали вызывать добровольным порядком пленных разных родов войск: летчиков, танкистов, артиллеристов и др. Группами по 50 человек их водили в село. Нашлось много охотников. Вернувшиеся рассказали, что немцы интересовались новыми типами оружия, но как-то поверхностно. Действительной целью вызова было, вероятно, желание выяснить настроения пленных.

Ходил и мой друг. В селе офицер через переводчика задал всей группе только несколько вопросов об английских танках. Находившиеся в группе танкисты ответили. После этого группу отвели в сторону. Виталий подошел к переводчику и попросил разрешения поговорить со старшим офицером. Переводчик отвел его в соседний дом и сказал, что герр майор прекрасно говорит по-русски. За столом в полутемной комнате сидел высокий пожилой офицер, по-домашнему, в очках.

— Господин майор, — сказал Виталий, — я хотел бы поступить в немецкую армию, бороться с большевиками!

Майор подумал и сказал:

— Как же вы будете воевать против своих?

— Я большевиков своими не считаю, господин майор.

— Немецкая армия не нуждается в русских добровольцах. Мы сами справимся с большевиками!

Затем майор спросил:

— А кто вы по национальности?

— Какая разница?

— Для нас есть разница! В будущем всегда говорите, что вы украинец!

Разговор был окончен.

Это был последний день на том месте, где мы сдались в плен. Следующим утром нас передали румынам. Первое, что те сделали, это ограбили нас. Сняли приличную обувь, часы, отобрали автоматические ручки и все более или менее ценные вещи. Ничего этого у меня давно не было. Но один румын соблазнился дрянной записной книжкой...

Когда мы покидали наш временный лагерь, мы видели, как шоферы нашего полка учили немцев управлять английскими машинами.

В походе румыны вели себя вполне дружелюбно. На ломаном русском или немецком языке яростно ругали немцев. Пройдя сотню шагов, солдат снимал с плеча винтовку и стрелял в воздух. Наше движение по степи сопровождалось почти непрерывной

стрельбой. Причина такого странного поведения осталась непонятной. То ли румыны пугали нас, то ли придавали себе храбрости.

С первого дня плена начали циркулировать слухи об освобождении из плена тех, кто жил до войны на оккупированной части Украины. Многократно составлялись списки пленных по областям их проживания. Это продолжалось вплоть до отправки в Германию. Слухи, вероятно, пускали в оборот сами немцы с целью предотвращения побегов: зачем человеку бежать, если его вот-вот выпустят? Но кое-кого немцы действительно освободили — одетых в гражданскую одежду и тех, за кем приходили родственники.

Гражданской одеждой, к моему удивлению, запаслись многие. Я наблюдал такую картину во время марша. Впереди шедший пленный снял на ходу вещевой мешок и достал рубаху. Оглядываясь, он начал переодеваться. Закончил кепкой. Все военное он раздал соседям. На следующей остановке возле сельского колодца стражник-немец, заметив гражданское лицо среди военных, немедленно прогнал переодевшегося. Когда мы тронулись в путь, этот человек еще долго шел за нами вдоль улицы.

Но вернемся к первому дню похода. Под вечер мы внезапно остановились. Румыны выстроили нас в шеренгу по одному. Шеренга растянулась на всю степь. Прошло, вероятно, часа два, прежде чем мы увидели, что происходит впереди. Это было достойно удивления. У дороги стояли три немецких солдата. Один из них набирал кружкой, как оказалось потом, семечки и сыпал их в подставленную пилютку. Второй солдат, стоящий рядом, держал наготове толстую палку и, в свою очередь, бил пленного по голове, плечам или спине. Если пленный пытался обойти этих двух солдат, то получал добавочные удары от третьего немца и загонялся в строй. Такова была первая выдача пищи в плену.

В селе нам дали напиться воды и загнали во временный лагерь — обнесенный проволокой колхозный двор. В этом лагере мы получили баланду, а утром кусок хлеба. Так было и в дальнейшем. После 25-30 км каждый день, нас загоняли на ночь в лагерь. Из этого можно сделать заключение, что немцы наладили организованный отвод пленных в тыл. На второй или третий день конвоирами стали немцы.

Нам с Виталием не во что было получать баланду. Котелков мы не имели и подставляли пилютки. Но скоро мы додумались и сшили себе мешочки из прорезиненного материала, привезенного мной еще из Москвы. Немцы в один из налетов на город сбили воздушный баллон, поддерживавший заградительную сетку. Часть этого баллона досталась нам. Многие, в том числе я, выкроили себе куски, заменявшие плащ-палатки. Моя серебристая плащ-палатка спасала от дождя и холода и в армии, и в плену.

Через несколько маршей мы достигли Полтавы и остановились снова в каком-то колхозе в предместье города. В этом лагере охрана

была посолидней. Стояли вышки с часовыми и проволока была погуще. Здесь мы задержались на несколько дней, прошли первую регистрацию и получили картонные карточки с номерами. После этого начались поиски евреев. Велись они так. Пленных по одному выпускали из лагерных ворот мимо двух чинов в черных формах. Один из них смотрел выходящему прямо в лицо, другой в профиль. Вышедший затем направлялся к столу, у которого солдат ставил печать с надписью "gerüft" (проверенный).

После этой процедуры нас загнали в другой отсек лагеря. Посредине стоял сарай, в котором под вечер заперли обнаруженных евреев и комиссаров — человек, вероятно, 10-12.

Молодой еврей выглядывал в дверную щель и просил закурить. В обмен он предлагал новую пилотку. Но курева ни у кого уже не было. Затем он влез на чердак и просунул голову в небольшое слуховое окно. Представившаяся картина огромного числа пленных поразила его. Он принялся нас укорять: "Эх вы, вояки, как же вас столько попало в плен?" Никто не отвечал.

Всю ночь парень пел песни с тоскливым надрывом. Песня плыла над затихшим лагерем и таяла в черной темноте июньской ночи. Многие не спали, слушали его лебединою песню.

Утром заключенных увели. Знакомых лиц не было. Евреев у нас в полку было мало. За исключением одного — все политработники.

Позже прошел слух, что заключенных расстреляли.

Откуда та покорность судьбе, с которой люди шли на смерть? Сарай не охранялся, из него легко можно было вылезти и пробраться к проволоке. Почему же они не пытались бежать?

И вообще, на этапах и из транзитных лагерей бежать было не так трудно, и, вероятно, побегі были, но мало. Почему? Удерживали невыясненность обстановки и ложные надежды на немцев.

Случаев убийства пленных на этапе я не видел. В одном из транзитных лагерей стражник, по-видимому от безделья, пустил ночью пулеметную очередь по спящим. Были убитые и раненые.

В селах жители, обычно женщины и дети, бросали в строй куски хлеба, вареную картошку. Мы были уже голодны и сбивались в толпу, стараясь поймать брошенный продукт. Немцы стреляли в воздух и отгоняли женщин, но те не уходили, пока не раздавали все, что имели.

Немцы уверенно, коваными сапогами попирали русскую землю и с презрением смотрели на нас. Как слеп и вздорен человек! Не знали они, что смерть стоит за углом! Почти все лягут костями в Сталинграде. А уцелевшие безмолвно опустятся в снег, когда их после пленения несколько суток будут гонять по многокилометровому кругу.

В Полтаве нас погрузили в вагоны и повезли дальше на запад. Ехали мы медленно, окна вагонов были открыты и можно было наблюдать течение мирной жизни за окном. По дороге идут старик

с палкой и девушка в белой косынке. Далеко в поле работают люди. С тоской смотрел я на юг, где был мой дом и мои родные. Что с ними? Как пережили они смену власти? Увижусь ли я с ними когда-нибудь?

Сгрузили нас в Бердичеве в большом пустом лагере на окраине города. Полицейский рассказывал: "Посмотрите вон на те холмы! Там лежат 50 тысяч вашего брата, погибшего прошлой зимой!" И прибавил, полуоправдываясь: "Что же, голод не тетка. Когда прижмет, поцелуешь немца в самую ж...у!"

Из Бердичева, уже товарными вагонами, с решетками на окнах, нас отправили дальше. Теперь не было сомнения, что нас везут в Германию через Польшу. Некоторые нашли и в этом утешение: "Значит будем живы! Не может быть, чтобы немцы везли нас в Германию уморить голодом. Это они могли сделать и здесь!"

Под равномерный стук колес я уснул, благо на полу было место. Проснулся от крика. Поезд стоял в лесу. Вдоль насыпи бегали полицейские и что-то кричали. Вдруг на противоположной стороне вагона я заметил дыру. Были выломаны две доски. Оглянувшись — а нас в вагоне считанные люди. Оказалось, ночью группе пленных удалось каким-то образом выломать доски и спрыгнуть с поезда. А я спокойно спал! Так вклиняется случай в судьбу людей. Если бы я проснулся, то вряд ли бы устоял от соблазна оказаться на свободе, и судьба моя пошла бы совершенно иначе!

Выгрузили нас в большом лагере в г.Седльце под Варшавой. Сюда свозили также пленных, взятых в Крыму — в Севастополе и Керчи. Примечательно было то, что нас прилично кормили и мы скоро физически окрепли. Но, по рассказам поляков, с которыми мы сталкивались на работе, прошлой зимой и здесь погибли многие тысячи советских военнопленных.

Сравнительно приличное обращение с пленными, попавшими в плен весной 1942, объясняется затянувшейся войной и потерями немцев на фронтах. Новые контингенты военнопленных должны были стать рабочим скотом и заменить немцев, ушедших на фронт. Все же я не рискую утверждать, что новая политика в отношении военнопленных проводилась последовательно. Во многих лагерях на оккупированной территории пленные умирали от голода еще и в 1942 году.

В седлецком лагере я пробыл около месяца. Здесь я расстался со своим дружкой Виталием. Уже не помню каким образом, но попал он в партию пленных, отправляемых в Норвегию. Всем им выдали шинели, сапоги и зимние шапки. Печально было терять друга.

Пришла и моя очередь. Набив до отказа вагоны, нас повезли на запад. Сидеть из-за тесноты было невозможно. Но хуже было отсутствие воды и уборной. Так простояли мы больше суток. Поезд остановился ночью на товарной станции Берлина. Нам разрешили выйти из вагонов и дали напиться воды.

На этой остановке мы впервые увидели концлагерников-евреев, разгружавших открытые площадки с углем. Все были в полосатых одеждах. Охранников вблизи не было и некоторые из них подошли к нам. Завязался разговор на ломаном русско-польском языке. Один спросил: "Товарищи! Когда же русские придут нас освободить?" Что мы могли ответить? В то время немцы подходили к Волге и судьба советской власти висела на волоске. Все же, кто-то сердобольный уверил: "Русские придут, обязательно придут!" Он оказался прав...

У евреев все было просто и ясно: их врагом была фашистская Германия. У нас все сложно и врагов побольше. Спорно также, кого считать врагом № 1.

Из Берлина нас повезли снова на запад. Направление угадывалось по недолгим остановкам на станциях больших городов. Из окна иногда удавалось разглядеть аккуратно возделанные поля, красивые благоустроенные деревни. Какая разница с нищей колхозной Россией!

На остановках мы жадно рассматривали хорошо одетую немецкую публику. Неужели среди них был и простой рабочий люд? Немцы провожали нас хмурыми взглядами. Девушки расточали улыбки конвоирам. Запомнилось лицо бюргера. Он что-то говорил солдату, указывая на нас пальцем. Его лицо сияло гордой, нескрываемой улыбкой победителя. Мы были видимым доказательством мощи Германии Гитлера.

Не помню уже, на какие сутки пересекли мы границу Франции. Выгрузили нас в бывшем военном городке около линии Мажино. Городок бомбили, но пострадал он немного. Остановились часы на башне у входа. Они показывали время 2 ч. 23 м. Лагерь был благоустроенным. Дорожки усыпаны галькой, везде цветы и кусты роз. Мы, по-видимому, были первыми советскими военнопленными, попавшими сюда.

Нас встретил комендант лагеря. Несколько минут он что-то говорил молодому переводчику в польской офицерской форме, но без фуражки. Затем переводчик обратился к нам. Мешая украинские и польские слова, он сказал следующее:

— Братья! Эта немецкая свинья говорит, что вам оказана большая честь работать на великую Германию! Поэтому вы должны честно и примерно трудиться! С теми, кто будет так работать, будут хорошо обращаться и кормить. Но если кто будет увиливать от работы — расправа будет короткая! Братья! Наши народы вместе проливают кровь за свободу. Сделаем все, чтобы помочь им! Мы победим!

Я догадался, что фуражку поляк снял, чтобы не приветствовать немца.

Немец во время речи переводчика покровительственно кивал головой и повторял: "Йа, йа!"

Мы молча выслушали речь смелого поляка. Особого энтузиазма она у нас не вызвала.

После этого нас повели в баню. Из нее мы вышли совершенно голыми, имея только пояс, ботинки и консервную банку. Мы не представляли себе, что в таком виде нам придется пробыть девять дней. Хотя был август месяц, но погода стояла на редкость холодная и дождливая. Днем мы бродили по большому двору в поисках укрытия. Ночью немцы пускали в казармы. Но найти место прилечь было трудно даже на цементном полу, не говоря уже о трехэтажных койках. Я ухитрился подлезать под сетку нижней койки, что можно было сделать только в одном положении: лежа на спине. От скопления множества людей в казарме было даже жарко, но спина немилосердно мерзла, и мне время от времени приходилось выбираться из своего убежища и тревожить лежавших и сидевших рядом. В шесть часов утра немцы выгоняли нас во двор.

Но это были еще не все испытания, которые нас ждали в этом лагере. Мы приехали уже изможденные от долгого пути и дорожного недоедания. Но никакой еды мы не получили. Так повторилось и на следующий день. С надеждой взирали мы на здание, где, по предположениям, находилась кухня, но никаких признаков жизни там не наблюдалось. На третий день мы принялись за цветы и лепестки роз, затем бутоны. На четвертый день ели листья и молодые побеги.

Многие уже не поднимались на ноги, когда на пятый день нас начали строить для получения баланды. И в этот день шел холодный дождь. Солдат в плаще следил за порядком в очереди. Но вдруг он заметил вопиющее нарушение — один из пленных где-то раздобыл старый мешок и укрыл им плечи. Солдат подкрался к преступнику и начал его избивать палкой.

На десятый день мы получили вещи. Мне достались куцые штаны и рубаха. С печалью я заметил свою серебристую плащ-палатку у какого-то счастливчика.

Задержка одежды объяснилась просто: французская вошебойка не дезинфицирует одежду горячим паром, как у немцев; вместо этого одежда пересыпается серой и лежит так девять дней. Почему нас не кормили пять дней — осталось загадкой. Может быть, комендант решил: раз не работаем, то нам в великой Германии и есть не положено. Многих от тяжелого истощения организма, а то и смерти, спасла вода, которой было достаточно.

В этом лагере мы получили новые карточки. Мой номер 32864 запомнился мне навсегда. Обычно такие карточки выдавались в шталаге (коренной, сборный лагерь). Но, вероятно из-за наплыва пленных, нас отправили не в шталаг, а в пустой офицерский лагерь. Этим я объясняю то, что на моей карточке было отпечатано слово "офлаг" (офицерский лагерь) вместо обычного "шталаг". Позже эта карточка доставит мне лишние неприятности.

В плену многие меняли свои фамилии. Одни старались скрыть свое армейское прошлое. Другие боялись за судьбу родных: репрессии к семьям лиц, попавших в плен, не были пустой фразой. Наконец, третьи предпочитали украинские фамилии. И, конечно, меняли фамилии евреи.

Из этого лагеря направляли в рабочие лагеря. Я попал в рабочую команду на металлургический завод в г. Франкентале, записавшись токарем.

Когда мы уезжали, лагерь выглядел так, как будто здесь пролетала саранча и съела всю зелень, оставив только голые ветви.

3. РАБОЧИЙ ЛАГЕРЬ ВО ФРАНКЕНТАЛЕ

Всего в лагере, считая наше пополнение, находилось 200-250 пленных. Жили мы в стандартных деревянных бараках, выкрашенных в зеленую краску. Изобретение этих жилищ, покрывавших в военное время всю Германию, принадлежало известному архитектору Альберту Шпееру.

Барак вмещал около 50 человек. В конце барака находилась умывальня с холодной водой. Кровати были двухэтажными, с соломенными матрасами, покрытыми серыми хлопчатобумажными одеялами. Таким же одеялом укрывались. Печь в бараке была, но она не топилась, даже зимой.

Всего барачков было пять. Они располагались вдоль проволоки на небольшом расстоянии друг от друга. Напротив барачков находилась кухня и столовая. По левую сторону — большая крытая уборная. Направо от столовой были ворота с будкой для часового. Лагерь был огорожен высоким проволочным забором. Вышек и часовых за проволокой не было. Двор покрыт крупным шлаком.

На ночь бараки запирались. В каждом бараке ставилась параша, которую дежурные должны были выносить сразу же после подъема в 5 часов утра.

Комендантом лагеря был пожилой фельдфебель, призванный из запаса. Вид имел туповатого служаки. Занимался, хотя и не часто, рукоприкладством. Строго следил за чистотой и порядком. В распоряжении коменданта находились два полица, западных белоруса, и переводчик Андрей, русский лейтенант. Передавали, что до Андрея были случаи избиения пленных полицаями, но новый переводчик это прекратил. Однако в сердцах Андрей сам отвечивал оплеуху и крыл матом зарвавшегося пленного, за что потом извинялся и давал пайку хлеба.

В лагере нас переобмундировали. Забрали все советское. Выдали нижнее белье и верхнюю одежду, состоявшую из куртки и брюк образца Первой мировой войны. На правом колене и спине красной масляной краской были выведены буквы SU (Советский Союз).

Обувью служили большие деревянные колодки, очень неудобные для ходьбы. Быстро двигаться или бежать в колодках можно было двумя способами: не отрывая ног от земли на манер лыжника, или же высоко поднимая ноги, подобно породистому рысаку. Колодки стали опознавательным признаком советского пленного. Пленные других государств носили собственную обувь. В баню нас водили в город каждую вторую субботу. Там же выдавали стиранное нижнее белье.

Ели мы в столовой. Утром давали буханку хлеба на пять человек, ложку брюквенного мармелада и поллитра эрзац-кофе. Иногда вместо мармелада давали грамм 15 маргарина.

В 6 часов было построение. Комендант считал пленных. После этого мастера забирали свои бригады на работы. Идти на завод было недалеко — не больше квартала. Завод и лагерь стояли на окраине города. В полдень в перерыв из кухни нам приносили бачок кофе. Иногда на дне мы обнаруживали куски хлеба. Кто-то на кухне жалел нас.

Вечером около 6 часов мы возвращались с работы и получали запоздалый обед — большой черпак брюквенного супа, заправленного мукой. В 8 часов получали пустой кофе. В общем, было голодно и еда занимала главное место в жизни.

Спасало то, что работа не была слишком тяжелой. В цеху я вначале был на подсобной работе: подавал детали, убирал стружки, подметал. Но затем меня поставили на токарный станок. Кстати сказать, этот станок был предназначен для Советского Союза: все таблички и объяснения были написаны на русском языке. От того, что я стал токарем, я ничего не выиграл. Помощь пришла с другой стороны.

У меня давно была повреждена кость на среднем пальце левой руки. Однажды, поднимая тяжелую болванку, я прижал палец к станине. От боли я потерял сознание. Чудом считаю, что при падении не разбил голову и ничего себе не повредил. Немцы, предполагая, что я упал от слабости, перевели меня в категорию тяжелоработающих. Преимущество заключалось в том, что теперь я получал четвертую часть полуторафунтовой буханки, а не пятаю. Переводчик Андрей по этому поводу заметил, что дурить немцев вовсе не грех. Он не верил моему обмороку.

Мы не были первой партией пленных, прибывших на этот завод. До нас здесь уже работали русские, попавшие в плен в 1941. Все они были кадровиками. Пережив страшную зиму 41-42 гг., они утратили все иллюзии в отношении немцев и их политики. Пленные "первого захода" с жадностью расспрашивали нас о положении на фронтах. Обычно собрания происходили возле уборной. Я рассказывал, что немцы все еще идут вперед, но не имеют таких успехов, как раньше. Слова ловились на лету и глубоко переживались.

Соседи по койке стали моими приятелями. Вначале я сошелся со студентом третьего курса Харьковского университета Павлом И. Он знал немного немецкий язык и вызвался заполнять карточки при нашем прибытии в этот лагерь. Мы работали в одном цеху и говорили на разные темы. Сходились мы и в критике советской системы. Но с некоторых пор я стал замечать, что Павел как-то переменялся. Замкнулся и все что-то думает. Однажды, когда нас только что привели на завод и мастер стал указывать нам рабочие места, Павел ступил шаг вперед и громко сказал: "Я больше на врагов работать не буду!" Все застыли, глядя на него. А он стоял с высоко поднятой головой и сжатыми кулаками. Мастер растерялся. Помнившись, вызвал охрану. Спешно прибыли два пожилых заводских охранника. В черной форме, низкие и толстые, они напоминали жуков. Охранники подхватили Павла, стоявшего к ним лицом, под руки и повели его спиной вперед, что было очень неудобно и охранникам, и Павлу. На лицах охранников был испуг.

Когда мы вернулись в лагерь, Павла уже не было. Комендант сообщил переводчику, что Павла отправили в концлагерь. К счастью, это оказалось неправдой. Позже я видел его. Но концлагерь в Германии за подобные действия был обеспечен. Не знаю, кто спас Павла, думаю, дирекция завода. И здесь не без добрых людей. Отказ работать на немцев, независимо от того, по каким соображениям Павел пришел к этому решению, наиболее героический поступок, виденный мной в плену.

Второй сосед, с которым я подружился, был небольшого роста нескладный парень. Вид у него был заговорщицкий, как будто он бережно хранил важную тайну. Фамилия его была Щербаков. Настроен он был просоветски. Мечтал о постройке радиоприемника и слушании советских передач. Я прозвал его "таинственный Щербаков". Узнав меня ближе, он открыл, что служил в пограничных войсках и был сверхсрочником. Я тогда не знал, что погранчасти принадлежали к войскам НКВД. Его признание не произвело на меня никакого впечатления.

Некоторые немцы-рабочие сочувствовали нам и нередко помогали. Рабочий у точильного станка как-то шепнул мне: "Шталинград нихт капут!" В то время шли тяжелые бои в Сталинграде. После он регулярно сообщал мне о положении на фронтах. Другой рабочий-фрезеровщик, когда мы работали в ночной смене и не было сменного мастера нациста, вел со мной длинные беседы о жизни в Советском Союзе. Был он бывший социал-демократ и считал Советский Союз раем для рабочих. Я ему описывал настоящее положение вещей. Не уверен, что его убедил. Люди подчас отталкиваются от правды, даже если она очевидна. Однажды, по поводу какого-то праздника, этот рабочий принес бутылочку коньяку, которую по микроскопическим порциям и спойл мне. Я бы предпочел кусок хлеба или картофелину.

Жизнь в лагере не была легкой: долгие часы работы в холодном цеху, где температура была ниже нуля, придирки и крик мастеров-нацистов, недостаточное питание — трудный и голодный день раба, когда каждая минута казалась часом. У нас не было шинелей и холод донимал во дворе и в бараке. Старый пиджак на тонкой подкладке никак не согревал тело. Болели куриной слепотой. Но доходят в лагере не было.

В общем, лагерь во Франкентале оказался наиболее благоустроенным из тех, в которых мне довелось побывать. Получали мы и деньги, специально выпущенные для пленных, что-то около двух марок в неделю. На эти деньги можно было купить иногда пачку подпорченного третьесортного табаку. Употреблялись марки главным образом для игры в очко. В углу или под кроватью, при свете самодельного ночника, азартные игроки просиживали ночи.

С первых же дней по прибытии в Германию я усиленно занялся изучением немецкого языка. Язык я знал немного по курсу педагогического института. Особенно меня занимало чтение газет и журналов, информировавших о событиях за проволокой. Заметив это, товарищи стали приносить мне листовки, сбрасываемые союзниками. Постепенно я стал агентством последних известий. Иногда обрывки газет или журналов приносил и переводчик Андрей, не так уж хорошо знавший немецкий язык.

Подошло немецкое Рождество. По этому поводу нам устроили роскошный обед. Дали суп с макаронами и целый котелок пюре. Первый раз с тех пор, как я попал в плен, я не смог съесть всей порции зараз и оставил часть на завтра. То же повторилось и на Новый год. Под Новый год видел сон — моток проволоки, который я старался распутать. В плену мы стали суеверными и верили снам. Сон был к тяжелой дороге. Сжалось сердце — не хотелось уезжать из этого лагеря.

4. ЛИМБУРГСКИЙ ШТАЛАГ

Сон был в руку. 2 января 1943 г. нас выстроили на площадке перед бараками и вызвали 36 человек. Среди них был и я.

Через час мы уже куда-то ехали на грузовой машине. Причина отправки и признаки, по которым отбирали людей, остались невыясненными. Но сказали, что везут в шталаг.

Путь военнопленного, попавшего в Германию, как я уже писал выше, начинался со шталага — сборного лагеря для пленных определенного военного округа. В шталаге пленного регистрировали и он получал "паспорт" — карточку с номером, которая вешалась на шнурке на шею. В шталагах советские военнопленные долго не задерживались. Их направляли в рабочие команды.

Жизнь в рабочих лагерях не была одинакова. Различными были питание, работа и обращение. Но питание, как правило, в рабочих лагерях было лучше, чем в шталагах.

В советской литературе умышленно смешивают лагеря военнопленных с концлагерями. Это совершенно различные вещи. Прежде всего, концлагерь — это штрафной лагерь. В концлагере находились не только военнопленные, но и гражданские лица. Пленный мог попасть в концлагерь по суду и без него — за побег, саботаж, агитацию, отказ от работы и — "за здорово живешь". Концлагерь нередко был последним этапом жизни заключенного — в нем находились специальные команды по уничтожению приговоренных к смерти и "нежелательного элемента".

Питание в концлагерях нередко было лучшим, чем в шталагах. Объясняется это, вероятно, тем, что концлагерники работали и отсутствием стандартного подхода к питанию и обращению как с военнопленными, так и с концлагерниками.

По дороге в шталаг на ночь мы остановились в польском офицерском лагере. Здесь я и увидел Павла-отказника. Живого и веселого. Он работал уборщиком в казармах и жил припеваючи. Поляки, кроме обычного пайка военнопленного, получали посылки Красного Креста (одну в две недели). На ужин Павел по старой дружбе принес мне вареной картошки.

Поляки достали бачок супа и принесли в барак, где мы остановились. Наши пленные как звери бросились к бачку, опрокинули его и, падая, начали собирать остатки супа на полу. Поляки были ошеломлены. А у нас сработали рефлексy пережитого голода.

Утром нас загнали в товарный вагон. Сошли мы во второй половине дня на товарной станции Лимбург-на-Лане. Отсюда проселочной дорогой мы, гремя колодками, потащились на юг. Как только мы вышли за городскую черту, сразу же начал идти мелкий, но густой дождь. Дождевые капельки сыпались со всех сторон и легко пробивали потертый пиджак. Края колодок быстро растирали ноги, как всегда — выше пятки и у подъема.

Уже была глубокая ночь, когда мы доплылись до большого, неярко освещенного лагеря в поле. При нашем приближении у ворот вспыхнул высоко подвешенный фонарь. Часовой в мокром плаще отворил ворота.

Это и был Лимбургский шталаг, судя по собственному опыту и рассказам других — один из худших в Германии.

Под крики "лос-лос" (быстро-быстро) колонна вползла в лагерь и остановилась. Сразу же заныли растертые ноги. Хотелось только одного — отдохнуть и согреться. Пересчитав, солдаты внутренней охраны погнали нас по широкой лагерной улице. Направо и налево стояли слабо освещенные фонарями бараки. Наконец пришли. Отворились ворота последней загородки, и нас загнали в холодный барак. Там уже находились пленные. Выжав из пиджака

воду, я залез на третий этаж койки с соломенным матрацем. Накрылся мокрым пиджаком и моментально уснул.

Утром как выстрел хлопнули двери. Хриплый голос полиция разрезал сырой воздух барака: "Подъем! Ауфштейн! Вылетай строиться!" Толкая друг друга и теряя колодки, мы побежали к выходу, стараясь не попасть под палку полиция.

Дождь перестал, но было сыро и пасмурно. Мы стали строиться лицом к бараку. Колодки засасывала размокшая земля. В отсеке находились только большой барак и уборная. За наружной проволокой лежало черное, прибитое дождем поле.

Полицейский выравнивал строй. Минут через десять явился унтер-офицер. Стараясь не запачкать начищенные сапоги, прошелся вдоль строя. Отсекая стеком пятерки, пересчитал пленных и отметил в книжке. Полицейский распустил строй.

Наступил самый важный момент дня — раздача хлеба. В загородку рабочие внесли бачки с кофе и большую корзину с хлебом. Рабочий, под надзором полицейского, наливал пленному в подставленную посудину черпак эрзац-кофе. Другой рабочий отсчитывал семь человек и вручал последнему полуторафунтовый кирпичик хлеба. Хлеб по виду был гораздо хуже того, что мы получали в рабочем лагере. Семерка моментально отскакивала в сторону и начинала делить хлеб.

Происходило это так. На сухом месте расстилалась тряпочка и на нее клали хлеб. Все садились или присаживались на корточки. Находился резчик, обычно владелец ножа, изготовленного из расплющенного гвоздя. Некоторое время резчик, наклоня голову направо и налево, примеривался, как лучше резать: сначала поперек, а затем вдоль, или же наоборот.

Осторожно, стараясь не крошить, разрезал хлеб на семь частей. После этого пайки дважды перевешивались на самодельных весах. Затем один из семерки отворачивался, а другой, дотрагиваясь пальцем до пайки, вопрошал: "Кому?" Отвернувшийся говорил: "Петру, Степану", — и т. д. Каждый мечтал о краюшке — она считалась более питательной.

Получив хлеб, пленный садился под барак и, держа пайку в ладонях, осторожно начинал есть. Покончив с хлебом и запив его тепловатым кофе, пленный начинал искать место, где бы спрятаться от холодного ветра. В барак уже не пускали. Там специальная команда производила уборку.

Лагерь с внешней стороны ограждали высокие столбы с густыми рядами колючей проволоки. По углам и посередине наружной стороны, видимой с нашего отсека, стояли вышки с часовыми. Время от времени за проволокой проходил солдат, ведя на ремне овчарку.

Кроме русских, в этом шталаге находились американцы, англичане, поляки и югославы. Излишне повторять, что хуже всех было

нам, лишенным защиты и помощи международных организаций. Советская власть выдала нас на милость нацистских преступников.

Тяжесть нашего положения была не только в нашем полном бесправии, но и в абсолютном чувстве одиночества. Мы, русские, не поддерживали друг друга, как это делали французы, поляки, югославы. В массе своей, у русских пленных отсутствовало чувство спайки по национальному признаку. Оно было вытравлено всей шкурнической советской действительностью. О патриотизме и России вспомнили только, когда очутились над пропастью. Какая разница с дореволюционной Россией! Звучит сказкой забота царской семьи о раненых и пленных воинах, не говоря уже о помощи Красного Креста!

Съездившись и подняв воротники курток, пленные старались укрыться от ветра, казалось, дувшего со всех сторон сразу.

В углу двора уже действовал базар. Ассортимент предлагаемых товаров был обычен: несколько консервных банок с проволочными ручками; две-три самодельных деревянных ложки — товар излишний: суп легко выпивался из котелка, как чай; нож, изготовленный из гвоздя; спичечная коробочка окурков и несколько тряпок для портянок. Все это менялось на что-либо съестное: кусок брюквы, несколько мелких картошин или кусочек хлеба. Впрочем, курс хлеба стоял очень высоко, и хлеб редко когда менялся, разве что на курево заядлыми курильщиками.

Важное место в жизни пленного занимала уборная. Это было общественное место, где можно было узнать последние новости, лагерные и международные. Здесь бесплатно предлагались рецепты добычи огня самыми примитивными способами и средствами.

Прослушав новости, я пошел дальше. Мое внимание привлекли трое пленных, сидевших посреди двора. Подойдя ближе, я увидел, что они палочками вскапывают землю. Пленные, это были татары, охотно мне объяснили, что копают картофель. На месте нашего лагеря, может быть части его, несколько лет тому назад было картофельное поле. Пленные искали оставшиеся в земле картошины. Тут же они продемонстрировали добычу — несколько дурно пахнувших светло-серых мячиков, наполненных какой-то жидкостью. По словам татар, если эти бывшие картошины высушить, то получится крахмал, очень повышающий питательность супа.

Холод чувствовался сильнее. Он проникал отовсюду и леденил тело, не согретое ленивой кровью. Куда ни глянь — посиневшие заросшие лица со слезящимися глазами. Согбенные, дрожащие фигуры в огромных колодках со свисающими наружу грязными портянками... Не красит человека голод и холод!

Резко меняется и характер человека. Рождаются зависть и недоброжелательство. Человек легко плачет. Пленный — во всех отношениях неполноценный, усеченный человек. Он становится похожим на ту картошину, что выкапывали пленные татары.

К полудню лагерь начинает оживать и готовиться к получению баланды. Все лица обращаются к кухне, находившейся от нас через несколько секций. Вот из кухни понесли первые бачки. Но пройдет еще немало времени, пока очередь дойдет до нас.

Мы слоняемся по двору, как звери в клетке. Наконец, солдат отворяет ворота и в нашу секцию вносят бачки с супом. Мы выстраиваемся в шеренгу. Полицейский отсчитывает двадцать человек и вручает двум последним бачок с супом. Восемнадцать пленных сразу же хватаются за руки, чтобы никто не влез со стороны, и, как планетная система, совершают сложные движения вокруг бачка-солнца в поисках подходящего места для дележки супа. Найдя сухое место, все усаживаются вокруг бачка, ставят котелки и ревниво следят за дележкой. Каждому достается около полулитра жидкого брюквенного супа, часто с песком. Картошина в супе считается необычной удачей. Чтобы обмануть желудок, некоторые разбавляют суп водой. Но все равно, после обеда чувство голода не исчезает и хочется плакать от мысли, что еду получим только завтра утром.

Опять начинается бесцельное брожение вдоль стен барака. Кажется, время остановилось. Но всему бывает конец. В 6 часов снова черпак теплого кофе, построение, пересчитывание и долгожданный отбой.

Бараки в шталаге были большие и вмещали около 200 человек каждый. От входной двери до умывальника на противоположном конце барака шел широкий проход, по обе стороны которого стояли стандартные трехэтажные койки, сдвинутые по четыре. Невдалеке от входной двери возвышалась большая квадратная печь, сложенная из кирпича. Она обычно не топилась. Моя койка, если смотреть со стороны входной двери, находилась по левую сторону от прохода.

Рядом со мной на третьем этаже соседней койки лежал высокий и очень худой парень по имени Петр Пирогов. Родом из-под Вологды. Несмотря на свое северное происхождение, очень мерз. Но был он счастливчик в одном отношении — у него была шинель. Мы с Петей сразу сошлись и стали вести нескончаемые разговоры о прошлом и настоящем. Ночью мы спали на одной койке и укрывались Петиной шинелью. Одежд нам не было положено.

О себе Петя рассказал следующее: "Родители мои умерли в голодные годы после гражданской войны. Взял меня к себе дед. У деда был сад и пасека. Когда загнали в колхоз, дед остался пасечником. Был дед умен, и жили мы с ним получше других. Но пришел 37 год, пришли деду вредительство — злостное убийство пчелиной матки. Получил дед 10 лет дальних лагерей и навсегда исчез из деревни.

В ту пору был я уже трактористом. Скоро и в армию забрали. Прошел курсы и стал водителем тяжелого танка КВ. Когда началась война, наша часть стояла в Латвии. На второй день войны получили мы приказ двигаться к границе. Но тут открылось, что немцы уже обошли нас. Пошли мы на прорыв. В бою с немецкими танками мой КВ уничтожил несколько мелких немецких танков. Но вышло горючее, и я вместе с другими сдался в плен.

Собрали немцы нас несколько тысяч в молодом леске и огородили лесок проволокой. Кормили гнилой картошкой. Вываливали ее кучей у входа, а мы бросались на картошку и устраивали свалку на потеху немцам. Но нашлись среди нас люди, установившие порядок. Каждый стал получать свою порцию. Но что несколько порченных картошин для здорового мужика? Стали пленные слабеть. А тут и осень подошла — дождь, холод. Начали пленные разбиваться на пары и строить землянки. Землю копали котелками, палками, а то и просто руками. Зазубренными ложками или острым камнем резали еловый молодняк. Ствол шел на стропила, а ветки на крышу, ими же устилали пол. Через месяц стало голо в лагере — ни людей, ни деревьев. Только проволока вокруг.

Удивлялись немцы русскому уменью. Даже приезжали снимать для кинохроники.

Землянка спасала от холода и дождя, но от голода спасенья не было. Все меньше и меньше людей вылезало наружу за скудным пайком. Остались бы мы навечно лежать в землянках, но неожиданно пришло спасенье. Всех еще двигавшихся собрали и увезли в Германию. Так я и попал в Лимбургский шталаг.

Жизнь в шталаге тогда была не в пример тяжелей теперешней, и многие дошли уже здесь. Буханка хлеба тогда полагалась на десять человек. Правда, баланда была такая же. В уборную мы ходили с мучениями, раз в неделю, а то и реже.

Зверствовали немцы. Однажды в нашу загородку вошло крадучись трое солдат. Подошли они тихонько к пленному, стоявшему посередине двора. Схватили за руки и ноги и, раскачав, под команду "айнс-цвай-драй" бросили его в открытую выгребную яму. Навернулась на него густая жижа, и скрылся он из вида — только пузыри пошли. Немцы шли к воротам веселые и только зыркали по сторонам.

Прошел слух, что и в других загонах такое же происходило. Тут пленные окончательно упали духом и уже не ожидали от германца ничего хорошего. Не стало пленным вовсе жизни. Смерть-то какая? Целый день сторожим — не идут ли немцы?

Спрашивали мы полицаев: — "Да что же они делают? Пленные же мы!" — Молчали полицаи. Только один сказал: — "Не хотели, сволочи, воевать за советскую власть, понюхайте теперь немецкой!"

Зашел и переводчик в добротной комсоставовской форме. Обступили его пленные, спрашивают: — "Господин переводчик, что

же с нами будет?" — А он знал, конечно, о чем речь идет, может быть потому и пришел. Отвечает: — "Ребята, не бойтесь, то больше не повторится! Доложили коменданту, и он убрал солдат. А что с вами будет? Видите, уже почти все бараки заполнены. Подвезут еще немного — и начнут вас отправлять в рабочие лагеря. Там лучше будет!"

Так по-человечески и говорит. Пленные посмелели и дальше спрашивают: — "Что же германец над нами так издевается? Мы же пленные!" — Засмеялся переводчик: — "Эх, ребята, от вас же собственное правительство отказалось! Никто вас знать не хочет! Ну, а немец есть немец: нужны вы ему — будет кормить, а нет — в гроб колом вгонит. Сами знаете! Это я между прочим говорю. А сейчас вы немцу даже очень нужны, работать в Германии некому — со всем светом ведь воюет!"

Поверили мы переводчику: уж очень откровенно говорил. Видно и переводчики разные бывают.

Потекла наша жизнь спокойней. И не соврал переводчик. Скоро стали приезжать хозяева и отбирать напиравших пленных. Дивились немцы — вот как русские рвутся работать! Но мы-то хотели поскорее уехать из этого страшного лагеря. А мне не повезло, попал я на литейный завод, и пришлось ко всему еще и тяжело работать..."

Таков сокращенный рассказ Пети. С тех времен навсегда решил он, что немец — абсолютное зло. Не родилось у него интереса к немецкой жизни и людям. В лагере умудрялся не замечать немцев. Трудно это, особенно, когда немец ходит с палкой... Иногда пел о какой-то Олите — лагере военнопленных в Латвии:

Олита, Олита, для нас ты печаль —
Одним своим словом пугаешь,
Ты тысячи русских, забытых судьбой,
Навеки во мрак провожаешь!

Медленно текли лагерные дни. Но прошло около двух недель, и их однообразное течение внезапно было нарушено событиями, оставившими глубокий след в памяти.

Барак был заполнен пленными. Здесь собрались люди из многих рабочих лагерей Прирейнской Германии. Однажды, когда свет в бараке погас — тушили его немцы в 8 часов вечера — и наружный фонарь проложил желтую дорожку от окна к печи, из густого мрака со стороны двери раздался спокойный голос: — "Товарищи, тише! Сейчас будет суд!" — Шум в бараке резко упал. В почти абсолютной тишине голос продолжал: — "Будем судить полиция за убийство своих товарищей-пленных!" — Насколько мне известно, это был первый суд (не самосуд) над тогда еще всесильными полициями в Германии.

Голос продолжал: — "Я буду вести допрос, но судить его будете вы!" — И, повысив голос, приказал в темноту: — "Приведите поли-

чая!" — Где-то на противоположной стороне барака послышался шум и голоса: — "Чего ты лезешь?" — "Иди, иди — там увидишь!" — Темные фигуры втокнули в полосу света среднего роста пленного. Он, видимо, только что дремал и, щурясь от света, не мог сообразить, что с ним происходит. Видом он не отличался от других пленных, разве что был в шерстяных носках — роскошь, недоступная простому советскому пленному.

— Посадите его на печку! — приказал самозванный судья.

Фигуры завозились, подсаживая полицая. Теперь свет бил мимо лица полицая, но его силуэт был ясно виден. Полицай сидел, свесив ноги с печи, голова его доставала потолок.

— Как тебя звать? — спросил судья.

— Ну, Иван Пилипенко!

Трагизм положения все еще не доходил до его сознания. Судя по выговору, полицай был с Западной Украины. В 1939 г., по договору с Германией, Советский Союз оккупировал его родину, входившую в состав Польши. Молодые люди призывного возраста были взяты в Красную армию и в начале войны попали в плен. Немцы нередко ставили пленных с Западной Украины и из Белоруссии полицаями, переводчиками и поварами. Многие из них соревновались с немцами в жестокостях.

Суд продолжался.

— Был ты полицейским в кобленской команде Зюд?

— Ну, был!

— Кто знал там Ивана, пусть расскажет о его поведении.

— Я знаю его, я был вместе с ним, — послышался голос в глубине барака.

— Иди сюда и расскажи.

Темная фигура приблизилась к двери и начала рассказ.

— Иван был у нас в лагере полицейским. Зверь был, не человек! Он забил моего напарника Федора. Тот хотел получить вторую порцию баланды, а Иван увидел и начал его бить палкой по чем попало. А слабому человеку много ли надо? Умер Федор. Бил и других, выслуживался!

— Кто может подтвердить эти слова?

— Я, я, — раздалось несколько голосов, — точно так и было!

— Довольно, — сказал судья, — теперь пусть скажет Иван — было это или нет?

— Да я его только раз и ударил, — дрожащим голосом проговорил полицай, — немцы приказали бить того, кто лезет в другой раз!

— Так! — сказал прокурор. — Кто хочет сказать слово в защиту полицая?

Барак молчал. Подождав минуту, судья сказал:

— Виновен ты, Иван, в убийстве своего брата пленного. Теперь пусть народ решит, что с тобой делать!

— Кто за то, чтобы отпустить полицая?

— Я, я, — отпусти его! — голоса были отрывочны: боялись себя выдать.

— Кто за то, чтобы казнить Ивана?

Многоголосно грохнул барак:

— Казнить его! Бить его, суку, в темную!

С десяток фигур подскочило к печке и стащило упиравшегося полицая вниз. Страшным голосом закричал полицай и не докричал. Накинули на него матрац, били колодками, досками, ногами. Глухие удары и топот продолжались очень долго. Безжизненное тело полицая вытащили и бросили на цементный пол умывальника.

Долго перешептывался барак. Судья остался невидим и неосязаем. Его спокойный и властный голос никак не вязался с обликом пленного.

Утром, как обычно, унтер считал пленных, — одного не хватало. Три полицая сворой бросились в барак. Прибежав, сообщили: — "Ein krank!" Унтер записал в книжку и ушел.

Я, получив хлеб, но даже не съев его, бросился искать судью. Два раза обошел двор, внимательно вглядываясь в лица. Они все были обычные, пленные как пленные.

Утром полицай ожил. Он сидел на полу в умывальнике, прислонившись к стенке, черный, опухший, и смотрел в одну точку. Какая-то милосердная душа в обед поставила ему котелок с супом — полицай не пошевелился. Вечером его забрали в санчасть. А через несколько дней прошел слух — умер полицай.

Вечером обсуждали событие. Не все были за его казнь. Пожилой пленный на нижней койке говорил соседу:

— Ты посмотри и его сторону. Мы пришли, незванные-непрошенные, и начали людей тасовать. Я видел, как зимой, в лютую погоду, в открытых вагонах везли "врагов народа" в Сибирь: женщин, стариков и детей. Как ты думаешь, сколько их доехало? Может быть, и его родные там были. Вот он и запомнил и ждал своего часа, чтобы отомстить москалям. А когда немец дал ему палку, он и стал мстить. А кому? Тебе и мне. Ум у него работал, как у тебя. Он мстил тебе, а ты ему! А виноват кто? Сам знаешь! Они за народной спиной прячутся и радуются, что мы друг другу горло перегрызаем!

Чего греха таить! Суд над полицаем переломил что-то в людях. Стал пропадать страх не только перед полицаями, но и перед немцами. Невидимыми путями наши чувства передались полицаям. Те вдруг притихли и присмирели!

После судили и били еще двух полицаяев.

Было ясно, что суд был тщательно подготовлен группой людей не советской ориентации. Советская агентура повсеместно стремилась к ухудшению положения "изменников родины", а не облегчению их жизни в плену.

После месячного пребывания в лагере начали приезжать представители различных фирм и набирать пленных в рабочие команды. Мы

с Петром увиливали, твердо решив попасть на сельскохозяйственные работы. Там хоть и нелегкая работа, но зато голодным не будешь. Всегда есть, что стащить. Но когда в бараке осталась только четвертая часть людей, всех вдруг загнали на литейный завод — тот самый, где Петр работал раньше. Упали наши сердца. Что может быть хуже литейного завода? Разве что шахта!

На дорогу нам выдали шинели. А на прощанье сам унтер стегнул каждого прутом, куда пришлось!

Хочу отметить, что, по моим наблюдениям, вопреки утверждениям советской печати, немцы абсолютно не интересовались настроениями пленных в лагерях Германии. Немцы раз и навсегда списали нас в свои враги, и в этом была своя логика. Надо быть идеальными христианами, чтобы забыть все издевательства и мучения, выпавшие на нашу долю. Это все равно что забыть и простить все преступления, творимые "родной партией", только уже не над пленными, а над всем русским народом.

5. РАБОЧИЙ ЛАГЕРЬ В БОЛЬХЕНЕ

Той же дорогой, которой мы прибыли в лагерь, нас погнали на станцию. И, как всегда в таких случаях, шел холодный зимний дождь. Ночь мы провели в товарном вагоне. Утром нас выгрузили на товарной станции Больхен. Простучав колодками по булыжной мостовой, мы вышли за черту городка. До литейного завода, дымившего кирпичной трубой в самые облака, было недалеко. За почерневшими от дыма зданиями и цехами завода, на пустыре, мы увидели и наш лагерь — среднего размера барак, окруженный непомерно высокими столбами, тщательно опутанными проволокой. Внутри загородки находились неперенные части лагеря — у ворот сторожка, а на противоположном конце — уборная.

В бараке были установлены сплошные двухэтажные нары, покрытые матрасами. Мы с Петром выбрали верхние. Немногие пленные в бараке встретили нас без расспросов. Признак плохой: люди были слишком устали, чтобы интересоваться чем-либо. Мой сосед слева, с большими печальными глазами, тяжело дышал и время от времени вытирал крупные капли пота с бледного лица...

Питание показалось мне если не обильным, то вполне достаточным. Утром давали буханку хлеба на четверых с кусочком маргарина или кровяной колбасы и, конечно, кофе. В обед — черпак густого брюквенного супа и 3-4 вареных картофелины. Вечером, как обычно, пустой кофе. Ночная смена, в которой работал мой сосед по нарам, в полночь получала еще добавочный черпак супа.

Охраняли нас поочередно два солдата. Один — обер-ефрейтор, молодой, на вид строгий. На легкую работу охранника попал после госпиталя, где лечил ранение ноги, полученное на Восточном

фронте. — Отдохнет немного обер, вскинет тяжелый ранец на плечи и снова поедет в далекую и холодную Россию воевать за великую Германию. Обера побаивались... Второй солдат — уже немолодой баварский крестьянин. Ходил косолапо, как за плутом. Когда вблизи не было обера, ловил первого попавшегося пленного и, расплываясь в улыбке, показывал карточки жены и детей.

Вначале казалось — нам повезло. Благодаря Петру, знавшему обстановку, мы при распределении удачно выскочили и попали в хорошую команду. Наш мастер изготавливал специальные формы для отливки мелких деталей. Мы снимали готовые формы, подбрасывали песок для форм и т.д. Когда рядом не было мастера и самого придиричивого немца, можно было постоять, опершись на лопату. Работали 12 часов, но это было в порядке вещей.

Удача длилась недолго. Прошло только несколько дней, явился главный мастер и, ткнув поочередно пальцем в Петра и меня, сказал: — "Ты и ты, пойдем!" — Идти было недалеко — в другой цех, к мастеру ночной смены. На самую тяжелую работу! Вот и выгадали!

Наша команда в переводе на русский язык называлась командой "разбивальщиков". Начинала она работу после ухода дневной смены с опрокидывания и разбивки тяжелых, еще не остывших от заливки ящичных форм. Хлопали о цементный пол — и форма разваливалась, выделяя при этом целое облако удушливого сернистого газа. Детали крюками стаскивали в один угол цеха, а спекшийся кусками песок собирали в кучи и бросали в дробилки, похожие на наши веялки. Работали парами. Каждой паре выделялся урок. Если она не успевала до утра перевеять песок, то лишалась обеда. Чтобы выполнить норму, приходилось бросать песок непрерывно почти целую ночь. Только в 12 ночи полагался долгожданный получасовой перерыв с черпаком брюквенного супа.

Утром, едва передвигая ногами, мы, в сопровождении мастера, брели в барак. Не раздеваясь, бросались на нары и моментально засыпали. Но уже в 9 часов прибежал полицейский и, дергая за ноги, подымал ночную смену на уборку. Пока вымоем пол в бараке и уборной, подметем двор — время подходит к 12 часам, к обеду. Съешь обед — и опять спать. В 5 возвращались с работы некоторые команды и поднимали крик. После 5 надо было вставать и собираться на работу. И так шесть дней в неделю. Только в воскресенье до обеда не работали. Если была хорошая погода, садились под барак, смотрели через проволоку в недалекий лесок, отдыхали. Кто-нибудь делился слухами о фронтах, полученными от французов, работавших на заводе. Иногда вспыхивали ссоры, но быстро гасли. Не было сил и энергии на них.

Обер, вытянув большую ногу, тоже отдыхал на скамье у ворот. То с острым любопытством глядел на нас. Вероятно думал: "Вот это наши враги. Почему они воюют и не сдаются больше в плен? Где же

легкая победа, обещанная фюрером?" То переводил взгляд на далекие облака.

После обеда нас гоняли на станцию разгружать вагоны с песком. Тяжело переживали немцы поражение под Сталинградом. Трудно было расстаться с мечтой об украинском хлебе и сале. Все чаще и чаще были сирены. Над городком вглубь Германии летели гулкие эскадрильи бомбардировщиков. В немецких душах происходил перелом. Большинство уже не верило ни в фюрера, ни в победу. Многие замкнулись и как бы не замечали нас. Другие вдруг открыли, что пленные — тоже люди...

Все свободные минуты у меня уходили на чтение случайно подобранных обрывков газет и журналов. Фонд немецких слов значительно пополнился. Теперь я без большого труда понимал разговор немцев. Острый интерес к чужой жизни и людям владел мною.

Тяжелая работа, однако, постепенно подтачивала силы. Каждое движение, особенно под утро, становилось безмерно тяжелым. Первым начал сдавать Петр. В начале смены он еще бросал песок обычным темпом, но скоро его движения замедлялись, он начинал шататься, а затем тяжело валился на пол. Звать немцев было нежелательно. Когда Петр первый раз упал, я испугался и позвал мастера, но тот хладнокровно облил Петра холодной водой и дал пинка. Все, что я мог сделать, это оттащить Петра в сторону и продолжать работу.

Полежав с полчаса, Петр приходил в себя, тяжело поднимался на ноги и брался за лопату.

Из этой команды Петр прежде и попал в лазарет. Было это так. Он снимал со станка тяжелую форму и упустил ее себе на ногу. От боли он сел на пол и схватился за ногу. Собрались немцы и начали на него кричать и пинать ногами. Петр не вставал. Тогда один немец и говорит: — "Подождите, он у меня сейчас побежит!" — Отошел на десять шагов, достал бутерброд и зовет: — "Иди, Иван, на!" — Но Петру от боли было не до хлеба. За ночь ногу разнесло, как бревно, и Петра отправили в лазарет. У него, оказалось, треснула кость. После лечения Петра послали в тот шталаг, где мы и встретились.

Мастер нашей ночной команды охотно пускал в ход тыльную сторону лопаты по спинам пленных. Удачный удар сбивал пленного с ног. Когда я начал работать у него, то предупредил, что он получит сдачи. Немец был озадачен. Но потом хитро улыбнулся. Через несколько дней в конце работы он-таки стукнул меня, правда не сильно. Но от усталости я не только не мог поднять руку — я головы не мог повернуть.

В совершенно другом положении находились французы, работавшие на заводе. Французский пленный получал немецкий паек, посылки Красного Креста и, нередко, посылки из дому. В ночной смене с нами был француз. От избытка сил он не работал, а играл. Лопатой

высоко подбрасывал песок и, виртуозно перехватив его на лету, швырял в кучу. Мы смотрим на француза почти с ужасом: сколько лишних движений! Но француз не замечает наших взглядов...

Наша рабочая команда таяла за счет ослабевших и больных. Питание все же не соответствовало тяжести работы, особенно при подорванном предыдущим голоданием организмом. Мне стало ясно, что рано или поздно очередь будет за мной, и поэтому надо искать какой-то выход из положения.

Выход, казалось, был — попасть в лазарет, как Петр, еще не доходягой, и набраться сил, отдохнуть. Решил я устроить несчастный случай. Для этого вбил в столб, поддерживающий нары, гвоздь без шляпки. Слезая с нар и напоровшись на этот гвоздь, я легко мог поранить себе руку, и если достаточно глубоко — то лазарет мне обеспечен. Но Петр чутьем угадал мои намерения и предупредил, что немцы, заподозрив меня в симуляции, пошлют не в лазарет, а в концлагерь. Кстати, уже после войны я узнал, что концлагерь был по соседству с Больхеном.

Требовался улучшенный план. Он пришел на ум сам собой: несчастный случай должен произойти на глазах у немцев! За бараклом, камнем, я расколол колодку на правой ноге и связал ее тряпочкой. Теперь на виду у немцев я ходил спотыкаясь и прихрамывая.

Подошел намеченный вечер. Мастер привел нас в цех. Вот немец уже залил чугун в формы...

Пора! Хромая, я пошел вдоль крайнего ряда форм. Разлитый на поверхности формы чугун быстро темнел, но форма дышала жаром. Мысленно приказываю себе: "Падай на форму!" Но прошел раз, другой, третий — не могу решиться! Наконец стиснул зубы, прижал левую руку к груди и упал на форму. Слышу — что-то зашипело, вспыхнуло пламя и острая боль резанула по руке. Не знаю, закричал я или нет, но сбежались немцы и пленные. Подняли меня и повели в перевязочную. Через обгорелый рукав был виден начинавшийся у кисти ожог. По пальцам катились черные капельки крови. В перевязочной медсестра быстро срезала рукав пиджака и намазала на рану толстый слой какой-то мази.

Пришел сменный мастер — пожилой, немногословный немец в бархатной тужурке и с трубкой в зубах. Пока все идет по плану! Но рано я радовался. Один из стоявших вокруг немцев вдруг и говорит: "Это он, швайхунд, нарочно, чтобы не работать! Я видел, как он вертелся перед формами!"

Мастер нахмурился и мельком глянул мне в глаза. В его взгляде я прочел глубоко запрятанное сочувствие. Вынув трубку, он произнес: "Ах так! Ну, будешь работать две смены подряд!" Я сознавал, что это было наименьшим наказанием, какое мастер мог дать мне при таком обороте.

Сначала кидать песок от нервного напряжения было не так трудно. Налегал на правую руку. Но затем стало хуже. Правда, я

уже никуда не торопился. Оставшийся песок был не замечен мастером. То же повторилось и в дневной смене. После двух смен мне дали отдыхать трое суток.

Перевязки делали регулярно, каждый день. Через две недели рана подсохла и зарубцевалась.

Теперь мои мысли легко и быстро перескочили на побег. Однажды, по дороге в барак, я сказал Петру: — "Надо бежать, Петя, пропадем!" — Петр на предложение откликнулся без энтузиазма: — "Да, бежать надо бы". — Но на следующий день и говорит: — "Знаешь, не могу я решиться! Рискованное это дело! Да и куда бежать — в снег, в холод? Здесь хоть дотянешь до нар, отдохнешь, согреешься!" — Не стал я уговаривать Петра. Может быть, он и прав. Но сам уже загорелся и не мог остановиться. Меньше всего думал о том, куда бежать, — картина была ясная. Под боком Франция — туда и бежать, к партизанам маки, о которых слышали от французов.

Но все теперь упиралось в подыскание товарища. Одному трудно в бегах. Беглеца преследуют и закон, и люди. А товарищ — поддержка и моральная опора.

Стал я подыскивать товарища среди пленных ночной смены. Остановился на молоденьком пареньке. На вид — не больше 17 лет. Но было ему полных 19. Звали его Виктор. Был он из Москвы. В плен попал из ополчения, куда его сунули из 9-го класса десятилетки. Позорная и преступная история московского ополчения завершилась смертью многих профессоров и ученых в немецком плену. Виктора, уже опухшего, отправили на работу в Германию. Из лимбургского шталага он и попал на этот завод.

По дороге в барак, я, не найдя лучших слов, повторил то, что сказал Петру. Виктор сразу же согласился. И теперь мы вместе строили планы побега. Даже работать стало легче!

Англичане и американцы усиленно бомбили Германию. Англичане летали ночью. Около 12 часов они пролетали над городком. При тревоге на заводе гасили свет. Входы и выходы запирались. Немцы и пленные собирались у доменной печи, где было достаточно светло и тепло. Немцы смотрели в потолок, качали головами и ели свои бутерброды. Мы делили суп, загодя принесенный в бачке.

Ночью нам разрешалось пользоваться немецкой уборной в цеху. В уборной было большое окно, выходившее во двор завода. Снаружи окно закрывала железная решетка, однако не доходившая до самого верха, где была форточка. Через эту форточку мы и решили бежать. Заводской сторож, глубокий старик, ночью запирал ворота и уходил дремать в сторожку.

Препятствием был заводской проволочно-сетчатый забор в рост человека. Казалось, при достаточном разбеге можно, схватившись за секционный столб, закинуть ногу на верх забора. Много раз, проходя мимо забора, мы, напрягая мускулы, в воображении преодолевали забор. И всегда при этом чувствовали негодность

нашей обуви. В колодках никогда не возьмешь достаточного разбега. Да и вообще далеко не уйдешь. Требовалась нормальная обувь.

Я все еще ходил в разбитых колодках. Но команды, работавшие на станции и в лесу, имели ботинки. Это навело меня на мысль попросить ботинки у главного мастера. Моим единственным шансом на успех было знание немецкого языка. Для успеха требовалась прилично составленная немецкая фраза с соответствующим произношением. Несколько дней у меня ушло на усиленную тренировку.

Однажды вечером, когда мастер еще был в цеху, я выбрал подходящий момент и обратился к нему со своей просьбой: — "Господин мастер! Мои колодки разбились и работать в них тяжело. Не могли бы вы выдать мне ботинки?" — Мастер с удивлением посмотрел на меня, секунду подумал, достал записную книжку, что-то черкнул и отдал мне листок.

Удивился он потому, что пленные, как правило, не говорили по-немецки. Я же никогда не показывал своих знаний. Со стороны немецкого руководства предпринимались многие шаги, чтобы предупредить близкие контакты пленных с населением и неизбежное сближение. Владей пленные немецкой речью, их положение было бы значительно лучше.

Не знаю, вспомнил ли мастер, что я тот самый тип, который бросался на горячую форму. Сменный мастер, конечно, донес ему о происшествии.

На следующее утро я пошел за ботинками. Кладовщик с очень недовольным видом повертел записку в руках, но ботинки выдал. Сшитые из толстой свиной кожи, они были прочными, как броненосцы. Какое не замечаемое людьми удовольствие — ходить в нормальной обуви! Виктор сторговал себе у лагерного сапожника латанное и перелатанное подобие ботинок.

Мы были готовы!

6. ПОБЕГ

Стояли безлунные ночи. Самое подходящее время бежать. С вечера я распрощался с Петром. Пошел на работу, но уже было не до работы. Все мысли сконцентрированы на побеге. Как по расписанию, в полночь завывла сирена, погас свет и все собрались у домны.

Сели есть баланду. Против воли пробирает дрожь. Глянул на Виктора, а он глазами говорит: "Я не подведу!"

Попросил у мастера, занятого разговорами, разрешения помыть миску в уборной — он только безразлично махнул рукой. Через затемненный цех, ощупью пробрался в уборную. Здесь было немного

светлее: наружный свет проникал через большое окно. Осмотрелся, прислушался — никого. Только минута понадобилась, чтобы влезть на подоконник, подтянуться на руках к форточке и достать наружную решетку руками. Осторожно, чтобы не разбить окно, просунул тело через форточку. Ноги оказались вверху, а голова внизу. Продолжая держаться за решетку, стал опрокидываться назад. Свалился на неглубокий снежок.

Была ясная морозная ночь. Высоко в небе моргали звездочки, заслоняемые пролетающими самолетами. Минуты через три из форточки вывалился Виктор. Пригнувшись, мы побежали вдоль штабелей шпал к забору. С разгону перескочили забор, пересекли шоссе и погнали по обочине леса, держа полярную звезду справа.

Бежали с полчаса, пока не выскочили на вспаханное поле. И тут ясно услышали собачий лай. Неужели погоня? Но страхи были напрасны. Собака лаяла в соседней деревне. Лай вскоре стал затихать.

Передышки мы делали короткие, глотали комки снега и снова бежали. Хотелось скорее уйти как можно дальше. Казалось, что впереди уже стоит густой лес с крупными елями, опустившими ветви до самой земли. Под такой развесистой елью, на слое высушенных иголок, можно передневать и отдохнуть. Но темь была обманчива. Лес шел все молодой, редкий, насквозь продуваемый холодным ветром.

Плохо, что ушли без шинелей. Но иначе было нельзя. Немцы могли разгадать наши намерения. Пока бежишь — тепло. Но стоит остановиться, и холод сразу же забирается под старую куртку.

Вскоре мы заметили, что за спиной на востоке уже высоко стоит яркая утренняя звезда. Пора искать убежища!

Проскочили еще одну дорогу и поднялись на небольшой вспаханный холм. На склоне холма увидели сарайчик, вокруг которого был разбросан сельскохозяйственный инвентарь. Вероятно, в сарайчике сено или солома, и мы там можем спрятаться и передневать. Подошли к двери. Она оказалась открытой. Мы осторожно зашли внутрь и прикрыли дверь. И вдруг, совсем рядом, кто-то произнес по-немецки: "Франц, это ты?" — Мы застыли. Нам бы бежать, но ноги как приросли к земле. Через мгновение тот же голос, но уже с ноткой страха: — "Франц!" — Слышим, хлопнул затвор винтовки и сейчас же зажегся свет.

Что же оказалось? Попали мы в солдатский барак. Спали здесь зенитчики, а их пушки мы утром увидели за пригорком. Солдаты повскакали с постелей и обыскали нас. Посмеялись над нашей удачей. Часовой позвонил, минут через двадцать пришел солдат и забрал нас.

На дворе было уже совсем светло. Солдат погнал нас по шоссе. Он был полон злости. Ругался и старался ударить сапогом по

щиколотке или наступить на пятку. Мы подскакивали, чтобы избежать удара. Таким манером солдат пригнал нас в деревню. Там нас посадили на грузовую машину, повезли и сбросили в рабочем лагере, на окраине какого-то города. В проходной комнатке барака оказался закуток без окон, но с решеткой в дверях. Там нас и заперли.

Солдат, стороживший нас, уходил на время и снова возвращался. Вечером мимо нашей двери прошла небольшая группа пленных, возвращавшихся с работ. Выглядели они неплохо. Некоторые что-то несли. В нашей каморке была еще забитая дверь, ведущая в помещение пленных, а под дверью — небольшая щель. Пленные собрались у этой двери и спрашивают: — "Кто такие? Куда гонят? С каких мест будете?" — Мы коротко ответили в щель: — "Бежали — поймали!" — Слышим, заволновались за дверью. Какой-то жалостливый попробовал даже причитать: — "И куда они вас, проклятушие, гонят! И что с вами, бедными, будет!" — Но быстро умолк. Двое пленных вышли из помещения и спросили солдата — можно ли дать нам поесть? Солдат коротко ответил: — "Никакой еды!" — Тогда пленные за дверью порезали хлеб тонкими ломтями и стали нам просовывать в щель.

Настала холодная ночь. Чтобы развлечься и досадить нам, солдат просовывал через решетку штык и заставлял нас делать приседания. Но скоро это занятие ему надоедало и он начинал подремывать на своем стуле. Тогда мы садились на пол, прижимались спинами друг к другу и тоже дремали. Несколько раз солдат вставал и снова заставлял нас делать упражнения.

Так прошла ночь. Рано утром пленные ушли на работу. Проходя мимо нашей двери, они все смотрели в нашу сторону. Некоторые прощались с нами кивком головы.

Солдат повел нас по улице города, завел в какое-то учреждение и оставил стоять в комнате, где были только стол, два стула и шкаф. Над столом висел большой портрет Гитлера. Выражение лица у фюрера было иное, чем у наших вождей. Наши смотрели на мир сумрачно, со скрытой угрозой. У Гитлера преобладало бюргерское самодовольство.

Ждали мы недолго. В комнату вкатился пухлый чиновник в черной форме, опоясанный ремнями. На правой руке у него была повязка с красной свастикой в белом круте. Чиновник сел за стол под портретом Гитлера, положил перед собой лист бумаги и начал допрос:

— Как звать?

Мы сказали наши имена.

— Откуда бежали?

Мы в один голос ответили, что не понимаем по-немецки.

Чиновник, не получив ответа, повел нас вглубь здания в полутемную комнату. При нашем входе из-за стола встал здоровенный

солдат в зеленой пехотной форме. Чиновник что-то сказал ему и ушел. Солдат повернул к нам лошадиное лицо и на тяжелом галицийском наречии задал тот же вопрос. Я объяснил, что мы не знаем названия лагеря. Тогда солдат встал из-за стола, подошел ко мне вплотную и вдруг коротко и сильно ударил в живот. Второй удар сбил меня с ног. Пока я пытался отдышаться, Виктор назвал городок. Надо сказать, что путали мы без предварительного уговора, не зная, что будет лучше для нас.

Солдат задал еще два-три вопроса и отвел нас снова к чиновнику. Чиновник отворил дверь в канцелярию и крикнул:

— Позвать переводчика!

Минут через двадцать в комнату вошла миловидная девушка лет 22-23 в белом шерстяном платке и потертом черном ширпотребовском пальто. Держалась сухо и с достоинством. Чиновник подумал и указал ей на стул. Девушка села, опустила на плечи платок и поправила волосы. Несколько раз она взглянула на нас. В ее глазах метались обрывки панических мыслей: "Бедные! Наши русские! Шатаются от ветра! А кругом злые и жестокие люди!"

Начался допрос через переводчицу.

— Почему бежали? Как бежали? Кто помогал?..

Вопросов было бесконечно много...

Сначала все шло хорошо. Девушка спрашивала нас для формы, а чиновнику говорила совсем другое. Нам она повторяла: "Вы не бойтесь, я знаю, что им говорить!"

Так, на вопрос "почему бежали?" — ответила: — "Были голодны и шли жаловаться на еду и плохое обращение!" — Эти слова вызвали подобие улыбки на лице чиновника: шел теленок жаловаться волку...

По-немецки девушка говорила чисто и свободно. Когда чиновник вышел на минуту за бумагой, она снова принялась нас утешать и повторяла: — "Все будет хорошо, все уладится!"

Но после возвращения чиновника дело пошло значительно хуже. Запас мужества у девушки иссяк, у нее начали литься слезы. И чем дальше, тем сильнее. Скоро промок рукав пальто, который она прикладывала к глазам. Девушка полуобернулась, чтобы скрыть свои слезы от чиновника. Неожиданно Виктор заморгал глазами, и по его щеке покатилась первая слеза... Чиновник завертелся на стуле. Он предвидел финал этой сцены: три горько плачущих унтерменша! На его лице было написано глубокое презрение. Постучав в раздумье носком сапога о пол, он дописал свои заключения и ушел. Теперь мы стали утешать переводчицу. Мы узнали, что зовут ее Вера и что она из Житомира. Учреждение, где мы находились, было отделением гестапо. Когда чиновник вернулся, Вера бросилась к нему и стала просить разрешения нас покормить. Чиновник отказал. На прощанье мы смогли сказать только одно слово — "спасибо", вложив в него всю нашу благодарность и признательность!

Гестаповец передал нас дежурному солдату, а тот отвел на станцию. В поезде стояли на задней площадке в углу. Через несколько остановок мы прибыли в Больхен. Когда выходили из вагона, я сказал Виктору: "Ну, теперь держись, Витя!" Но держаться предстояло мне...

Встречали нас оба стражника в полном вооружении. Обер — при револьвере и штыке, солдат — с винтовкой. Лицо обера было в красных пятнах и он косил в сторону.

Повели лесной дорогой. Как только мы вошли в лес, обер сразу же накинулся на меня:

— Я тебя, подлеца, давно приметил! Думаешь, не знаю, что ты был комиссаром! Работать не хочешь и только мутить других!

И, уже не сдерживаясь, он ударил меня ладонью по уху. Я стал закрывать голову руками и сразу же успокоился: можно было ожидать гораздо худшего. Видно было, что обер никогда не бил людей. Я не сомневался теперь, что он выпьет всю злость по мелочам. Солдат вообще был не в счет. Он для вида широко размахивал прикладом винтовки, но бил по мягкому месту, сдерживая удар. От толчка я подавался вперед, а обер должен был отступать. Скоро он выдохся. Его лицо побледнело и покрылось потом: от резких движений, вероятно, разболелась раненая нога. Виктору и совсем повезло — ему только показали кулак.

В лагере нас заперли в кладовую в конце барака. Уходя, обер пообещал: "Будете сидеть, пока не подохнете с голода!"

Но только солдаты ушли, пришел мой земляк сапожник. Он оттянул нижний край двери и просунул несколько вареных картошин. Поев, мы завернулись в одеяла, сложенные в кладовой, и крепко уснули.

Разбудил нас шум пришедшей с работы дневной смены. Все спешили нас подбодрить, сказать доброе слово. Некоторые доставали из кармана завернутую в тряпочку картофелину или кусочек брюквы, сбереженные на вечер, и отдавали нам. Один говорит:

— Ну и смелые же вы, ребята! Я бы никогда не решился бежать!

Другой завидовал:

— Уедете из этого ада, гляди, и попадете в хороший лагерь!

Только полицейский сказал:

— Ой, добегаетесь вы, ребята! Концлагерь не за горами!

Утром, когда пленных угнали на работу, пришел солдат и с горечью сказал мне:

— Как я мог тебя не бить! Этот наци сейчас бы донес на меня. Служба есть служба!

И сует нам бутерброды...

Но события этого дня только начинались. После солдата пришел главный мастер и стал нас ругать. Особенно ему было обидно вспоминать ботинки, которые он мне дал по доброте душевной, а я, неблагодарная свинья, в них и сбежал! Отведя душу, закончил:

— Вас отправят обратно в Лимбург, в шталаг. Заводу не нужны люди, подающие плохой пример честным рабочим!

Ботинки собственноручно унес.

Через час нас, с колодками на ногах, уже гнал незнакомый солдат на станцию. День был солнечный, но морозный. С полчаса мы ждали поезда. Острый ветерок щипал уши и нос. Мы топали колодками, стараясь согреться, и цеплялись глазами за недалекий лесок, где нам так недолго пришлось подышать свободой!

Солдат прятал нас по закоулкам. Мой вид вызывал любопытство граждан. В лесу, когда меня били солдаты, я потерял пилотку, левое ухо покраснело и опухло, а через всю щеку была прочерчена кровавая царапина.

В вагоне мы сели на скамье у самой двери, лицом к вагону. Солдат сел напротив нас и, чтобы не встречаться с нами глазами, смотрел в потолок. Было тепло, хотелось спать и никогда никуда не приехать.

Поезд делал короткие перегоны. Пассажиры входили и выходили. Мы развлекались и с интересом наблюдали незнакомую нам будничную жизнь немцев. Вот в вагон вошел господин с портфелем. Вежливо осведомившись у солдата, свободно ли место, присел и начал расстегивать пуговицы кожаного пальто. Но вдруг он насторожился, мельком глянул на нас — и его как ветром сдуло. В почти пустой вагон вошла женщина с сумкой. Она села напротив нас через несколько скамеек. Как только поезд тронулся и начал набирать скорость, тетка торопливо полезла в сумку и достала бутерброд. С сосредоточенным видом она развернула обертку и открыла рот, намереваясь подзакусить. Но тут ее взгляд упал на нас. На мгновение она застыла с открытым ртом. Опомившись, тетка поспешно спрятала бутерброд и исчезла.

Уже за полдень мы прибыли в Лимбург и к вечеру приплелись в шталаг. В лагере солдат поставил нас около ворот у комендантского барака, а сам пошел докладывать начальству о нашем прибытии. В это время к воротам лагеря подошла колонна наших пленных, возвращавшихся с какой-то работы. Часовой открыл ворота и впустил пленных. Солдаты, охранявшие их, ушли, а пленные самотеком пошли к своему барaku.

Проходя мимо, пленные с некоторым удивлением оглядывали нас. Один спросил:

— Что вы здесь стоите, ребята?

Мы ответили, что были в бегах, а теперь ожидаем решения своей участи.

Пленный оглянулся на солдата, затворявшего ворота, и сказал:

— Скорее пристраивайтесь к нам, глупые, а то посадят вас в карцер или того хуже!

Мы так и сделали. Со всеми зашли в барак и заняли свободные койки. Несколько дней прошло в тревоге. Но немцы нас не искали.

Вероятно, прочитав протокол допроса, составленного по словам переводчицы, просто махнули рукой на идиотов, шедших жаловаться начальству.

Опять по утрам мы сидели под бараком, ничего не делающие и почти счастливые. Наши мысли все еще были в рабочем лагере. Ночная смена сейчас спит первым заходом. Скоро полицай прокричит ей подъем на уборку.

Нам повезло. Мы отделались от литейного завода и не так уж сильно пострадали. Совершенно неожиданно мы обнаружили бездну добра в людях. А как оно необходимо угнетенному и обездоленному, не меньше, чем кусок хлеба. Пленный, отдающий последнюю картошину, паренек за стеной, причитающий над нашей судьбой, солдат, сующий бутерброд, горькие слезы переводчицы Веры, — память о них навеки с нами!

7. ЛАГЕРЬ В ФЮРТЕ

В начале марта 1943 нас отправили в Баварию в нюрнбергский шталаг. По размерам он был не меньше лимбургского и также пользовался дурной славой. Но мы в нем не задержались. Я был послан в рабочую команду в г.Фюрт. Еще раньше ушел Виктор. Больше мне с ним не пришлось встречаться.

Наша сравнительно небольшая рабочая команда исполняла различные работы у крестьян, на станции и по уборке улиц после бомбежки. Мне же необычайно повезло. Как-то при утреннем построении в лагерь явился высокий немолодой солдат в белой рабочей одежде со следами краски на ней. Я слышал слова, сказанные им нашему унтер-офицеру. Солдату требовался помощник для покраски жилищ. Как только комендант обратился к нам с вопросом — нет ли среди нас маляра, я сразу же шагнул вперед, решив, что на такой легкой работе не пропаду. Никаким маляром, конечно, я не был.

Солдат красил бараки и комнаты в военном городке, в котором муштровали солдат перед отправкой на фронт.

В первый день солдат дал мне щетку и указал на стену. Я начал красить. Ничего мудреного в этой работе не было. Но затем солдат слез с лестницы — он красил потолок — и велел мне докрашивать. Я обмакнул щетку, поднес ее к потолку, и вся краска полилась мне на голову и на пол. Солдат засмеялся, но меня не прогнал.

Он довольно долго присматривался ко мне. Я уже прилично говорил по-немецки, но мы обменивались только односложными фразами. Однажды он мне открылся. Солдат был членом коммунистической партии. После прихода Гитлера к власти его и других отправили в концлагерь. "Перевоспитывали" год. Урок солдат хорошо запомнил и своими переживаниями ни с кем не делился.

Рассказывал он почти шепотом, поминутно оглядываясь по сторонам, хотя в комнате никого не было. Я бессознательно сравнивал то, что он пережил, с тем, что обычно переживают советские граждане, попавшие в "органы" и лагерь по доносу в политической неблагонадежности. Выигрывал немецкий концлагерь.

Интересовался солдат и нашей жизнью. У меня язык не поворачивался сказать ему правду и лишить его, может быть, последней светлой мечты. Мог ли я ему открыть, что попади Сталину в руки живой фашист, его "перевоспитывали" бы подольше и поусердней. Одно я ему посоветовал: чтобы он ни при каких условиях не шел в плен. Выжить в советском плену так же трудно, как и в немецком.

Однажды утром солдат за мной не пришел. Через несколько дней явился другой — помоложе и помельче первого. Он сообщил, что моего маляра зачислили в маршевую роту и отправили на Восточный фронт. Мой новый начальник, Ганс Кун, был из Кельна. Из-за близорукости с ним случались всякие истории. Был он безобиден и ненавидел военщину. Целые дни мы с ним проводили в беседах. Когда я плохо отзывался о немцах, он обижался и обвинял во всем войну, испортившую людей.

Работник он был неважный, и главная часть нагрузки падала на меня. И первый и второй маляры иногда оставляли мне немного хлеба из своего рациона. Но познакомившись с солдатским тыловым пайком, весьма скудным, мне было совестно брать подачки. Лучше питались те, кому приносили или присылали продукты из дому. Гансу перепадало иногда от какой-то прибившейся к нему девицы. Была она горбата и некрасива. Однажды Ганс, в большом волнении, просил меня хорошо рассмотреть дивчину. Солдаты в казарме смеялись над ним за то, что он любезничает с горбуньей. По близорукости, Ганс, даже в очках, не мог ее толком разглядеть. Я сказал, что девица имеет нормальный вид.

Но пришло время, исчез и Ганс. Куда его могли определить — трудно себе представить.

На место Ганса прибыл профессиональный маляр высокой квалификации — баварец Карл Мюллер, владелец малярного предприятия около Нюрнберга. Ему было под пятьдесят и отправка на фронт ему не угрожала. У меня с ним также установились прекрасные отношения.

Часто я спрашивал себя: откуда берутся в немецком народе гестаповцы, эсэсовцы, массовые убийцы. Сознаюсь, был соблазн обвинить всех немцев в творимых преступлениях и жестокостях. Но для этого следовало позабыть, что творилось у нас на родине. А было это не лучше, а вероятно хуже, чем у немцев. Нет, не подобает нам строго судить другие народы. По такой логике и нас можно назвать народом убийц. Виновата злая и лишенная христианской этики и морали система, делающая ставку на худшие элементы и совращающая нестойкие личности к участию в преступлениях.

Карл Мюллер, вводя меня в тайны профессии, договаривался, чтобы после войны я непременно бы работал у него. Кстати, в семье есть и дочь подходящего возраста.

Два раза Карл весьма удивил меня. Первый раз — достав из внутреннего кармана порнографическую открытку. На карточке были изображены танцующие пары в баварских костюмах. Но стоило открытку растянуть — появлялась совершенно иная картина... Второй раз он удивил меня еще больше. Мы с ним красили квартиру в городе. Возвращаясь, зашли в какой-то дом. Карл переговорил с хозяйкой, затем сказал мне:

— Здесь живет русская девушка. Ты имеешь двадцать минут. Иди!

Хозяйка указала на дверь. Я постучал. Открыла худенькая девушка с черными глазами. Я объяснил, что мой начальник разрешил с ней поговорить. Мы познакомились. Она коротко рассказала о себе. Оставка. Из-под Пскова. По профессии медсестра. Работает прислугой. Хозяйка строгая. Я попросил у нее русских газет. Она собрала пачку.

Вот и все. Карл был разочарован — он так старался. Что же, дуракам закон не писан...

В нашем лагере были также галичане. К русским внешне они относились вполне корректно, но держались группой, отдельно. С некоторыми из них я близко сошелся. В разговорах между собой они не скрывали ненависти к москалям. Я спрашивал — что же в прошлом худого вам сделали москаль? Ответ был: нам ничего, но вот восточных украинцев непрерывно притесняли, а теперь и нас "освободили". Трудно им было доказать, что в прошлом дело обстояло не совсем так, как они утверждали. А теперь русские так же бесправны, как и украинцы.

Интересной личностью был галичанин, бывший переводчик, с немецкой фамилией Гут. Молодой, образованный и мягкий человек. Перед нашим приездом он бежал из лагеря домой. История этого дела такова. Гут подавал прошение, чтобы его отпустили из плена, ссылаясь, вероятно, на свое действительное или мнимое немецкое происхождение. Вести из учреждений приходили весьма обнадеживающие. Со дня на день его должны были отпустить. Но потом все затихло. Прождав несколько месяцев, Гут решил пробраться домой в Галичину. Достал гражданскую одежду, немного денег и скрылся из лагеря. Поездом он проехал всю Германию, но был задержан на старой границе с Польшей. Беглеца привезли обратно и посадили в карцер. По отсидке нескольких недель его выпустили, но лишили должности переводчика.

При нас Гута как-то наказывал комендант лагеря. Наказание было военное. Под команду унтера Гут ложился, бегал, полз попластунски. Продолжалось это до тех пор, пока у бедного Гута не начались судороги.

Наказание не минуло и меня. Товарищи с некоторых пор жаловались на малые порции супа и наседали на меня, чтобы я доложил коменданту. Желание я исполнил. В результате баланды не прибавилось, но в первое же воскресенье комендант проделал со мною ту же экзекуцию, что и с Гутом. Погоняв меня час, комендант устал. Я старался не подавать виду, но наказание не произвело на меня большого впечатления. Хуже была урезанная порция, которую мне стали выдавать. Наградой же было сочувствие товарищей.

Страшны были налеты авиации, особенно ночные. При тревоге мы прятались в неглубоком земляном бункере, вырытом рядом с баракom. Замирал весь город. Вначале еще бывала надежда, что самолеты летят в другое место. Но когда напряженный слух улавливал отдаленный грозный гул, надежда исчезала. С приближением самолетов сердце, казалось, падает в пропасть. Гул нарастал. Начинали бить зенитки. По небу металась прожекторы. Теперь одна мысль владела сознанием: "Хоть бы бомбили не нас!" Но вот с высоты доносится вой падающих бомб, а затем разрывы. Начинает гореть город. Срываясь с высокой скрежещущей ноты, в землю врезаются сбитые самолеты. Страшная феерическая картина разрушения и смерти!

Город тяжело пострадал. Целые районы превратились в застывшее каменное море, где волнами стояли гряды битого кирпича — остатки жилых кварталов. В газетах и по радио истерические речи Геббельса: "Отмщение придет!"

В сентябре 1943 при утреннем построении комендант отобрал десять человек, подлежащих отправке из лагеря. В их числе был и я. Уезжать из лагеря не хотелось — где еще найдешь такую легкую работу? Но, с другой стороны, может быть на новом месте бомбежка будет полегче? Комендант, мне кажется, отправляет нежелательный элемент.

8. ЛАГЕРЬ В ДЕНЕ

На местной станции к нам присоединили еще десять человек и повезли на север. Станции в больших городах были уже полуразрушены. В Майнце мы застряли на две недели — расчищали улицы после бомбежки. Потом нас повезли дальше. У г.Ремагена пересекли Рейн и сошли на совсем небольшой станции под названием Арбрюк (в переводе — "мост через реку Ар"). Станция расположена приблизительно в 50 км на юго-запад от Бонна в гористой местности Айфель.

Невысокие горы, окружавшие станцию, покрывал еловый лес. Местность казалась дикой и необжитой. Только кое-где на солнечных склонах были разбросаны светло-зеленые платочки виноградуников.

Нас погнали вдоль быстрой реки Ар, несущей свои воды к Рейну. Вскоре горы расступились, мы свернули и пошли вдоль полноводного ручья. Пройдя около километра, минули древнюю водяную мельницу с запрудой. Еще через полчаса прибыли в деревушку под названием Ден. Деревушка расположилась в узкой долине между двумя рядами гор. Налево, на пологом склоне — белели немногие домишки жителей. Направо, в тени крутой горы, покрытой темным лесом, — выстроилась ровная линия зеленых барakov.

Мы смотрели на темные горы, сдавившие долину, и неприятное чувство оторванности от всего мира овладело нами. Первым отозвался москвич Василий. Упавшим голосом он произнес:

— Выморят они здесь нас голодом! Никто никогда и не узнает! Будет еще хуже, чем в Нюрнберге в 41 году!

Нас подвели к одному из барakov с большой вывеской: "Русские пленные. Вход посторонним воспрещен". Два первых окна барака были закрыты решетками. В бараке нам отвели две комнаты, в которых разместилось по десять человек. В комнатах были расставлены двухэтажные койки, застеленные серыми одеялами. Еще одно одеяло лежало в ногах. Я выбрал второй этаж угловой койки. Посредине комнаты стояла чугунная печь. В противоположном конце от двери — умывальник и уборная. Все выглядело неожиданно опрятно. Но не эти удобства были главным. Питание и работа занимали нас больше всего.

Был полдень. Вскоре пришел солдат, взял двух человек и повел по узкой асфальтированной дорожке, шедшей между бараками и лесом к большому зданию, расположенному впереди барakov. В здании, как мы узнали позже, была столовая и клуб для солдат, там же находилась кухня, вход в которую был со стороны леса. Повар налил в кастрюлю супа, а в миску всыпал вареной картошки. Суп был густой, брюквенный, в нем даже плавали ниточки вермишели. Когда все поделили, то увидели, что обед вовсе не плохой.

После обеда солдат повел нас на склад и мы вместо колодок получили прочные ботинки. Теперь у многих зародилось опасение, что немцы просто включили нас в армию. Но солдат объяснил, что мы будем работать в лесу и потому нам необходима нормальная обувь.

Новость о работе в лесу вызвала снова волнения. Какая же будет норма? Если семь кубометров, как в советских лагерях, то нам и густая баланда не поможет!

Вечером получили кофе и хлеб с кусочком маргарина на следующее утро ввиду нашего раннего ухода на работу, еще до открытия кухни.

Солдат пересчитал нас без построения и запер дверь. Мы еще долго обсуждали события этого примечательного дня...

Утром, в пять часов, солдат открыл дверь и прокричал: "Подъем!" Причем наружную дверь оставил открытой. Около шести часов явился пожилой сутулый немец в истертой кожаной тужурке и с большим допотопным револьвером у пояса. Мы выстроились и пошли на склад получать топоры и пилы.

На работу шли вдоль того же полноводного ручья под названием Кисселинг Бах. Затем, в конце селения, свернули и пошли по грунтовой дороге вдоль меньшего ручья, Ден, одноименного с названием деревушки, где мы поселились. Ручей зарос кустарником, но кое-где попадались лужи. По другой стороне долины шла параллельная тропа, почти совершенно скрытая зарослями орешника. В будущем этой тропе предстояло стать нашей жизненной магистралью.

Грунтовая дорога скоро перешла в тропу. Горы сдвинулись. Они были покрыты ельником, но попадались и светло-зеленые буковые рощи.

Старик шел впереди, видимо не боясь, что мы разбежимся. После часа ходьбы он свернул на узкую тропинку, и мы стали подниматься в гору. В лесу мы заметили, что некоторые деревья повреждены осколками или вовсе срезаны. Старик объяснил, что мы находимся на территории стрельбища. В окружности около 20-25 км никто не живет. Раньше на этом пространстве были расположены семь деревень, но теперь они все покинуты. Стрельбище принадлежало зенитчикам. Их орудия стояли где-то на северо-запад от нас. В определенные дни зенитчики стреляли по большому баллону, который тащил старый самолет. Мы же, как и старик, были приписаны к лесничеству, и наша работа состояла в рубке поврежденных снарядами деревьев.

На одной из полянок старик сбросил свой тощий рюкзак, и мы по его приказу развели костер. С этой процедуры и в дальнейшем мы будем начинать свой рабочий день в лесу. Около костра будем отдыхать, греться, обмениваться последними известиями и судачить со стариком.

Минут через пятнадцать старик поднял нас, выбрал, кто крепче, и раздал им топоры. Затем показал, как подрубаются деревья. Остальные взяли пилы и начали валить подрубленные деревья. Работа в лесу для большинства из нас была новинкой, но, судя по темпам, установленным стариком, наши опасения в отношении высоких норм были напрасны.

В полдень, взглянув на большие карманные часы, старик послал двух пленных в лагерь за супом. Посланные вернулись часа через два. На палке они притащили бачок с супом.

Лесничество, конечно, понимало, что при одном старике мы имеем все возможности разбежаться, и для предупреждения решило создать нам терпимые условия жизни. Следует сказать, что бежать почти из любого рабочего лагеря не представляло большого труда.

У немцев никогда не было достаточно людей для охраны пленных. Сдерживали пленных от побега боязнь новых лишений, наказания и общая бесперспективность побега. Многие опасались бежать к "своим", загоя объявившим пленных изменниками. Не было большого желания и податься в партизанские отряды оккупированных немцами стран. Все же по сравнению с пленными других стран советские бежали гораздо чаще, но их быстро ловили или же они сами возвращались.

В лагерь вернулись уже в сумерках, усталые и голодные.

Утром за нами пришел другой старик, пониже ростом и потолще первого, в грубой брезентовой куртке. Он оказался строже и молчаливей. Старики по очереди гоняли нас на работу.

Первое время мы работали усердно. Вскоре стали заправскими лесорубами. Шутили: "Ну, теперь не страшно и в Сибирь! Норму выполним!" Но постепенно, пользуясь добротой наших стариков, стали работать меньше. Усердно трудились только тогда, когда приходил лесничий в зеленой форме с пучком какой-то травы на шляпе. Но стоило ему отойти, и в лесу опять наступала мертвая тишина. Пленный, держась за пилу или топор, замирал. Если старик кричал — начинали шевелиться во все замедлявшемся темпе. Видя это, старик хватал топор и как сумасшедший начинал рубить лес. Устав, садился спиной к нам и, закуривая трубку, говорил:

— Вот французы — те всегда хоть шевелятся, а вас и громом не прошибешь!

Лесничество посылало нас в различные участки леса. Самым дальним был буковый лес на высокой горе километрах в восьми от дереушки. Там всегда летом было прохладно, а зимой долго лежал снег. Это место мы прозвали "Сибирью". Скоро и старики стали говорить: "Ну, сегодня пойдем в Сибирь!"

Кормили нас, в общем, неплохо. В лесах Айфеля водились олени, кабаны, козы и более мелкая дичь. По немецким правилам, охотиться имел право только лесничий. Убив оленя или кабана, лесник отдавал нам голову, и наше питание на несколько дней значительно улучшалось. Однажды мы с аппетитом съели даже лисицу. Каждый день вечером мы варили суп в большой алюминиевой миске. Чаще всего с грибами, благо грибов в лесу была масса, а немцы употребляли в пищу только боровики и лисички.

Лагерь, где мы жили, был формировочным пунктом для солдат, отправляемых на Западный фронт и Атлантический вал. Здесь собирались выздоравливавшие от ранений солдаты из разбитых частей и новопризванные. Месяц тренировки — и лагерь снова пустел. После ухода солдат нас гоняли на уборку барakov.

Комендантом лагеря был престарелый генерал. К нам относился покровительственно. Мы часто дивились — с чего бы это? Заходя в наш барак, расспрашивал о жизни. Мы, кривя душой, жаловались на питание.

Одного генерал не мог перенести — понурого вида пленного. В его представлении солдат всегда должен быть бодр, собран и брав. Но мы, даже поправившись, ходили со взглядом, устремленным в землю, расхристанные и небритые. Сердце старого воина не выдерживало. Он ставил пленного по стойке смирно и начинал его распекать высоким фальцетом. Затем безнадежно махал рукой и уходил. После покушения на Гитлера 20 июля 1944 генерала разжаловали и убрали. Он оказался каким-то боком связанным с заговорщиками. В этом и была разгадка его отношения к нам: генерал был антинацистом.

Десять человек нашей команды были как на подбор разные и со всех концов нашей необъятной родины. Нижнюю койку занимал рослый, красивый парень лет под тридцать, Иван Иванович Иванов. Родом из Казахстана. Самой замечательной его чертой был аппетит. Он мог в один присест съесть целое ведро супа. О своих взглядах никогда не распространялся и ни в какие политические дискуссии не вмешивался. Уже в другом месте и в другое время он открыл мне, что был лейтенантом войск НКВД. На соседней койке, наверху, лежал мой земляк Григорий. У него было тяжелое детство. К своим 26 годам он переменял много профессий и был мастер на все руки. Прекрасный рассказчик. Характер имел эмоциональный, но отходчивый.

Самой красочной личностью нашей команды был москвич Василий. Весельчак, балагур и фантазер. Легко падал духом, был жуликоват, но всегда был хорошим товарищем. Дома работал в торговой сети — продавал пиво и мороженое. Конечно, ловчил и мошенничал. Пределом его мечтаний было кожаное пальто. Мечта почти исполнилась, но помешал призыв в армию.

После нескольких недель жизни на новом месте, в одно из воскресений, Василий поразил нас всех, но и не только нас... Он развязал свой довольно объемистый мешок и достал гармонь. Растянув меха, заиграл "Катюшу". Услышав игру, к нам влетел проходивший мимо унтер.

— Ты где украл гармонь? — набросился он на Василия.

Василий неспеша достал из кармана тряпочку, развернул и подал унтеру бумажку. В бумажке подтверждалось, что такому-то пленному разрешается иметь гармонь. Подписал документ не кто иной, как немецкий генерал. Унтер был сражен. Эти русские свиньи живут здесь припеваючи, а немецкий солдат терпит всякие невзгоды на фронте!

Чем же Василий заслужил такую высокую награду? Еще до Нюрнберга он сошелся с бывшим политруком или комиссаром-евреем. Василий выручал его в критических ситуациях. Еврей, если память мне не изменяет, звали его Семеном, прекрасно говорил по-немецки и внешне мало походил на еврея. Василий отзывался о его уме и находчивости с большой похвалой. Благодаря Семену, оба попали в хорошую команду на большой завод в Нюрнберге, где

Семен и устроился переводчиком, а Василий, конечно, попал на кухню. Но история на этом не кончается. На заводе работала молодая немка, жена эсэсовского офицера, бывшего на фронте. У Семена с немкой расцвел роман. Через нее и ее знакомых Василий и получил гармонь. Но Василий остался верен себе: он проворовался, и даже заступничество переводчика не спасло от опалы — Василия выпроводили из лагеря.

Теперь у нас каждое воскресенье Катюша выходила на берег, а три храбрых танкиста громили самураев. К сожалению, на этом репертуар Василия и обрывался...

Василий был большой поклонник Ленина. Вспомнив светлый образ Ильича, он становился во фронт, закладывая два пальца правой руки за борт пиджака, вытягивал левую руку на манер нацистского приветствия и произносил:

— Товарищи! Сегодня в ноль-ноль произойдет революция!

Потом качал головой и говорил:

— Мозговитый был мужик!

В его воображении Ленин воплощался в главаря банды домущников, точно рассчитавшего налет на богатую квартиру.

Больше всего на свете Василий боялся самолетов. Завидя подозрительную точку в небе или услышав отдаленный рокот мотора, он начинал трястись как в лихорадке и крупные слезы выступали у него на глазах. Травма относилась к первым дням плена в большом окружении под Минском. По словам Василия, произошло следующее: "После пленения немцы собрали на пригорке тысячи пленных. Уже день клонился к вечеру, когда из-за недалекого леса показалась шестерка самолетов с большими красными звездами на крыльях. Некоторые пленные повскакивали и закричали: "Смотрите, смотрите! Наши!" Это были первые советские самолеты на фронтовом небе, замеченные бойцами с начала войны. Шестерка развернулась и начала сбрасывать бомбы в самую гущу пленных. Что тут было! Бомбы рвутся, люди давят друг друга! Везде кровь и разорванные тела! Отбомбили и еще листовки сбросили: "Изменникам родины — с приветом!" С тех пор бесконтрольный страх охватывал Василия при виде любого самолета.

Нередко в бараке по вечерам разгорались споры. Еще никто не боялся высказывать собственные мнения: "свой" были еще далеко, а скрытой улыбки Ивана Иванова никто не замечал...

Вечерние баталии начинал портной, киевлянин Петр. Он ложился на живот, подпирал голову руками и начинал философствовать:

— Как это так получается? У немцев не земля, а одни камни, да еще который год воюют, а люди живут лучше, чем мы в мирное время. Хотя, как сказать, было ли оно мирным? У нас то голод, то коллективизация, то снова голод, то расстрелы. Разве ж это жизнь?

Активным оппонентом был только Василий. Но у него не хватало аргументов. Все его доказательства сводились к тому, что немцы

ограбили всю Европу и потому живут хорошо. В спор иногда вмешивался минский учитель Игнат. С высот своего педагогического образования он авторитетно заявлял:

— Знаете, друзья, в коммунизме все же есть что-то положительное.

Белорус Володя, самый старший из нас, не любил спорить. Он лежал на спине, слушал и как будто безразлично смотрел в потолок, но по его лицу пробегали тени одобрения или несогласия. Сам он был последовательным антикоммунистом.

Подводя итог настроениям пленных, можно сказать, что противниками советской власти была колхозная Россия, большая часть "рабочего класса" и все честные люди, у которых не угасла любовь к родине. Сторонниками, кроме советских функционеров, были люди, которых я бы назвал "калымщиками", — представителем их был полублатной Василий. Многих в "советский лагерь" загнали жестокости немцев. Идейных коммунистов мне в плену не пришлось встречать. К концу войны наблюдалась активизация просоветски настроенных пленных, старавшихся, нередко террором, заслужить себе прощение.

Животрепещущей темой было обсуждение того, что нас ждет после возвращения на родину. Ярлык "изменников родины", прицепленный нам, был известен всем. Рядовому пленному не хотелось верить, что, столько пережив, он еще заслуживает наказания за то, что сдался в плен. Моим замечаниям, что советская власть по своему существу антинародна и находится в постоянной скрытой войне с народом и его жизненными интересами, — не верили. Наша же вина, кроме сдачи в плен, усугублялась и тем, что мы удостоверились собственными глазами в лживости советской пропаганды о беспроектной нужде простого люда в капиталистических странах.

Я, как и многие другие подсоветские люди, в душе всегда был верующим. В плену моя вера окрепла. У нас в команде был единственный открыто верующий — кубанский казак Иван. Он стал моим учителем. Продиктованный им 90-й псалом в народной обработке хранится у меня до сих пор.

Время шло к зиме. Начались холодные затяжные дожди. Утром подмораживало. Сначала на горах, а потом и в долинах выпал снег. Не ходили на работу только в снежные заносы. В плохую погоду, разложив костер, долго грелись. Йозеф Блез — старик в желтой тужурке, любил рассказывать. За свой долгий век — ему было за семьдесят — он повидал и пережил немало. Еще на его памяти в горах Айфеля водились волки. С волками были связаны древние сказания об оборотнях. Отец старика еще охотился на медведей.

Говорили и о политике. Старик нас не боялся. Очень высокого мнения был об американской технике. Впрочем, о Гитлере отзывался с похвалой: "Он возродил Германию! Но — война! Все испортила война!"

Жили в деревнях Айфеля, по немецким масштабам, бедно. Не хватало земли. Крестьяне держали скот, небольшие виноградники, огороды. Зимой работали в лесничестве и на других отхожих промыслах.

Интересовались старики и нашей жизнью. Но получали противоречивые сведения. Рассказывали старикам о гибели пленных зимой 1941-42. Они ахали и повторяли: "Иисус-Мария!"

Помнили в деревнях и о русских пленных Первой мировой войны. Хвалили их работоспособность. Замечали, что мы ростом поменьше и как бы другие люди.

С соотечественниками у нас контактов было мало. В Дене была одна остовка Мария, кстати, моя землячка из Приднепровщины. Она работала у хозяйки, державшей небольшую пивную в солдатской столовой. Впоследствии у Марии был роман с нашим Игнатом — учителем из Минска. В соседней деревне Кисселинг, где жили наши старики, у одинокого крестьянина работала украинка. С нами она старалась не разговаривать и при встречах держалась подальше. Как мы узнали от стариков, у остовки с немцем был роман, о котором знала вся деревня. В этой же деревне, на окраине, в страшной нужде, жила многодетная семья врача-белоруса. Врач подлечивал местных жителей, но заработки у него, по-видимому, были мизерными. Для нас было загадкой, на каких правах он находился в деревне. На нас он смотрел волком.

Зимой, когда свободного времени из-за плохой погоды стало больше, мы начали улучшать питание различными способами. Два друга киевлянина, один сапожник, другой портной, объединили усилия и стали изготавливать тапочки из старой шинели. Дело пошло, товар пользовался успехом у немцев, в том числе солдат. Григорий, мастер на все руки, раздобыл напильник и еще какой-то несложный инструмент, стал делать кольца и брал в починку часы. Володя-белорус начал плести корзины и корзинки и взял меня в помощники. Барак постепенно превращался в кустарную мастерскую, а по воскресеньям — в базар.

Василий, не имевший особых навыков и терпенья, стал изготавливать птиц, отдаленно напоминавших голубей. Туловище и голова вырезались из чурбана мягкого дерева. Крыльями были воткнутые в туловище щепочки. Птица раскрашивалась как можно ярче. Но голубь не привлекал покупателя, а наоборот отпугивал своей примитивностью. Потерпев неудачу с продажей, Василий не сдался. Ему пришла в голову счастливая мысль заняться шантажом. Солдаты из отдаленных барачков шли в столовую мимо нашего окна. Василий примечал наиболее молодого и робкого. Увидев его в следующий раз, он кричал через открытое окно:

— Ты, Ганс, иди сюда!

Солдат удивлялся и подходил. С этого момента его судьба была решена. Василий, подкрепляя свой небогатый набор слов жестикуляцией, указывал на голубя и начинал укорять солдата:

— Что же ты, птицу уже неделю как взял, а хлеб не несешь!

Солдат клялся, что он и в глаза никакой птицы не видел. Но это не помогало. Снова увидев солдата, Василий кричал:

— Когда же ты принесешь хлеб за птицу? Это нечестно! Я буду жаловаться унтер-офицеру!

Останавливались другие солдаты. Жертва конфузилась и вечером совала Василию полбуханки хлеба. От великодушно предложенной птицы отмахивалась.

Следует заметить, что никто из нас на такой фокус никогда бы не решился. Василий, кроме всего прочего, был незаурядный психолог.

Василию же пришла мысль подделать ключ от кладовой, где хранились продукты. Кладовая была в том же здании, что и кухня, только не доходя ее. Проект был сложен, трудоемок и опасен. Он стал возможен по двум причинам. Первая — при уборке солдатских казарм был найден старый ключ. Вторая — объединились усилия Василия и Григория. Василий вложил в дело фантазию и нетерпение. Григорий — умение и настойчивость.

Исполнение проекта началось с того, что Григорий принес из леса хорошо размятый кусок еловой смолы. Вечером, идя позади солдата на кухню за получением ужина, Григорий вдавил смолу в замочную скважину двери, ведущей в кладовую. По отisku он начал начерно подгонять ключ, чтобы он вошел в замочную скважину. Через неделю Григорий снова пошел за ужином. По дороге он сунул ключ в замочную скважину, предварительно густо натерев бородку мелом. Ключ легко вошел в скважину. При повороте на бородке отпечатались все задерживающие выступы замка. Дальше началась тонкая работа — подпилка и подточка, занявшая больше месяца. Часто на кухню Григорий ходить опасался, чтобы не вызвать подозрений. Однажды, всунув ключ в скважину, Григорий открыл дверь и сейчас же запер. Наступила очередь Василия. Портной пришел ему к шинели внутренние карманы длиной в полметра. Прождав определенное время, друзья отправились на кухню. Первым, как всегда, шел солдат, за ним Григорий, а позади Василий. В дверях кухни Григорий сманивировал зацепиться карманом за дверную ручку, на отцепление ушла целая минута. За это время Василий открыл дверь в кладовую, подхватил два хлебных кирпичика и одну пачку маргарина и сунул их в свою калиту. Когда Григорий отцепился, Василий уже стоял в дверях.

В бараке друзья поделились добычей со всеми остальными. Разузнав, каким образом были добыты продукты, мы единодушно осудили проект. Риск был слишком велик. Из-за лишнего куска

хлеба никому не улыбалось идти в концлагерь. Наше решение, впрочем, не произвело никакого впечатления на Василия. Экспроприация времени от времени продолжалась...

Однажды всю нашу команду отправили на работу в предместье Кельна. Город пострадал от налетов авиации и возникла острая нужда в жилплощади. Несколько недель мы строили бараки. Жили в соседнем лагере военнопленных. Условия жизни в этом лагере были хуже наших, но вполне терпимые. В этом лагере мы впервые встретили пропагандиста РОА, довольно часто посещавшего лагерь. Он вел беседы об Освободительном Движении и генерале Власове, снабжал также литературой. В оценке будущего у него проскальзывали пессимистические нотки. Все сознавали, что время упущено. В лагере уже существовала просоветски настроенная группка, старавшаяся верховодить и запугивать остальных. Пропагандист, также бывший военнопленный, пытался устранить недостатки лагерной жизни, но прав у него было немного. Все зависело от доброй воли коменданта. Однако повсеместное улучшение бытовых условий военнопленных в 1943-44 и, следовательно, спасение многих жизней если не целиком, то частично — результат стараний ген. Власова и его окружения.

Возвращаясь однажды с работы — это было в воскресенье — мы повстречали небольшую группу девушек-остовок, шедших на пикник к Рейну. Одна из девушек, завидев нас, пришла в большое волнение и отдала нам все свои скудные запасы еды, затем побежала, отняла бутерброды у подружек и, догнав, тоже вручила нам. Охваченная жалостью, она не замечала, что мы вовсе не выглядим голодными. Но как трогает такая доброта пленное сердце!

До высадки десанта в Нормандии летом 1944 союзная авиация нас не трогала. Бомбили, и неудачно, только небольшой мост через реку Ар. Но положение изменилось с приближением фронта к границам Германии. Теперь налетам подвергались не только военные объекты, но и деревушки.

При появлении самолетов мы прятались в бункере под горой, в двух шагах от нашего барака. Но это было только по воскресным дням. В будние дни на работе в лесу мы были в абсолютной безопасности.

С воздушными налетами связаны два примечательных случая. Один раз легкий бомбардировщик наметил себе цель в нашей деревушке. Но летел он не вдоль долины между двумя рядами гор, а поперек. Снизившись и сбросив бомбы, самолет уже не успел набрать высоту, врезался в гору выше нашего барака и превратился в металлическую лепешку, облитую маслом. От летчика нашли только несколько пальцев.

Второй случай. Из сбитого самолета выпрыгнул летчик. Его привезли к нам и заперли в комендатуре в пустой комнате. У летчика была прострелена нога и он очень страдал. Оставался он запертым

два или три дня без всякой медицинской помощи и питания. Из соседних деревень приходила делегация женщин с требованием повесить американца. Комендант отказал. В воскресенье мы убрали в комендатуре и подсунили под дверь кусок хлеба. Но летчик отрицательно покачал головой и знаками попросил курить. Наблюдали мы за ним через замочную скважину. Тогда в бумажке мы ему подсунили несколько свернутых закруток и спички. Летчик подполз к двери, взял табак и помахал нам рукой. Вечером его куда-то отправили на специально присланной автомашине.

В этом лагере у нас, кроме случайных, оказались два постоянных врага. Унтер-офицер, приписанный к военному городку, и шофер лесничества, иногда привозивший нам обед. Оба горячо ненавидели нас и старались причинить как можно больше неприятностей. Шофер, еще молодой круглолицый парень, ходил всегда одетый по нацистской полувоенной моде и по-видимому был каким-то чинном в партии. На вопрос, почему он не в армии, старик молча показывал на голову. Унтер позже сыграл решающую роль в нашем с Григорием побеге.

Мысли о побеге вернулись ко мне при наступлении тепла весной 1944. Когда меня теперь спрашивают, почему я так стремился бежать из лагеря, где жизнь, по военнопленным меркам, была терпимой, — я затрудняюсь дать убедительный ответ. Тогда были другие условия, другие мерки, другие настроения. Все мои симпатии в то время были на стороне Америки, защитницы всех угнетенных и оскорбленных. Не наша ли обязанность — чем-то помочь в борьбе за правое дело? Я был уверен, что сильнейшая страна в мире продиктует справедливые условия мира послевоенной Европе и поможет нам в предстоящей борьбе за свободу России. Это мнение было распространено среди многомиллионной и многонациональной массы рабов Третьего Рейха. Как оказалось, мы еще раз ошиблись...

Практическая часть подготовки состояла в сушении сухарей и поисках товарища. Последняя задача оказалась нелегкой. Пройдя хорошую школу пленной жизни, никто из этого лагеря бежать не собирался. В конце концов, я пошел на провокацию и начал раздувать широко циркулировавшие среди пленных опасения, что при приближении американцев нас всех расстреляют. Наибольший успех я имел у Ивана К., но при наступлении намеченных сроков побега он решительно отказался, заявив, что только ненормальный может думать о побеге.

Пришло и ушло лето. Два события последовательно меняли мои планы.

В один из погожих сентябрьских дней, когда мы, усталые, возвращались с работы, кто-то толкнул меня и сказал: "Там позади двое наших русских, убежавших из плена!" Старик, как всегда, шел

впереди. Я отстал и свернул по указанному направлению в кусты. На полянке увидел стоявших беглецов. Один был среднего роста, широкоплеч и уже немолод. Лицо заросло седой щетиной. Второй — высокий чернявый татарин, гораздо моложе первого. Оба были в плачевном состоянии, крайне измождены, в изорванной одежде и обуви. У пожилого по щекам катились слезы. Времени было немного, я отдал им пайку хлеба и сказал, чтобы они завтра встретили нас.

Все мы были очень взволнованы встречей и долго обсуждали событие. По понятным причинам, больше всех судьбой беглецов заинтересовался я...

На следующее утро они уже ждали нас у места работы. Я передал беглецам собранные продукты, спички, а также иголку с нитками. Немного побеседовали. Старший по возрасту представился капитаном Георгием Выгонным, младший — замполитрука Мамедовым. Они находились при зенитной батарее, стоявшей где-то на границе Франции. Один из немецких солдат, в прошлом коммунист, пообещал сообщить, когда пленным будет необходимо бежать. После высадки десанта в Нормандии, думая, что Германии предстоит немедленный крах, солдат дал сигнал. По какой-то причине беглецы пошли не на запад, а подались на восток. За несколько месяцев бродяжничества они вконец изголодались, выбились из сил и готовы были явиться с повинной. Но тут они встретили нас. Несколько дней следили за нами, затем решили подойти.

Теперь каждый день беглецы пробирались к нам, и мы помогали им чем могли. Но скоро забота о них перешла ко мне одному. Я показал беглецам лесную дорогу к нашему барaku, и они стали спускаться по горе чуть ли не к самым дверям. Наш сапожник отремонтировал им обувь. Нашлось также кое-что из одежды.

Вид и душевное состояние беглецов произвели на меня большое впечатление. Легко было убедиться, что побег дело нешуточное и на последствия не следует закрывать глаза, как я делал при первой попытке. В результате я заколебался...

Но произошло еще одно непредвиденное событие. На станции при очередном налете авиации был разбит продуктовый склад. Нашу команду погнали на спасение всего уцелевшего. Я остался в баракe, так как числился больным. У меня был нарыв на подъеме левой ноги, но к этому времени нарыв зажил, я же продолжал хромать и делал вид, что все еще не могу работать.

Стражниками при команде были наш враг унтер-офицер и еще один солдат. Пленные вытаскивали из-под обломков рухнувшего склада продукты и складывали их в ящики. Ящики затем грузились в автомашину и увозились. Григорий не выдержал соблазна и сунул за пазуху две коробки рыбных консервов. Унтер, как ястреб следивший за пленными, заметил и выпустил автоматную очередь

над головами Григория и его напарника по работе Игната. Тут же унтер поклялся, что наутро расстреляет Григория.

Домой вернулись все в подавленном настроении. Григорий был уверен, что угроза унтера вовсе не шутка. Он решил бежать. Сначала он вызвал в умывальник Игната, с которым работал, и предложил ему составить компанию. Игнат заколебался, а затем отказался. Тогда Григорий обратился ко мне. Я понимал, что другого подобного случая не представится, и сразу же согласился. Мы стали собираться. Мои вещи легко поместились в карманах шинели. План был прост. Скоро придет солдат, как обычно, возьмет двух пленных и поведет их на кухню за едой. Пойдем мы с Григорием. От кухни до лесу — два шага...

Я склонен думать, что Григория не расстреляли бы. Отсидел бы положенный срок в карцере — и все. На это указывало то, что его не отделили от всех и пришедший вечером солдат ничего не знал о случившемся. Но уверенности в таком исходе дела не было. Немцы в те времена легко расстреливали своих граждан, пытавшихся что-либо стащить из разбитого бомбежкой дома. Почему они должны были жалеть пленного?

Уходили последние минуты. Мы стали прощаться. Василий по обычаю вспакнул, расставаясь со своим дружкой Григорием.

9. ВТОРОЙ ПОБЕГ

Когда пришел солдат, мы были готовы. В темноте, по знакомой дорожке пошли за солдатом. Повар сложил заранее приготовленные двадцать паяк в одну миску и налил кофе в кофейник. Мы вышли за дверь. Солдат задержался, беседуя с поваром... Поставив возле двери кухни миску с хлебом и кофейник, но взяв свои порции, мы бросились в лес. Но не тут-то было! Лес отбрасывал нас назад. Всюду мы натыкались на ветви и стволы деревьев. Оставив попытки пробиться в лес, мы побежали дальше по дорожке. Минули разбитый при бомбежке дом, еще один дом и выбежали на дорогу, которой ходили в лес. Не прошло и десяти минут — начал накрапывать дождь, скоро перешедший в ливень. Холодные струи покатали по спине и груди...

Куда дальше? При планировании побега я многое учел, но о том, где провести первую ночь, не подумал. Не знали мы и места, где обосновался капитан со своим другом. Но тут счастливая мысль осенила меня: пещера! Мы спрячемся в пещере! Она была в районе "Сибири", на склоне, ниспадавшем к небольшому ручью. Вход в пещеру был мал и незаметен, но внутри — сухо и просторно. Обнаружил пещеру я случайно, когда во время работы спустился к ручью напиться воды.

Я опасался, что в темноте нам придется долго искать вход. Но, следуя вдоль ручья, мы очень скоро наткнулись на него. Выжав

воду из шинелей, мы легли на сухой песок и, прижавшись спинами друг к другу, накрылись мокрыми шинелями. Дрожь пробирала тело, но, утомленные бегом и событиями дня, мы начали засыпать. Вдруг, совсем близко над головой раздался громкий, скрипучий визг. Еще не шевелясь и не открывая глаз, я вообразил картину: большая змея свесилась над нами и издает эти странные звуки. Мы поспешно вскочили. Григорий достал зажигалку. Вспыхнувший огонек осветил целое семейство летучих мышей, висящих на невысоком потолке. Успокоившись, мы натянули на уши пилотки и снова улеглись спать.

Прснулись от холода. Из входного отверстия пробивался неяркий свет хмурого осеннего утра. Позавтракав мокрой пайкой хлеба, мы начали составлять план дальнейших действий. Прежде всего необходимо установить контакт с товарищами. Затем встретиться с капитаном. После этого уже переходить к планам дальнего прицела.

Подождав, пока, по нашим расчетам, команда будет уже в лесу, мы выбрались из пещеры и начали осторожно пробираться по лесу. Еще издали мы слышали глухой стук топоров. Ну, слава Богу, в команде, кажется, ничего не произошло и мы никого не подвели. Прячась за стволы деревьев, мы подошли ближе. Ребята нас заметили и позвали Василия. Глядя на его расстроенное лицо и слезы, мы только теперь осознали всю серьезность нашего положения. Мы — отрезанный ломоть! Какой барак ни есть, а все же дом! Сжались наши сердца.

Василий рассказал, что сегодня утром команду целый час держали в бараке и все были уверены, что произойдут какие-то крупные перемены. Но потом, как всегда, пришел старик и повел всех в лес. По-видимому немцы решили, что побег произошел благодаря угрозе расстрела. Григорий, сбежав, прихватил меня. Вина таким образом косвенно падала на унтера. С Василием договорились, чтобы он сообщил капитану о нашем побеге и пусть капитан составит план встречи.

Остаток дня мы провели в пещере. Я думал, что одно хорошо в этой истории: не я уговорил Григория бежать — он был видимым инициатором, и, если настанут тяжелые времена, он меня винить не будет.

На следующее утро пошли на свидание. Василий все исполнил, как было условлено. План встречи, составленный капитаном, таков: когда наступят сумерки — идти нам на "сибирскую" гору, на дорогу, ведущую к вершине. Капитан с товарищем будут на вершине и начнут спускаться вниз. При этом они будут петь "Катюшу". Мы в свою очередь должны, подымаясь, тоже петь эту песню. Где-то на полдороге мы встретимся. В заключение Василий передал нам немного продуктов.

Дождавшись вечера, мы пошли на гору. Вскоре действительно слышали слова: "Ой ты песня, песенка девичья..." Мы подхватили:

”Ты лети за ярким солнцем вслед...” И так, распевая, мы начали сближаться, пока не различили впереди две темные фигуры. Сердечно поздоровались. Все повеселели. В крошечной тьме повели нас капитан с товарищем в свое логово. Ничего не видя, мы с Григорием оступались и падали. Тогда наши проводники сняли ремни и мы, держась за концы, пошли увереннее. Шли мы по тропинке на противоположном склоне горы, а не по той, по которой всегда ходили на работу и к деревне. Шли долго, пока не услышали бульканье ручья, впадавшего в Ден. В будущем, в непроглядную темь, дождь и метель, шум воды, падающей с двухметровой высоты, будет нам путеводным маяком, сигналом конца трудного пути и скорого отдыха.

Перебредя ручей, мы свернули налево. Как раз напротив водопада начали подъем на гору. Капитан предупредил, что это самая трудная часть пути.

Действительно, мы несколько раз обрывались и скользили вниз по крутой горе. Но в конце концов, цепляясь за ветви деревьев и кустарник, мы взобрались наверх и уперлись в отвесную скалу. В нескольких шагах отсюда вдоль скалы и находилось жилище беглецов. Это был незатейливый шалаш из поставленных наклонно к скале ветвей ели. Шалаш был мал, и, мы, сидя, едва поместились в нем. Почти всю ночь я не спал. Несколько раз вылезал размять ноги, но холод снова загонял меня внутрь.

Утром я рассмотрел окрестности. Место было выбрано очень удачно: закрытое со всех сторон горами и лесом и труднодоступное. Отвесная скала, возле которой я стоял, была метрах в пятидесяти от невидимого журчащего и булькающего внизу ручья. С этой стороны горизонт закрывала большая гора, покрытая буковым лесом. В сторону долины речушки Ден скала поднималась вверх, а затем круто обрывалась в долину. Отсюда с высоты открывался прекрасный вид на оба конца долины и большую дорогу. Позади за шалашом скала опускалась до высоты человеческого роста. Выступающие корни деревьев позволяли подняться на верхнюю часть горы, покрытую густым еловым лесом. Путь по этой части горы мы позже назвали ”верхней дорогой”.

К нам попасть можно было тем путем, которым мы пришли: карабкаясь по заросшему деревьями и кустарником крутому склону, или же по звериной тропинке, шедшей вдоль скалы в противоположную сторону от долины реки Ден и пересекавшую тропинку, шедшую вдоль ручья, довольно далеко от шалаша. Но и эта дорога была труднопроходима.

Промучавшись всю ночь, мы решили немедленно начать строить новое жилище, но уже не шалаш, а землянку. Шалаш же превратить в кухню.

Место выбрали в нескольких десятках метров от шалаша в сторону большой дороги, где отвесная скала круто поднималась

вверх и нависала над небольшой площадкой у основания. Рыть землю оказалось нетрудно, даже палкой. Грунт состоял из песка и мелких камешков, когда-то оторвавшихся от скалы. Вечером я сбегал и принес давно запрятанную мной на всякий случай лопату. К ночи яма была готова. В ней и заночевали.

На следующий день мы срубили лопатой несколько некрупных елок. Ствол пошел на балки, а ветками покрыли крышу. Оставили не закрытым небольшое четырехугольное отверстие для входа. Затем на крышу навалили песок из ямы. Внутри пол землянки устлали сухими иглами ели. В землянке можно было лежать, вытянувшись во весь рост, и сидеть, не касаясь головой крыши.

Разместились по жребию. Место у входа досталось Мамедову, за ним лег Григорий, затем я, а за мной капитан. Григорий на веточке повесил свой будильничек. Будильник показывал время, но не звонил. Благодаря способности просыпаться в назначенное время, роль будильника исполнял я. Мамедов из ветвей сплел крышку для входа, и у нас стало совсем уютно. В следующие дни мы выкопали в лесу и посадили вокруг землянки для маскировки несколько елок. Теперь даже с воздуха нас нельзя было обнаружить.

После постройки жилья неотложной задачей стала добыча пищи. Котелок супа, а иногда и немного хлеба или картошки оставляли нам у костра товарищи, точнее Василий. Впоследствии это перешло в традицию. Каждый день, при наступлении темноты, мы отправлялись на место работы команды. Где-нибудь невдалеке от костра, под ветками, мы находили котелок с супом. Но котелка супа на четырех человек не хватало... Необходимо было и самим добывать провиант.

Костер обычно еще дышал жаром, и мы долго грелись, обсуждали свои проблемы. Иногда Василий оставлял записку под котелком. В ней он сообщал последние новости. Так, вскоре он написал о том, что, по сообщению коменданта, нас поймали и отправили в концлагерь.

Мои товарищи, переговорив между собой, предложили мне стать командиром нашего отряда беглецов. Но я сразу же поставил условие, о котором уже думал много дней: мы не можем сдаваться еще раз в плен. Нас собралась целая банда, и немцы никогда не поверят, что мы не занимались грабежами. Иначе говоря, в случае поимки нам грозил концлагерь и почти верная смерть. Поэтому, если возникнет необходимость, не следует останавливаться перед крайностями в защите нашей свободы. Теперь, когда стали известны некоторые секретные документы, — не приходится сомневаться, что я был прав. Товарищи сразу мне ничего не ответили...

Под моим минимальным руководством был совершен первый, как мы называли, "поход" в деревню за пропитанием. Отправились мы около 12 часов ясной и безлунной ночью. Подмораживало. На верхнюю часть горы мы поднялись у кухни. Шли налегке, без

шинелей. Так поступали и в дальнейшем, независимо от погоды. Начиная поход, я засунул правую руку за борт пиджака и перекрестился мелким крестом. Позже я заметил, что то же делает и Григорий. Даже Мамедов старался отстать и что-то про себя шептал. Только капитан безучастно шагал, ни на что не обращая внимания.

Подойдя к баракам, мы спустились вниз. Минут пять прислушивались, но все было спокойно. Пересекли мост и центральную улицу. На соседней улочке находился склад. Как мы и предполагали, дверь в склад была открыта. Спустились в подвал. Обнаружили в одном углу картошку. Она была мелкая и вялая, немцы ее уже не употребляли для еды, но для нас это была ценная находка. В другом углу мы нашли старые мешки. Набрав побольше картошки, мы двинулись назад той же горной дорогой. Тут я решил сократить путь и завел свой отряд в такие дебри, что мы едва выбрались под утро.

Этот эпизод и мое условие привели к моему раннему падению с должности командира отряда. Григорий от имени остальных сообщил, что мое условие не может быть принято. "Если мы убьем немца, — сказал Григорий, — то нас уже ничто не спасет! А так еще будет надежда!" После этого установилось безвластие и строгая демократия. Справедливости ради следует сказать, что наиболее полезным членом нашего отряда стал Григорий. Ему принадлежала инициатива рискованного похода на солдатскую кухню и многое другое.

Обеспечив себя на некоторое время провиантом, мы стали подумывать и о других вещах. В первую очередь — что делать дальше? Оставаться на месте и дожидаться прихода американцев или же идти на запад им навстречу?

Мои товарищи были за первый вариант. Мы хорошо замаскированы, нам помогают друзья. Есть и другие возможности добывать пропитание. Особенно за этот вариант ратовали капитан и Мамедов, вкушившие бесприютного шатания по незнакомым местам. Ко всему этому и зима была на носу. На этом и остановились.

Я все же решил произвести на всякий случай глубокую разведку. До рассвета я уходил по тропинке, шедшей вдоль ручья на запад. Тропа через несколько километров выходила в долину реки Ар. Эту долину, при походе в Бельгию, нам предстояло бы пересечь. Из своего убежища в кустах я целыми днями вел наблюдения. Оказалось, что на противоположной стороне долины стоят часовые в черной форме, несомненно эсэсовцы. Об открытии я сообщил товарищам. Мы пришли к убеждению, что там расставлены заградительные отряды. Это предположение было добавочным аргументом в пользу решения не рыпаться с места. Как оказалось впоследствии, мы ошиблись. В лесу на той стороне долины шло строительство стрельбищ для нового оружия Фау 1. Вскоре мы

услышали взрывы и характерный удаляющийся пульсирующий звук. Били по целям на территории Франции и Бельгии, занятых союзными войсками.

В эти дни шатанья по лесу я нашел прекрасный охотничий нож, вероятно потерянный лесником. Из нас всех только я не имел ножа, но теперь я перещегоолял всех. Позже я не мог представить себе, как я обходился без него.

Обычно светлые часы суток мы проводили в землянке, настороженно прислушиваясь ко всяким внешним звукам. Иногда засыпали на короткое время и, вздрагивая, просыпались. Это было сплошное терзание нервов. Лежишь и думаешь — вот идут солдаты или лесник с собакой. Собака, естественно, сразу же учует нас. День длился бесконечно, и тошнотворный страх не покидал нас ни на минуту. Интересно отметить, что страх наваливался на нас только в землянке. В лесу его не было.

С глубокой радостью мы встречали приближение сумерек. Начинались разговоры и споры. С самого начала совместной жизни мы разделились на два лагеря. Капитан и скупой на слова Мамедов стояли на просоветских позициях. Впрочем, Мамедов иногда изменял своему другу и старался нейтрализовать накалившуюся атмосферу. Мы с Григорием образовали антисоветский блок.

Капитан был из бедной белорусской крестьянской семьи. Малограмотным пошел в армию. Остался на сверхсрочную и через много лет дослужился до капитана. Не начнись война, он был бы уже майором. Типичный советский продукт. Повторял заученные фразы. Жизненная логика шкурническая: "советская власть сделала меня капитаном, значит она хороша, и я должен ее защищать, впрочем не до смерти!" Вместе с этим нельзя отрицать его практических военных знаний и крестьянской смекалки. В старое время из него вышел бы хороший вахмистр.

Ночами мы кричали и спорили так, что казалось — поднимается крыша землянки. Крик компенсировал наши дневные страхи.

Питались мы скудно. Ели два раза в день. Утром перекуса. Когда темнело, очередной повар отправлялся в шалаш варить суп. Прежде всего он спускался к ручью и набирал воды в мармеладное ведро и еще какую-нибудь посудину. Величина картофельной порции на суп заранее утверждалась. Повар скоблил шелуху с картошки и мыл ее. Картошка в ведерке варилась, пока совсем не разваривалась. К сожалению, ни грибов, ни диких кореньев и трав уже не было. Капитан как-то сообщил, что на вершине противоположной горы растет дикая яблоня. Ее мелкие горько-кислые плоды были почти несъедобны. Согласно рецепту капитана, нам следовало подождать, пока яблоки не прохватит мороз, после чего их надо варить вместе с картошкой. Действи-

тельно, яблоки теряли свою горечь и кроме того придавали супу кисловатый вкус и заменяли отсутствующую соль. Оставшись без соли, мы первое время пытались заменить ее золой, но потом привыкли. Страдали только от недостатка еды.

Вечерний суп был центральным событием суток и ожидался с нетерпением. В общем, питались мы хуже, чем в любом лагере. Но какая разница в психическом состоянии человека. Свобода сама по себе придает силы...

При варке пищи принимались все предосторожности, чтобы огонь не был замечен постороннему глазу. Шалаш со стороны дороги закрывали еще сплетенной из ветвей заслонкой. Топили всегда дубом, следуя правилам, установленным капитаном. Дуб дает больше жару и меньше пламени, чем елка. Для заготовки топлива выделили одну ночь в месяц и шли на гору, где стояли молодые дубки, по какой-то причине высохшие.

Особые меры принимались для маскировки следов. Протоптанную дорожку в кухню каждый день присыпали листьями. Сознывая конечно, что если кто забредет сюда, то непременно увидит и кухню и землянку. Кроме этого, кухня вся провоняла дымом, особенно далеко ощущаемым, когда выпал снег. Наибольшие старания в маскировке проявил Мамедов. На всех подходах и близких тропинках он разложил поперечные палки и ветки. Если при проверке палка оказывалась не на своем месте, значит кто-то проходил по тропинке. Событие настораживало.

Опасность нам грозила с двух сторон. Наибольшая — от опытного и близко знакомого с территорией лесника. По утрам он нередко охотился на оленей, кабанов или коз, сидя на специальных 10-12-метровых вышках. С высоты он хорошо и далеко обзоревал окрестности. Хотя мы и изучили расположение вышек, но попасться на глаза ему было легко. Мог лесник заметить нас и возвращаясь домой. Поэтому мы вскоре прекратили всякие дневные хождения и полностью перешли на ночную жизнь. Опасались также солдат, которые находились где-то за противоположной горой. Но где — мы никогда так и не узнали.

О том, что наши страхи оказались вполне обоснованными, я расскажу несколько позже.

Огромным плюсом было то, что лес принадлежал военному ведомству и доступ гражданских лиц был ограничен лесниками. Ночью в лесу было совершенно безопасно.

После месяца лесной жизни у нас установились твердые правила гигиены. Раз в месяц мы купались и стирали нижнее белье. Купались на открытом воздухе. Но вот какой водой — теплой или холодной — мыться, мнения разделились. Григорий считал, что холодная вода — лучшее предупреждение простуды. Я же предпочитал подогретую воду. Сторонники холодной воды спускались к ручью и там мылись. Я же на кухне подогревал немного воду, очищал

снег с плоского камня, становился на него и мылся, употребляя вместо мыла золу.

Простудные опасения не оправдались. Мы не простужались. Но иногда болели. В таких случаях на помощь приходил Григорий. Он строго расспрашивал болящего о симптомах и прописывал лекарство. Одно и то же во всех случаях — жменьку поджаренной ржи. Мешочек с рожью он принес в лес при побеге. Лекарство действовало безотказно. Пациент съедал рожь по зернышку, и наутро болезнь как рукой снимало.

Познакомились мы не только с окружающей местностью, но и с животными — нашими ближайшими соседями. Некоторые из них приняли нас за своих, другие же считали чужаками. Наверху над землянкой росла большая ель. В ее ветвях жила сова. Ель и сова предсказывали погоду. Ель заранее, до непогоды, начинала шуметь, а сова — аукать. На нас сова не обращала никакого внимания и жила по своим совиным обычаям. Через долину реки Ден, на противоположной горе, обитало многодетное семейство барсуков. Мама с папой пришли нас однажды навестить и перепугали до смерти. Было это днем. Вход в землянку был открыт. Вдруг мы слышим шелест листьев на дорожке. Впечатление было такое, как будто идет человек. Мы застыли. Но тут две любопытных мордочки появились в рамке входного отверстия, понюхали воздух, повертели головами и спокойно ушли. Напротив, на горе, жил старый козел. Нам он доставлял одни неприятности. Дело в том, что он пил воду из ручья в том же месте, где и мы. Завидев нас, он приходил в большое волнение, бежал на свою гору и поднимал крик на весь лес. Вероятно, от старости, он не блеял, а лаял, как собака. Мы всегда опасались, что, услышав козлиный лай, лесник догадается о присутствии людей.

Близкое знакомство у нас произошло с одной пичужкой, похожей на воробья, но покрупнее и с красными перышками на шее. Она залетела к нам в землянку в декабре, когда снег засыпал землю и деревья, и сразу же облюбовала свисавшую с крыши веточку и уселась на ней. Кормили мы пичужку вареной картошкой, которую она клевала с большим отвращением. Характер у нее был очень стеснительный. Когда птичке кто-либо из нас протягивал палец с приглашением сесть — начинала страшно волноваться и прыгать на веточке, но присаживалась на секунду. Поев, махала крылышками, пробовала чирикнуть, затем чистила перышки. Но тут ее начинал одолевает сон. Поморгав глазками, прятала головку под крылышко и крепко засыпала.

Позже залетели к нам два щегла. Публика эта была нахальная и драчливая. Они гонялись друг за дружкой и били нашу пичужку. Протянутый палец клевали. В конце концов мы их выпроводили. Когда частично сошел снег, пичужка выпорхнула и мы ее больше не видели.

При нашем очередном походе "к огню", кроме котелка супа, мы обнаружили записку, спрятанную под котелком. Василий сообщал взволновавшее нас известие. При очередной уборке солдатских барачков, после отъезда солдат на фронт, ребята обнаружили под одним из матрасов спрятанную винтовку и чуть ли не полмешка патронов к ней. Почему солдат бросил винтовку — осталось неизвестным, но возможно, что он дезертировал. Василий спрятал винтовку за барачком и теперь предлагал нам ее взять, и немедленно. В записке был нарисован план с указанием точного места, где спрятана винтовка.

Несмотря на ясную погоду и полнолуние, мы решили идти. Пошли в полночь. Около часа ночи мы с Григорием стали спускаться вниз, капитан и Мамедов остались наверху. Опасность заключалась в том, что в месте спуска был редкий лес и нас легко было заметить со стороны деревни. Но, по расчетам всеопытного Григория, люди всего крепче спят между часом и двумя ночи. На это мы и надеялись.

Винтовку и патроны мы нашли без труда. Ребята из своего окна наблюдали за нами и после рассказывали, что было, "как в кино"! Винтовка при ближайшем рассмотрении оказалась польского происхождения. Видимо, немцы доходили уже до ручки, если вооружали своих солдат польским оружием.

Любовное внимание к винтовке проявил капитан. Он ее вычистил и постоянно рукавом снимал невидимую пылинку. Ему и была поручена забота об оружии. Сразу же встал вопрос об охоте. Дичи в лесу было немало. Но соблазн мы преодолели: слишком большой риск. Мы могли скрываться только до тех пор, пока о нас никто не знал. Стоит нам себя обнаружить — и наша судьба будет решена, и именно так, как предсказывал я!

Вскоре после обретения винтовки мы наткнулись в лесу на военный брезентовый мешок с зажигательными гранатами и полудюжиной коробок с ампулами морфия. В другом месте нашли спрятанный в яме парашют. Возникло подозрение, что в этом лесу мы не одни. Возможно присутствие разведчиков англичан или американцев. Но не так давно я прочитал, что в горах Айфеля в это время не было союзных разведчиков. Именно поэтому союзники проворонили начало немецкого наступления в Арденнах в конце декабря 1944. По моим сегодняшним предположениям, гранаты и лекарство предназначались для бельгийских партизан, действовавших в Арденнах в 60 км от нас на запад. Парашют же мог принадлежать сбитому летчику.

Вероятно, самая опасная ситуация для нас, когда мы были на волосок от гибели, возникла сразу же после приобретения винтовки. Мы как всегда лежали в землянке с открытыми глазами и прислушивались ко всем внешним звукам. Вдруг ухо уловило какой-то непонятный шум. Звуки усиливались. Я вылез наружу

и лег у скалы. Сквозь вершины елей можно было рассмотреть цепь солдат, спускавшихся с противоположной горы. Теперь можно было различить голоса отдельных солдат. Солдаты прочесывали лес.

Мы внутренне заметались! Что делать? Бежать — значит выдать себя. Место, где мы поднимаемся на верхнюю часть горы, просматривается солдатами. Вниз спускаться нельзя — прямо попадаем на мушку винтовок. Мы чувствовали себя крысами, загнанными в угол! Я решил бежать наверх, как только солдаты спустятся к ручью и начнут подыматься к нам. На наше счастье, солдаты сошли вниз, покурили и по тропинке пошли в сторону долины реки Ар.

Кого искали солдаты? Или это были просто полевые занятия? Вернувшись в лес после войны, мне кажется, я решил эту загадку.

О положении на фронтах мы узнавали из сбрасываемых с самолетов листовок, почти всегда с картами расположения фронтов. В первой половине сентября союзники подошли к границам Германии. В этом мы могли наглядно убедиться, наблюдая вспышки молний на западном ночном горизонте. Шли тяжелые бои за первый немецкий город — Ахен. Город пал после шестинедельных ожесточенных боев. После взятия города американцы начали пробиваться к Рейну в самом неудачном направлении — через горы и леса Айфеля. Здесь они надолго и застряли...

Еще два раза мы ходили в деревню на склад за полутнилой картошкой. Последний раз принесли уже остатки. Необходимо было искать новых путей добычи пропитания. Стали регулярно высылать ночные разведки во все четыре стороны. Нередко шли к угловой горе, откуда открывался вид на долину реки Ар и станцию Арбрюк. Ни огонька, ни движения внизу. Только иногда спросонья залает собака и снова все стихнет. Сидя на камне и прислушиваясь к тишине, мы отчаивались, что союзники никогда не придут и война будет тянуться бесконечно.

В один из голодных дней Григорий предложил план похода на солдатскую кухню. Но план требовал подходящей ненастной погоды, чтобы шум леса заглушал наши действия за спиной часового, охранявшего кухню.

Ждать в эту пору года пришлось недолго. Зашумела ель наверху, заухала сова — быть непогоде!

В поход с Григорием отправился я. Шли вершиной горы. Ветер на открытых местах разыгрывался вовсю и бил в лицо колючими снежинками. Против кухни мы начали спуск. Рассчитывали быть внизу после двенадцати часов, чтобы не попасть на смену караула. Часового разглядели, только когда раздвинули ветки кустов. Находились мы в самом подходящем месте — левее двери в кухню и против подвального окна, закрытого решеткой. Часовой мерно шагал от одного угла здания к другому. Когда он проходил мимо

нас, до него можно было дотронуться рукой. Память автоматически засекает время, имеющееся в нашем распоряжении — две-три минуты от нас до угла здания в сторону бараков, считая остановку и поворот на углу. В следующий раз, когда часовой минул нас, Григорий вылез из кустов, шагнул вперед, снял решетку с подвального окна, влез в оконный цементный колодец и закрыл над собой решетку. Часовой повернулся и пошел назад по направлению к нам. Миновав дверь на углу, снова повернул и прошел мимо меня. Наступил решающий момент. Если окно в подвал заперто, Григорий вылезет и мы уйдем не солоно хлебавши. Но Григорий не появился. За вторым заходом я проделал те же операции, что и Григорий. В цементном ящике я спрятал лицо, чтобы часовой не заметил светлого пятна. Напряженный слух ловил приближающиеся, а затем удаляющиеся шаги часового. Надавил на раму окна, открывающегося внутрь помещения. Только бы не глубокий подвал! Иначе мы очутимся в мышеловке. Но окно было только на высоте груди.

Григорий уже ждал меня. Ощупью пошли вдоль стен и наткнулись на кучу картошки. Стена привела к лестнице, идущей вверх в кухню. Поднялись. Невдалеке белел холодильник. Григорий открыл дверцу, чиркнул и потушил зажигалку. Часовой огня заметить не мог, так как кухонное окно выходило на другую сторону здания. Григорий начал что-то совать в мешок, затем прихватил несколько буханок хлеба со стола. Спустившись вниз, я набрал полмешка картошки — столько, сколько, по моему мнению, могло пролезть через окно.

Снова первым полез Григорий. Он поднял окно, прислушался, пропустил часового и, положив мешок под решетку, сам взобрался туда. Затем вылез и спрятался в кустах. Я повторил те же операции. Всего нам понадобилось минут пятнадцать-двадцать.

Домой шли радостные и счастливые. Как мало человеку надо для счастья!

В землянке разглядели добычу. Григорий принес кусок сала, фунта два маргарину и три буханки хлеба. Я — полмешка картошки.

Какое необычайное наслаждение для изголодавшегося организма — хлеб с салом!

В декабре события следовали убыстряющимся темпом. Выйдя как-то к долине реки Ар, мы не узнали прежде тихой и мирной долины. Внизу по дороге непрерывной лентой двигались машины. На путях без огней пыхтел паровоз с тяжелогруженными платформами. Все это направлялось к фронту.

Мы были озадачены и стали вести регулярные наблюдения. Поток не прерывался. Что это могло означать? Подкрепления? Или же немцы готовят наступление? Но союзники твердят о бессилии и близкой гибели Германии! Знают ли они о подходе значительных сил?

На все эти вопросы мы не имели ответа.

Как выяснилось впоследствии, долина реки Ар стала главной артерией, по которой шли войска и техника, снятые с Восточного фронта на запланированное Гитлером последнее наступление Вермахта. Удар, совершенно неожиданный для американцев, пришелся на тихом участке фронта, южнее красивого городка Моншау, и вызвал панику среди союзников.

После начала Арденнского наступления в небе появились немецкие самолеты. Над нашим лесом разыгралась одна из воздушных битв. Пять американских легких бомбардировщиков, как обычно низко и не ожидая отпора, летели вглубь Германии. Откуда ни возьмись появились три новейших юнкерса. Самолеты взмывали вверх и падали вниз под аккомпанемент пулеметных очередей. Один за другим, оставляя черный хвост дыма, падали американские самолеты. Минут через десять все было кончено. Помахав крыльями, юнкерсы скрылись. Видя превосходство немцев, ни один американский летчик не улетел. Смерть предпочли позору отступления.

Мы совсем пали духом. Надежда на скорое освобождение улетучивалась как дым.

Но в ежедневных делах нам сопутствовала удача. Как-то мы с капитаном шли ночью по главной дороге. Возле самой деревни различили на обочине что-то темное. Осторожно подошли ближе. Это была открытая грузовая машина, из которой доносилось тихое похрапывание многих людей. Вероятно, заночевали солдаты по дороге к фронту. Я не выдержал соблазна, подкрался к самой машине и протянул руку через борт. Первое, что нащупал, была толстая полость. Схватил за край, рванул к себе и побежал по дороге. Полость оказалась большой, она тащилась по дороге и затрудняла бег. Отбежав с полкилометра, мы остановились, свернули ее и пошли домой уже лесной дорогой. В землянке при свете лучины рассмотрели добычу. Полость была из толстого черного войлочного материала, из которого на Кавказе шьют бурки. Прodelав тысячекilометровый путь, она обрела своих настоящих хозяев. Теперь мы могли спать без шинелей и даже без верхней одежды в самые сильные морозы.

Интересно, что подумали солдаты, вдруг лишившись среди ночи одеяла?

Почти регулярно, днем и ночью, над нами пролетали эскадрильи тяжелых бомбардировщиков — летающих крепостей — бомбить Германию. С аэродромов Франции и Бельгии путь теперь был недалек. О численности машин мы судили по продолжительности гула моторов.

Однажды ночью среди размеренного гула машин вдруг возник иной звук, тонкий, визжащий и все нарастающий по силе. Затем со стороны "Сибири" донесся глухой удар. Мы выскочили наружу и увидели в том направлении небольшое пламя, скоро погасшее. Дождавшись рассвета, мы отправились посмотреть, что случилось. В предрассветной мгле нам представилась следующая картина: на

пологом склоне горы, среди редких буковых деревьев лежали два самолета. Один — четырехмоторный бомбардировщик, другой — истребитель, врезавшийся в бок первого. Так, сцепившись, они и упали. На небольшом расстоянии вокруг мы нашли семь человек команды — все мертвые, с нераскрывшимися парашютами. Картина была ясная. Истребитель, охранявший эскадру в полете, протаранил бок бомбардировщика. Команда бомбардировщика спрыгнула, когда до земли уже было недалеко. Летчик истребителя погиб, по-видимому, при аварии — он остался в самолете. Его голова была разможена. Руки все еще держали управление.

Мы снесли летчиков в одно место и обыскали их. Кроме нагрудных номеров, у них никаких документов не было. Не нашли и ценных вещей. Только в потайном кармане внизу брюк со внутренней стороны мы обнаружили пластиковые коробочки. В них находились вещи, необходимые для побега: тонкий шелковый платок, на котором были отпечатаны границы Германии, колечко с маленьким компасом вместо камня, стальная пилочка в парафинированной бумаге и запас пилюль. Пилюли мы немедленно съели, не подумав, что среди них могли находиться ядовитые, для самоубийства.

Я взял себе кожаные боты, подбитые бараньим мехом. Мои ботинки совсем развалились и были скручены телеграфной проволокой. В них постоянно были или вода, или грязь. Взяли мы и меховые куртки. Карта, а в особенности компас, впоследствии очень пригодились...

Полдня мы трудились, копая могилу для летчиков подсобным инструментом. Кроме этого, вели непрерывное наблюдение за окрестностями, ожидая появления немцев. Но все было спокойно. В каменистой почве нам удалось вырыть только неглубокую яму. На разостланный парашют мы сложили трупы. Летчика из истребителя достать не смогли. Все были молодые, красивые ребята. Закрыв их концами парашюта, мы засыпали могилу и наверх положили груды камней, чтобы не разрыли лесные звери.

В кабине самолета пробовали включить радио, но оно не работало. Срезали кожу с сиденья. К самолетам приходили еще два раза, но ничего нужного для себя не нашли. Немцы все еще не обнаружили самолетов. Из кожи я сшил себе прекрасные ножны для охотничьего ножа.

Теперь мы имели оригинальный внешний вид — в кожаных летных сапогах и куртках, латаных-перелатанных пленных брюках неопределенного цвета, с такими же пилотками на головах. К этому — заросшие щетиной лица и вечная настороженность в глазах и движениях. Ночные бандиты и дневные трусы! Нетрудно себе представить, что бы сделали немцы с нами, попадись мы им в руки...

Зима 1944-45 выдалась на редкость суровая. Много раз срывался снежок, но его развеивали последующие ветры и смывали

дожди. Наконец, около 20 декабря, на северном небосклоне собрались свинцовые тучи. Под вечер начал падать снег и шел всю ночь. Когда мы утром встали, все вокруг было покрыто белой пеленой. Под тяжестью снежных одежд ели низко опустили ветви. Настало время, которого мы с таким страхом ожидали. Ходить и днем и ночью из-за оставляемых следов стало опасно. Вдобавок, на белом фоне движущаяся фигура заметна очень далеко. Но ходить надо. Волка ноги кормят!

Пробовали ступать след в след, как индейцы, но оставляемые бесформенные отпечатки были еще подозрительнее. Ко всем прочим бедам, мы лишились и котелка супа. Команда из-за глубокого снега прекратила работу в лесу. Продукты катастрофически таяли. В селение путь был закрыт. Оставался один выход, который мы, впрочем, всегда имели в виду: надо добывать овцу.

Мы с Григорием знали, что овцы находятся в соседней долине, возле покинутой деревни. Предстояло идти в сторону Кисселлинга, пересечь гряды гор и спуститься в долину. Овцы на отлете оставались круглый год. Зимой, в снежную погоду, хозяин загонял их в густой ельник. Там было тепло и затишно. Изредка он наведывался и приносил им корм. Все же, из-за проклятых следов, идти в поход опасались. Ждали снегопада с ветром. Ждали недолго. Завыл, зашпакал ветер в верхушках деревьев. Застонала старая ель наверху...

По расписанию, в поход предстояло идти мне и капитану. Но как не хочется идти в неизвестность, да еще и в буран! Землянка в такую погоду кажется особенно уютной и безопасной. Но мы с капитаном не выдаем наших чувств и размеренно собираемся: натягиваем сапоги, подтягиваем пояса, застегиваем куртки и последнее — натягиваем пилотки на уши. Как жаль, что у летчиков не взяли и шлемов. Им-то все равно...

Капитан смотрит на меня, я на него. Впалые щеки капитана заросли густой щетиной. Пошли. Чувствую на себе провожающие взгляды... У выхода берем палки. Ветер с яростью набрасывается на нас. Идем к кухне и с трудом поднимаемся на гору.

Еще не совсем темно, но в такую погоду в лесу не встретишь не только человека, но и зверя. Спускаемся по отлогому склону вниз и пересекаем долину и ручей. Дальше наш путь идет по лесной дороге в гору. Идти немного легче, меньше снега да и ветер послабее. Но скоро гора дает себя знать. Всем хороши летные сапоги, но уж очень тяжелы и не приспособлены для ходьбы.

Идем, вероятно, больше часа. Вот и вершина горы. Здесь дорога уходит вправо, а нам надо пересечь открытое место, заросшее высокой и густой травой, с упругими, как у лозы, стеблями. На перевале творится что-то невообразимое. Ветер рвет и мечет, забрасывая лицо пластами снега. Где-то здесь проходит звериная тропа, но теперь найти ее невозможно. На траву лег слой снега, достигающий

груди. Снег приходится разгребать руками. Мы как бы плывем в снежном море. Сколько снега оказалось бы у нас за пазухой, не имея мы закрытых летних курток!

Преодолев перевал, начали спуск в долину. Ветер постепенно затихает, только вверху на горе продолжают шуметь ели.

Как найти овцу в почти крошечной тьме, в снегопад, в малознакомой, пересеченной препятствиями местности? Не было ли наше предприятие заранее обречено на неуспех? Нет, мы имели хорошие шансы на удачу! Овцу выдает запах. Особенно на снегу, когда воздух необычайно чист и лишен посторонних запахов. Следовало только уподобиться хищному зверю и положиться на свой нос. Так мы и сделали. Вытянув головы вперед и поворачивая их во все стороны, мы стали втягивать в себя воздух. Первая же попытка дала результаты. Я ощутил слабый запах навоза впереди, немного левее нас. Где-то там, вероятно на противоположной стороне долины, в лесу — были овцы. Капитан подтвердил мои выводы.

Ощупывая палками почву, мы двинулись вперед. Случайно я повернул голову сильно влево, и в нос ударил гораздо более сильный запах. Мы свернули и минут через десять увидели что-то темное на снегу. Это была овца. Отбилась ли она от стада или была больна, мы не стали гадать. С собой мы прихватили несколько вареных картошин, чтобы подманывать овцу и заставить ее идти. Но овца на эту хитрость не поддавалась. Тогда связали ремни и пробовали ее тащить. Овца упиралась и не шла. Осталось одно — нести ее на своих плечах. При этом вспомнились слова воровской мудрости, подхваченные у Григория: "Если крадешь что-либо живое — никогда не убивай тут же. Живое легче нести, чем мертвое".

Взвалив овцу на плечи, я понес ее вверх. Даже живая, она была очень тяжела! Мы менялись, делали частые передышки. Особенно труден был перевал, где мы не шли, а ползли. В лесу на дороге было немного легче, хотя снегу значительно прибавилось. Бедная овца иногда слабо блеяла и икала, но не сопротивлялась.

Уже под утро спустились в нашу долину и пропахали в снегу глубокую борозду. Прямо к землянке мы не хотели идти. Пошли в обход на гору и только там свернули налево к землянке. Капитан был послабее меня, он сам, без овцы, с трудом поднимался на ноги после остановок и отставал.

У кухни мы спустили овцу на руки обрадованных товарищей. Все остальное было поручено Мамедову, оказавшемуся большим специалистом по тотальному использованию всех остатков. Первый раз с тех пор, как я попал в плен, я ел настоящий жирный суп.

Утром я ходил наверх посмотреть оставленные нами следы. Они почти исчезли. Даже опытный лесник вряд ли бы догадался, что их оставили люди, а не звери.

Позже за овцой ходили Григорий с Мамедовым, и также успешно.

Во второй половине января потеплело и снег начал быстро таять. Американцы с новой силой стучались в двери Третьего Рейха. Фронт стоял уже недалеко от нас. К ночным сполохам прибавился гул отдаленной канонады. Стали доноситься и отдаленные разрывы снарядов крупнокалиберных орудий.

К этому времени у нас произошли большие перемены. К нам присоединился еще один беглец — Игнат. Он ушел, опасаясь отправки команды за Рейн. Может быть, на Игната подействовали слухи, распускаемые Василием. Василий утверждал, что нашу команду немцы непременно расстреляют. Замечу, что это же перед побегом говорил и я. Но Василий даже знал место, где немцы будут расстреливать пленных — Кельнский мост. Сам, однако, не бежал, хотя его мы приняли бы с большим гостеприимством. Помощь нам исходила от него. Игната мы приняли без большой радости — лишний рот, лишний след. Потеснились. Игнат лег в самом углу, за Григорием. Принес он ворох новостей, из которых самой важной и волнующей оказалась весть о строительстве барака по дороге в наш лес. Для раскрытия загадки барака мы выслали дневную разведку. Выяснилось, что барак уже построен. Он стоял в стороне от дороги, под горой, заросшей ельником, и был почти незаметен. К барaku подъезжают грузовые машины, и солдаты вносят ящики и мешки. Барак охраняется часовым. Не было сомнения — здесь, в укромном месте, построен прифронтный склад.

Следующий наш шаг был предreshен. Глубокой ночью мы лежали на земле у дороги против склада. Дул резкий, холодный ветер. На горе шумел лес. Но холода мы не замечали. Пять пар глаз неотрывно следили за темной фигурой часового, ходившего вдоль барака. Часовому одному в лесу, вероятно, было очень жутко. Удостоверившись в неизменности маршрута часового — от одного угла к другому, мы поползли дальше вдоль дороги и зашли за барак. Двое стали на углах следить за часовым, остальные ножом подкопали землю в средней части барака и, схватившись за край доски, начали ее отдирать. Доска поддавалась с трудом, трещала и скрипела. Когда открылась достаточная щель, в склад полез капитан — самый малый из нас. Он стал высовывать в щель первое, что ему попадалось под руку: четыре плоских ящика и один мешок, вероятно, с мукой. Когда капитан вылез, мы опустили доску на место и постарались рукояткой ножа вдавить гвозди в гнезда. Часовой, по-видимому, ничего не слышал. А может быть и слышал, но боялся посмотреть. И даром, винтовку мы с собой не взяли...

Дома рассмотрели добычу. В одном ящике было мыло. Три других имели на крышке изображение большой гончей собаки в беге. Неужели в ящиках какие-то собачьи принадлежности? Внутри оказалось еще десять ящичков, а в них — давно позабытые сладости: шоколад, рахат-лукум и др. Нам попали в руки подарочные пакеты фронтовикам. Много позже я узнал, что собака была эмблемой

известной 116 танковой дивизии, прославившейся на Восточном фронте. Дивизия была переброшена на защиту Ахена. Как ни хороши и питательны сладости, но дороже всего нам оказался мешок с белой мукой. Теперь мы имели не только хороший суп, заправленный поджаренной на листе железа мукой, но еще и лепешки к нему. Мыло также очень пригодилось в хозяйстве.

За многие месяцы пребывания в лесу у нас выработались звериные инстинкты ориентации на местности, обострились слух и зрение. Окружающую местность на многие километры мы изучили основательно в дневных и ночных походах. Ориентировались автоматически на всех звериных тропинках. Иногда ночью, в пути, я закрывал глаза — все равно ничего не видно. Тропа, выражаясь современным языком, была запрограммирована в памяти. Члены тела повиновались сигналам, не затрагивавшим сознание. В одном месте низко провисла ветка. Затем делаешь большой шаг, переступая ручеек. Щека улавливает легкое дуновение ветерка : это открылся проход между горами, — до землянки осталось минут 15-20 ходьбы. Вдруг все как по команде останавливаются. Здесь — отвесная скала, и можно, прижав к ней мешки, немного отдохнуть. Еще спустя 10-15 лет я легко, ночью, с любого места, нашел бы землянку. Вернее, ноги сами принесли бы меня к ней.

В феврале снова потеплело. В воздухе чувствовалась весна. Судьба баловала нас. Питание за счет склада было обеспечено. В эти дни у меня вышла ссора с Григорием. Мы уже не голодали. Но Григорию захотелось сала. Он предложил мне идти с ним на кухню. Я отказался, — я вообще был против ненужного риска, тем более что опасности подвергались и все остальные. Поймай немцы одного — добьются и до всего остального... Возник скандал. Григорий все же пошел с Игнатом. Вернулись они благополучно. Как всегда, все разделили поровну, и я не имел достаточной силы воли отказаться от своей части.

Игнат решил провести оставку Марию, с которой у него были многозначительные переглядывания. Отправился вечером, стукнул к ней в окно и поставил ее перед выбором: впустить или прогнать. Мария впустила. Вернулся Игнат под утро очень довольный... Мы смотрели на эти эскапады косо.

Из событий февраля месяца следует отметить отправку нашей рабочей команды за Рейн. Обнаружили мы это случайно с Игнатом, во время утренней разведки в сторону селения. Мы находились на горе над бараками и уже собирались возвращаться домой, когда вдруг увидели большой рюкзак, прислоненный к дереву. Оглянувшись и не заметив никого, мы схватили рюкзак и подались вглубь леса. Отбежав, раскрыли рюкзак и увидели тапочки, сшитые из шинельного материала. Игнат воскликнул: "Да это же мешок Федора-сапожника!" Мы вернулись и увидели Федора, разыскивающего свое имущество. Федор нам рассказал, что сбежал по

дороге, прыгнув с замедлившей ход машины. Два дня он пробирался назад, надеясь найти нас. Но нашего места он не знал. Поискав, вернулся к барaku в надежде встретить кого-либо из своих. Федору повезло. Теперь нас было шесть человек и пришлось расширять землянку.

Наш лес постепенно терял свою безлюдность. По главной дороге проехал полицейский на лошади. Его появление мы связали с находкой немцами упавших самолетов и братской могилы. Какие выводы сделали немцы по этому поводу, нам осталось неизвестным. В ту же неделю слышали автоматную очередь, выпущенную недалеко от нас. Что это могло означать?

Однажды мы, как обычно, дневали в тревоге. Кто спал легким сном, кто лежал с открытыми глазами. Вдруг все насторожились. В землянку проникли незнакомые звуки. Сначала едва слышные, но постепенно усиливающиеся до шума морского прибоя. Мы осторожно вылезли наружу и увидели внизу в долине растянувшуюся цепь наших пленных в колодках. Одни еще спускались с противоположной горы, другие уже подходили к тропинке у ручья под нашей горой. Пленных, я думаю, было около пятидесяти человек, пять-шесть солдат охраны. Причем охранники шли с небрежно закинутыми за плечи винтовками рядом с пленными. Сначала мы очень удивились. Откуда взялись пленные и куда их ведут? Почему они идут не дорогой, а скрытыми тропинками? У меня, как и у других, возникла мысль: перестрелять солдат и освободить наших людей! Но что мы будем делать с ними? И обрадуются ли пленные освобождению? А сколько их может погибнуть в результате нашего вмешательства? Посоветовавшись, решили ничего не предпринимать.

Куда вели пленных и их последующая судьба — осталось загадкой. Тропинка эта выходила в долину реки Ар. Возможно предположить, что их вели на работу к батареям Фау 1, позиции которых были расположены недалеко.

В конце февраля пришла пора заготавливать дрова. Все отправились на гору поздно вечером. Треск ломаемых дубков далеко разносился по лесу. Неожиданно к стоявшим несколько поодаль Федору и капитану подошла темная фигура и что-то спросила по-немецки. Федор и капитан застыли. Заметив неладное, мы также прекратили работу. Немец еще раз что-то спросил и вдруг бросился бежать, как вспугнутый зверь.

Бросив все, мы вернулись в землянку. Всю ночь совещались. Утром пошли на разведку и обнаружили, что недалеко от нас, на склоне горы, какая-то семья, вероятно городских беженцев, выстроила избушку и живет в ней. Дальше оставаться в землянке было нельзя. Взрослые, а в особенности дети, подойдя к краю обрыва, легко могли обнаружить нас.

Я предложил разделить на пары. Григорий, помня свой долг, конечно пойдет со мной. Начались споры, обиды, жалобы. Наконец

разделились на две части. Четверо из нашей рабочей команды обосновались на соседней горе, в месте, которое я давно выбрал для подобного случая. Капитан с Мамедовым ушли в "Сибирь". Решение, возможно, было и правильным, но жестоким по отношению к сибирякам. Они больше всего боялись остаться одни, помня свои скитания и жизнь до встречи с нами.

Мы вчетвером за день выстроили хорошую землянку под горой, и даже с печуркой. Но увы! Ее нельзя было сравнить со старой по маскировке. Новое жилище было в редком буковом лесу и имело открытые подступы, как снизу, со стороны ручья, так и сверху, с невысокой скалы. Место в "Сибири", где обосновались другие, мне не приходилось видеть. Капитан с другом каждый вечер приходили к нам. Однажды принесли немецкий автомат. Немцы дезертировали, переодевались в гражданскую одежду и бросали оружие. Однажды Мамедов подробно рассказал историю о том, как на них с капитаном в "Сибири" напали дикие свиньи и они едва спаслись. История была выдумана для того, чтобы разжалобить нас. В конце концов они остались с нами.

Между тем, военные действия на левой стороне Рейна явно приближались к концу. 6 марта многоголосый гул орудий на западе оборвался. Под вечер начался артиллерийский обстрел станции. Снаряды стали рваться и в нашем лесу. Некоторые совсем близко. Утром стрельба возобновилась, но уже на восток от нас. Мне стало ясно: американцы наконец прорвали фронт и вышли к Рейну. Но никто не хотел верить ни своим ушам, ни моим словам. Так долго ждали американцев, что уже разуверились в возможности их прихода!

10. ПРИХОД АМЕРИКАНЦЕВ

На следующий день, 7 марта, рано утром, мы с Игнатом отправились на разведку в селение. По устоявшейся привычке, шли скрытыми тропинками. Предосторожность, как оказалось впоследствии, вовсе не лишняя. Подойдя к скале, мы глянули вниз. Открывшаяся картина поразила нас. Поселок был полон грузовых и легковых машин с большими белыми пятиконечными звездами на кузовах. Не меньше удивил нас несолдатский вид людей внизу, их странная, зеленая, свободно висящая форма, расхристанный вид и небрежная походка. На минуту мы даже усомнились — американцы ли это?

Вернувшись, мы доложили о виденном. Все, кроме меня, сразу же загорелись выходить из леса. Но я запротестовал: как же так, надо подготовиться, привести себя в человеческий вид, наконец, напечь коржей на дорогу. Благодаря мне, мы еще два дня сидели в лесу и собирались.

Я тянул время и откладывал окончательное решение. Желание остаться в лесу охватило меня, когда мы с Игнатом возвращались из разведки. Идет весна. Скоро появятся грибы и ягоды. Жизнь станет легче. А в лесу хорошо, тихо, задумчиво, и никакой над тобой власти, ни хорошей, ни плохой. Но, с другой стороны, как же жить в лесу, где достать ту необходимую горсть муки для похлебки? В военное время и красть не грех, совсем иное в мирное.

Скажу, что решение присоединиться к товарищам далось мне нелегко. В лесу мы прошли большую школу совместной жизни в трудных условиях. Не всегда у нас был мир. Бывали споры и конфликты на бытовой и политической почве. Но хорошо это или плохо, наши политические разногласия не отражались на личных отношениях. Все наши помыслы были направлены на спасение наших жизней. А это можно было сделать только таясь и скрываясь от немцев. Скрываться нам помогала гористая и безлюдная местность авиационного стрельбища. Большую помощь нам оказал московский полужулик Василий, не забывавший о нас во все время пребывания рабочей команды в селении Ден.

Были ли мы партизанами? Нет! Мы не занимались умышленной диверсией, за исключением, конечно, грабежа военных складов. Но по советским масштабам, где партизаном называется всякий, ушедший в лес и грабящий местных жителей, — мы полностью и с правом могли именовать себя партизанами или бойцами сопротивления. Благо и оружие у нас было. В случае поимки, если бы немцы узнали даже о части наших походов, — нам грозила неминуемая смерть.

Как мы узнали позже, из соседней деревни Кисселинг, примерно в одно с нами время, бежали двое французов-военнопленных, работавших у крестьян. Они хотели пробраться во Францию. Но, как и мы, застряли в лесу. Спрятались они в одной из покинутых и полуразрушенных деревень. Не выдержав голода и холода, через две недели французы вернулись к старым хозяевам. О побеге было сообщено властям. Но после возвращения французов за них хлопотали жители деревни и сам бургомистр. Наказания они не получили еще и потому, что за ними не числилось никаких хищений.

9 марта утром мы были готовы к выходу. Я последний раз побрился своим драгоценным ножом. Мы все надели старую одежду и обувь и запаслись на дорогу корзинами. Возле старой землянки я спрятал все оружие и одежду. Как чувствовал, что еще вернусь сюда...

Мы все еще считали себя солдатами и хотели появиться в селении, как подобает военной части, — строем и с рапортом начальству. Вести строй было предложено мне, но я отказался от этой чести: покидал я лес с большой печалью. Повел нас Игнат, хорошо знавший немецкий язык, на котором мы и собирались вести разговоры с американцами.

Шли знакомой тропинкой. Постепенно привыкали к тому, что уже нет надобности прятаться. Мы, конечно, не предполагали, что американцы стреляют по всему живому в лесу. При выходе из леса отряд подтянулся и с командиром во главе вышел на открытую поляну. Немного в стороне от дорожки стоял джип, а под ним на разостланном брезенте лежал на спине солдат и ковырялся в моторе. Мы выстроились перед джипом. Солдат, услышав шаги и увидев наши ноги, вылез из-под машины и уставился на нас. Игнат бодро, строевым шагом подошел к солдату, отдал честь и отрапортовал по-немецки: "Отряд из шести человек бежавших советских военнопленных прибыл в ваше распоряжение!" Солдат, не двигаясь, с минуту смотрел на нас. Затем махнул рукой в направлении селения и снова полез под машину.

Мы были разочарованы. Ожидали большего внимания к своим особам. Но, с другой стороны, солдат ведь ничего не понял из рапорта Игната. Все другие встречные солдаты показывали то же направление. Следуя ему, мы прибыли на солдатскую кухню.

Повар, на наше счастье, оказался сербского происхождения, и мы, с грехом пополам, смогли с ним вести беседы. Но прежде всего повар сбегал к хозяйке дома, у которого стояла походная кухня, принес большую алюминиевую миску и доверху наполнил ее борщом! Я никогда не предполагал, что американцы едят борщ. Все же нас встречали по-королевски.

Съев огромную миску борща с двумя буханками белого хлеба, мы на радостях выбросили наши пресные коржи.

По словам повара, расположившаяся в деревне часть была транспортной. Мы пробудем на месте день или два, пока не соберут большую группу иностранцев. После — нас отправят в лагерь в Бельгию. Повар рассказал, что в лесу прячутся немецкие солдаты и что он и другие американцы ходят охотиться на них. Только вчера убили одного немца. По всем находящимся в лесу людям разрешается стрелять без предупреждения. Позже мы действительно видели у леса такое объявление на немецком и английском языках.

Поболтав с поваром, мы отправились посмотреть наш прежний барак. Вывеска над входом была прострелена и болталась на одном гвозде. Сам барак мало пострадал — была повреждена только крыша. В бараке жили солдаты.

Находясь в приподнято-радостном настроении, мы решили заодно уж провести наших стражников в Кисселинге. Но при выходе из селения нас задержал молодой солдат-часовой, вероятно принявший нас за немцев. Он направил на нас автомат, и по его испуганным глазам было видно, что он начнет стрелять при малейшем подозрительном движении. Приехал джип и отвез нас к коменданту. Нас обыскали, но ничего подозрительного не нашли. Офицер заинтересовался только кольцами Григория. Григорий через переводчика-повара объяснил, что он ювелир, и в

доказательство указал на свой нехитрый инструмент. Мы сообщили офицеру о летчиках, похороненных нами в лесу. Сейчас же снарядили машину. Игнат вызвался показать место катастрофы. В Кисселинг офицер все же не разрешил нам пойти.

Повар позаботился о нас. Нам выдали кое-что из одежды и обуви. Я получил почти новые брюки и ботинки.

Вечером к нам пришли совсем молодые солдаты с просьбой найти для них "фройляйн". Мы были в затруднении. Здешние немцы в общем ничего плохого нам не сделали и не хотелось никого подводить. Для отвода глаз мы указали на соседнюю деревню. Еще американцы интересовались немецкими пистолетами. Но и этого добра у нас не было.

Спали мы первую ночь на свободе на полу в пустой комнате, спокойно и крепко.

Повар не ошибся: на второй день нашего выхода из леса нас на грузовой машине повезли на север, на главную дорогу, соединяющую Кельн с Ахеном. В пути подсаживали небольшие группки соотечественников. Скоро мы подъехали к совершенно разрушенному Дюрену. Высадили нас возле станции, где за проволокой уже находились тысячи немецких солдат. Нас загнали к ним. Это было ненужное оскорбление. Распоряжались всем молодые энергичные американцы в новеньком обмундировании. Они с нескрываемой ненавистью смотрели на нас. Эти-то были хорошо информированы о нашем статусе "изменников родины" и действовали соответственно... Мы ходили жаловаться, но солдаты-чиновники только переглядывались и пересмеивались, делая вид, что не понимают ни по-немецки, ни по-русски.

В этом лагере, к нашей радости, мы встретили Василия и еще нескольких из нашей команды. Согласно Василию, мы не освобождены, а просто перешли из немецкого плена в американский. Отчасти он оказался прав. Распоряжаться своей судьбой нам не было дано...

Мы присели возле группы наших девушек — бывших остовок. Внимание привлекала интеллигентного вида брюнетка в платье из белого парашютного шелка, которое было ей очень велико. Такие же самодельные платья были и на некоторых других девушках. Как оказалось позже, брюнетка была врачом. Она стала работать в лагерной больнице, а в последние дни ликвидации лагеря ее увез во Францию коллега доктор — француз.

Погода была на редкость теплая. Вдоль лагеря паровоз медленно тащил десятки груженных вагонов. На открытой платформе стоял высокий солдат и бросал в гущу немецких пленных консервные банки. Вот она разница между немцем и американцем! Немец себе такой вольности никогда бы не позволил. Пленные, толкая друг друга, старались поймать банку. Знакомая картина.

Мы также проголодались. Я ругал себя за выброшенные коржи.

Появились двое молодых солдат. Они направились прямо к девушкам. Подойдя к брюнетке, сидевшей на своем деревянном чемоданчике, солдаты стали по обе стороны и так и застыли, глядя в пространство и жуя резину. Солдатам явно было приятно побыть в женском обществе. Но что девушки могут быть голодными — солдаты не догадывались. Так они и простояли часа три до нашего отъезда.

В этот день нас еще раз загоняли в лагерь немецких военнопленных, да такой грязный, что всем пришлось стоять несколько часов по щиколотку в жидкой грязи. Под вечер нас погрузили в товарные вагоны и повезли на запад. В нашем вагоне оказались русские, французы и итальянцы. Когда поезд тронулся, наши затянули "Катюшу". После нас французы начали петь задумчиво-печальную песню, в которой мы улавливали только слово "Пари". Затем пели итальянцы известную, также печальную песню "Прощай, Рим". Кончив петь, все заулыбались, начали пожимать друг другу руки и похлопывать по плечам. Песня сближает людей.

Ночью нас выгрузили в каком-то пакгаузе с цементным полом. До рассвета мы не могли сомкнуть глаз от холода. Рано утром нас, советских, отделили от других иностранцев, погрузили на машину и повезли в Бельгию. Но с полпути вернули. Солдат, говоривший немного по-немецки, сообщил, что Бельгия отказалась впредь принимать *displaced persons* (перемещенных лиц) — таково стало наше официальное наименование.

11. АМЕРИКАНСКИЙ ЛАГЕРЬ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ В АХЕНЕ

Вместо Бельгии нашу группу направили в г. Ахен, стоящий на границе Бельгии и Голландии. Выгрузили нас в больших военных казармах в пригороде Ахена Брандте. Военный городок был обнесен проволокой. От ворот под прямым углом к дороге шли два ряда трехэтажных каменных казарм, разделенных большим плацем для строевых упражнений. Возле ворот, вдоль дороги, помещалась комендатура и госпиталь. На дальнем конце — кухня и склады. В каждом ряду было по шести жилых корпусов.

Встретивший нас американский офицер отделил семейных от холостяков. Первых направил в ближайший корпус с левой стороны, нас же в дальний корпус под номером четыре. Наша партия была первыми русскими поселенцами бывших Лютсовских казарм. В первом корпусе на нашей стороне находилось несколько десятков поляков, охранявших лагерь. Но впоследствии поляков убрали. Наша публика не ужилась с ними. Конфликты нередко переходили в драку.

Поселились мы в уже меблированной комнате на третьем этаже. В комнате было десять кроватей с матрасами и двумя прекрасными

шерстяными желтыми одеялами на каждой. Между кроватями стояли тумбочки, рассчитанные на двух человек.

Лагерь от военных действий пострадал мало. Во время боев за город здесь помещался лазарет. Еще и сейчас кое-где валялись бинты, пахло карболкой и иодом. Всю старую мебель американцы выбросили на свалку за складами и долго жгли. У нас руки чесались спасти хорошие шкафы и стулья.

Как только американцы заняли город, в этот лагерь согнали поначалу всех жителей. Американцы очень опасались немецкой партизанщины и при занятии населенного пункта производили тщательные поиски оружия. Кстати, первое выступление "вервольфов" (оборотней) произошло именно в Ахене. Уже при нас сброшенная с самолета группа из шести человек убила первого бургомистра города Франца Оппенгоффа.

Из нашей партии Григорий и Василий сразу же определились на кухню. Остальные, включая меня, попали в охрану четвертого корпуса, комендантом которого стал наш капитан, как старший по чину. Работа в охране была необременительная. Дежурство по четыре часа припадало на вторые сутки. За это мы получали некоторую добавку на кухне и, главное, не стояли в очередях три раза в сутки. Не забывали нас вниманием и наши повара.

Кормили нас первое время довольно скудно, что объяснялось транспортными затруднениями американцев. Война ведь продолжалась. Но постепенно питание улучшилось, особенно в качестве. Больные и дети получали молоко в порошке, а иногда и шоколад.

Советская миссия в Париже, возглавляемая ген. Голиковым, требовала для военнопленных пайка американского солдата (3600 калорий), гражданским — 2000. Но американцы на дискриминацию не пошли и всем выдавали 2000 калорий. На практике, конечно, меньше — они забыли, что Василий работает на кухне! Вот примерное меню с мая месяца. Утром: настоящий кофе или какао с сухим молоком и два ломтя белого хлеба с кусочком маргарина или сыра. В обед — поллитра густого макаронного супа со следами мясных консервов, черпачок пюре и кусочек мяса с подливкой. Вечером черный кофе и несколько галет.

Каждый день, а иногда и несколько раз в день, в лагерь прибывали партии бывших остовцев и военнопленных. К концу мая в лагере насчитывалось около 16 тысяч перемещенных лиц и все корпуса были заполнены.

В лагере находились следующие категории лиц: бывшие военнопленные; бывшие остовцы — мужчины, женщины и дети; участники Русского Освободительного Движения; лица, служившие в немецкой армии, и другие мелкие группы.

Остовцы составляли наиболее многочисленную группу. Как и военнопленные, это были в основном молодые люди, примерно до 35 лет.

Вопрос о лицах, задержанных в немецкой форме, имел свою историю. Еще до высадки союзников в Нормандии, американцы поставили в известность Москву о том, что в немецких частях во Франции есть советские граждане. Москва ответила, что советских граждан в немецких частях нет, о них не может быть и речи. Только в октябре 1944 советская миссия признала факт и одновременно потребовала, чтобы советские граждане, попавшие в плен в немецкой форме, были лишены статуса немецкого военнопленного и рассматривались бы как "освобожденные граждане Советского Союза". Вместе с бывшими советскими военнопленными и восточными рабочими они подлежали скорейшей отправке в Советский Союз. У американцев были сомнения в законности этого требования. Согласно Женевской конвенции, Америка не имела права передавать эту категорию людей Советскому Союзу. Статус военнопленного определялся не национальной принадлежностью, а формой. Вдобавок, американцы опасались германских репрессий по отношению к американским пленным, пока война еще не кончилась. Но после Ялты, 11 февраля 1945, американцы подписали все требования Сталина и обязались выдать всех советских граждан. Для оправдания выдачи еще и сейчас указывают на то, что если бы американцы поступили иначе, то Советы не возвратили бы небольшое число американцев, попавших в советские руки в восточной части Германии. В действительности же Советы в течение первых месяцев после конца войны репатриировали всех американцев. Насильственная же репатриация советских граждан продолжалась до 1947 года.

Число тех в лагере, кто имел отношение к Русскому Освободительному Движению, установить трудно. Они, естественно, скрывали свое прошлое и были неотделимы от военнопленных. Позже, в Германии, мне пришлось встретить нескольких из этой группы, ушедших из лагеря еще до его ликвидации. По их словам, в лагере существовала активная группа, дававшая советы своим товарищам.

К числу мелких групп принадлежат бывшие военнопленные (10-15 человек), каким-то образом поступившие в американскую армию после высадки десанта во Франции. Форма у этих добровольцев была американская, но с большими красными лампасами на брюках. Служили они в транспортных частях.

После энергичного протеста советской миссии этих добровольцев отправили к нам в лагерь. Из их среды был назначен комендант лагеря — бывший советский полковник. Остальные составили как бы внутрилагерную полицию. Вряд ли судьба этих людей, при возвращении домой, сложилась иначе, чем добровольцев в немецкой армии. И те и другие были, по советским законам, двойными изменниками родины.

Примерно такой же численности была группа так называемых "кельнских партизан". Эти бывшие военнопленные, как и

мы, сбежали и прятались среди развалин города. Как долго, мне неизвестно. "Партизаны" редко находились в трезвом состоянии, чтобы толково, без бахвальства, рассказать свою историю. Выглядели они настоящими бандитами. Афишировали свои "заслуги" и требовали привилегий, сводившихся в конечном итоге к добыче спиртного. Настроены были остро просоветски.

Мы, в отличие от "кельнских партизан", не считали себя заслуженными борцами с фашизмом. Однако Мамедов, предвидя будущее, составил список диверсионных актов, будто бы совершенных нами. Я его не подписал.

Все категории лагерников находились в удивительно хорошем состоянии здоровья и поражали американцев, как раньше немцев, своей выносливостью. У меня после плена и пребывания в лесу значительно улучшилось здоровье, но ослабела память, до того, что я позабыл свой домашний адрес. Только со временем наступило улучшение.

В лагере быстро возникла баптистская община. Ее организатором был высокий, худой, очень смуглый человек, лет уже за сорок. У немцев он сидел в концлагере. Горел проповедничеством. Откликались на его проповеди главным образом молодые девушки. Молящиеся собирались вечером на бывшей свалке и пели религиозные песни. Вначале некоторые присутствующие свистели и смеялись. Но поющие не обращали на это внимания, и вскоре слушатели стали вести себя приличнее и даже собирались заранее послушать песнопения.

Я познакомился с одним молодым баптистом — украинским колхозником. Он был мал ростом, с нечистым серым лицом и короткими ручками. Но светлая, нестигаемая вера выделяла его из толпы репатриантов и отражалась на лице и в глазах. От предложенных мною добавок к питанию он решительно отказался. Рассказывал евангельские притчи, смысл которых с трудом доходил до меня. Я как-то заметил, что ему лучше было бы не возвращаться домой. Не секрет, как там относятся к верующим. Но он просто, без позерства, ответил: "Да, мы все это знаем, мы едем домой, чтобы пострадать за веру!" Через несколько месяцев он уехал с первой же партией возвращенцев. Я провожал его. Глядя на невзрачную фигурку в пиджаке не по росту и с маленьким кулечком в руках, думал: "Вот она, соль земли русской!"

Город Ахен, в предместье которого был расположен наш лагерь, — один из древнейших в Германии. Основание города относится ко времени римского владычества. Здесь, у горячих источников, были построены лечебницы для больных и раненых легионеров. Источники и дали имя городу. В корне названия города лежит древнегерманское слово "вода". Расположен Ахен на стыке трех границ: Германии, Бельгии и Голландии. Местность вокруг города так и называется — "Трехпограничье". Ахен имеет славную

историю. Город был столицей Франкской империи. Здесь похоронен основатель империи Карл Великий. После того в Ахене короновались 27 кайзеров.

Когда фронт в сентябре 1944 приблизился к границам города, Геббельс писал, что Ахен станет вторым Сталинградом и город Карла Великого никогда не будет сдан. С другой стороны, союзники, быстро изгнавшие немцев из Франции, были уверены в скором падении города.

Обе стороны ошиблись. Ахен не стал поворотным пунктом войны. Разве что после девяти больших налетов авиации профиль города действительно стал напоминать сталинградский. Но и не достался дешево американцам. После шестинедельных кровавых боев, 21 октября, горстка защитников, израсходовав амуницию, сдавалась. Около половины всех зданий города были разрушены, другая половина частично повреждена. Чудом уцелел Ахенский собор. Из 160 тысяч населения осталось только около 5 тысяч. Большинство было эвакуировано по приказу Гитлера. Несчитанные тысячи остались погребенными под развалинами зданий или же погибли во время уличных боев.

Несмотря на строгие приказы, не покинул остатков паствы католический епископ Ван дер Вельден, сыгравший впоследствии большую роль в восстановлении нормальной жизни в городе при американцах. Он предложил кандидатуру первого бургомистра города Франца Оппенгоффа. В истории города в это тяжелое время также записано имя американского майора Свободы — энергичного и неутомимого военного чиновника. Как я уже писал, бургомистр был убит группой эсэсовской команды, когда мы уже были в лагере. Убийство вызвало отклик мировой прессы и отразилось на последующей оккупационной политике американцев. История убийства была раскрыта уже после войны немецким следствием. Суд над участниками вызвал горячие страсти. Он происходил во время моего пребывания в деревне, недалеко от Ахена. Часть подсудимых была из окружающих деревень. Двое из группы при бегстве подорвались на минах.

После убийства в нашем лагере распространились слухи о том, что в лесах около города прячутся эсэсовцы. Они только и ждут подходящего момента, чтобы напасть на лагерь и расправиться с нами. Однажды во время получения обеда кто-то крикнул: "Эсэсовцы!" Тысячная толпа бросилась в сторону и чуть не растоптала меня.

В первые дни по приезде в лагерь лагерники начали отправляться по два-три человека в разбитый город. Возвращались тяжело нагруженные одеждой всякого рода. Слухи о богатствах покинутого жителями города быстро достигали ушей новоприбывших. Начались массовые походы в город. Но не только мы грабили покинутые квартиры. Голландцы и бельгийцы приезжали с большими возами

и уезжали домой, тяжело нагрузив их мебелью и посудой. Идущие на фронт американские войска также сворачивали в город пограбить, но брали они только ценные вещи.

Наибольшую нужду испытывали мы. В лагерь люди приезжали полуодетыми или в изодранной одежде военнопленного. Американцы по какой-то причине не откликались на острые нужды в одежде и обуви лагерников. Вероятно, это была политика местной администрации, не подготовленной к встрече с людьми из другого мира. Даже больше, американцы вскоре стали ограничивать походы в город, отбирать и тут же сжигать добычу. Конфискацию принесенной одежды можно объяснить стремлением предупредить распространение возможных эпидемий. Но каково было колхознику, впервые в жизни заполучившему приличный костюм, видеть, как он горит у него на глазах? Или же матери, доставшей простыню на пеленки? Конечно, брать чужое добро — дело не похвальное, но для освобожденного голого раба это был минимальный грех.

Я был несколько раз в городе. Во многих местах из-под развалин уже торчали трубы и шел дымок. Но зайти в дом мне было совестно, казалось, что осуждающие глаза смотрят мне в спину. В результате, я еще долго щеголял в пленном пиджаке, пока не выменял на поллитра спирта зеленый пиджак, который носят в Германии лесники. Этот пиджак служил мне несколько лет и прошел со мной многие сотни километров.

Американцы, гордые своими материальными достоинствами и демократическими свободами, видели себя в роли арбитра, пришедшего в Европу разнимать местных драчунов и наводить порядок. Отсюда их полупрезрительное отношение ко всему европейскому. От нас они ожидали того же. Но беда в том, что мы пришли из другого мира, стоящего на противоположном полюсе. Наша страсть к стяжательству жалкого барахла была им непонятна. Наши пьянки, драки, грабежи — пугали американцев. Неудивительны отрицательные характеристики административного персонала, сохранившиеся в архивах. Эти отзывы, в руках не особенно объективных историков недавнего прошлого, превращаются в антирусские выпады.

Трудно отрицать и эксцессы по отношению к немцам. Кроме грабежей покинутых квартир, было, если не ошибаюсь, два убийства лагерниками городских жителей. Но и вспомним, что вытворяли на просторах России в гражданскую войну бывшие военнопленные немцы и австрийцы, пошедшие к большевикам в карательные отряды. А ведь их жизнь в плену была раем по сравнению с нашей!

С самого основания первый лагерь для перемещенных лиц на территории Германии был под пристальным оком советской репатриационной миссии. Нередки были наезды офицеров. Однажды прибыл и сам глава ее — ген. Голиков. Типичный чекист, бритоголовый, с тусклыми глазами. Он молча обошел лагерь, нигде не задерживаясь и ни с кем не здороваясь. Утвердил русского

коменданта и уехал. Комендант и некоторые другие командиры после посещения пришили картонные погоны с нарисованными химическим карандашом звездочками и полосками. Была введена строевая подготовка, продержавшаяся, впрочем, недолго.

Приезжие советские офицеры устраивали митинги. Упирали на то, что "Родина простила вас! Родина вас ждет!" Хотелось ответить: нет нашей вины перед родиной или народом! Все мы, погибшие и живые, стали жертвой двух злых сил — коричневой чумы и красной чумы, сражавшихся за порабощение нашего народа. В этот критический момент все сатанинские силы земного шара объединились, чтобы не дать встать на ноги русскому народу! Лозунги советских офицеров мы переиначили так: "Родина вас ждет, сволочи!"

Не многие лагерники были настроены просоветски. Основная масса, как и раньше, не верила "родной" власти. Но откровенные разговоры прекратились. Ура-патриотами были знаменитые "кельнские партизаны". Они остригли несколько девушек, якобы за связь в прошлом с немцами. Появились доносы. Как далеко они шли по инстанциям — трудно сказать. В общем, лагерная жизнь приближалась к уровню нормального советского общества.

Я познакомился с группой украинцев — молодых учителей из Каменец-Подольска — и даже пробовал ухаживать за хорошенькой "учителькой" Полиной, но безуспешно. В лагере расцвели романы. Из нашей команды "женились" и перебрались в женатые бараки Василий, Иван К. — тот самый, которого я соблазнял бежать. Из лесной компании — капитан и Мамедов. Мамедову удалось среди остовок обнаружить татарку и он был на вершине счастья! В скоропалительной любви было желание хоть немного прикоснуться к счастью, так скупому отмеренному нам в прошлом.

Как и весь мир, лагерники с нетерпением ждали окончания войны. 8 мая встретили с восторгом. Люди поздравляли друг друга и ликовали вместе с американскими солдатами. О будущем не хотелось думать. Радость была о том, что перестала литься кровь! Но прошли дни радости и перед нами встала неумолимая реальность — репатриация на родину — событие желанное, но и страшное. У подавляющего большинства лагерников не было и тени сомнения, что у нас есть только один выход — возвращаться домой. А если уж так, то пускай скорее. Многие утешали себя слухами о переменах на родине. О том, что советская власть уже не та, стала человечней, церкви уже открыли, вот-вот распустят колхозы! Ко всем этим мыслям были же и личные: у меня остались дома мать и сестра — что будет с ними без моей помощи?

В июле я решил провести лес и землянку. Нашел двух попутчиков. Один — Григорий — не тот, что был в лесу, но также из нашей рабочей команды (везет мне на Григориев!). Это был высокий парень со слегка побитым оспой лицом и подчеркнуто военной

выправкой. Очень смелый и наделенный многими талантами. Происходил он из украинской крестьянской семьи. До войны окончил пехотное училище и служил в береговой обороне Очакова. Там и в плен попал. Во время эвакуации нашей рабочей команды, воспользовавшись общим хаосом и разложением, бежал. Как и другие, вернулся назад и разыскивал нас. Не найдя, пошел дальше на запад через долину реки Ар. Был задержан часовыми эсэсовцами. Григорий не растерялся. Он хорошо говорил по-немецки и сказал на допросе, что работает рядом в деревне. Трудно поверить, но его отпустили. В первой же деревне он устроился на работу у крестьянина. Познакомился в соседней деревне с девушкой Марией, Григорий прозвал ее "Кнопкой". Завязался мимолетный роман. Приход американцев их разделил. Девушку увезли раньше, по-видимому, в Бельгию, а Григорий попал в наш лагерь. Теперь Григорий шел со мной, чтобы разыскать следы Кнопки, полагая, что крестьянин, у которого она работала, может указать, где ее искать.

Вторым попутчиком был Алексей, также из нашей команды. Он был среднего роста, ладного сложения и интеллигентного вида. Был очень осторожен. Никогда не ввязывался в политические споры и не говорил о своем прошлом, кроме того что работал учителем в Каменец-Подольске. Отлично знал немецкий язык. Алексея иногда брал на работу к себе в дом главный лесничий-австриец, живший в Арбрюке. Лесничий ненавидел нацистов и вообще немцев и благоволил к русским. У лесничего была дочь. Если существуют ангелы, то она была их воплощением. Конечно, в немецком краснощеком варианте. Молодые люди часто переглядывались. Дальше этого не шло, но и взгляды могут оставить глубокий след в душе... После домашней работы, обычно колки дров, Алексея приглашали к столу, у которого велись длинные беседы на политические темы. О чем там говорил Алексей и какой политической линии придерживался, для меня осталось загадкой. И вот теперь Алексей, бросив лагерную подругу, шел на поиски предмета своих тайных мечтаний.

Вышли мы 19 июля, утром, получив пропуск в город на несколько часов. Пошли прямо на юг, в сторону красивейшего городка Моншау, входящего теперь в известное туристическое кольцо. Перед городком нас задержали английские военные полицейские, но, проверив наши лагерные карточки, на которых было написано "не паспорт", отпустили. В городке мы открыли, что сделали крюк. Пришлось идти назад. Свернули направо возле деревни Симмерат. Не думал я, что все попутные деревни станут в будущем хорошо знакомыми и близкими... От границы километров на 20 вглубь Германии расположена линия Зигфрида, защищавшая западные границы. Везде были следы недавних тяжелых боев. В направлении нашего пути американцы прорывались к Рейну. Все встречавшиеся деревни страшно пострадали. Бункеры взорваны. Разминирована была

только дорога. О минах вокруг предупреждали многочисленные вывески. В лесу же было брошено много имущества, и соблазн был велик. Мы, однако, устояли.

К концу дня мы изрядно проголодались и устали. Продуктов у нас было немного, и мы с ними справились быстро. Но завтра, если поднажмем, надеемся быть в Аремберге — деревне, где работал Григорий. Первую ночь мы спали на сеновале разбитого сарая.

Американцев в деревнях не было, и немцы не особенно чувствовали оккупационный режим.

Деревня Григория не пострадала от военных действий. Бывший хозяин Григория встретил нас приветливо. Но, мне кажется, и не без боязни: неизвестно, что взбредет в голову этим освобожденным рабам! О Кнопке ее хозяин ничего не знал, и Григорий окончательно решил, что ее увезли в Бельгию. Мы переночевали. Хозяева нас хорошо накормили и дали бутерброды еще и на дорогу.

От деревни уже было недалеко до нашей цели. Но мы сделали небольшой круг, чтобы посмотреть позиции Фау 1. На большой поляне мы увидели спаренные рельсы-лафеты, поставленные под углом 45 градусов к горизонту. Это были запускные приспособления. Рядом в траве валялось несколько ракет. Никто этим секретным оружием Третьего Рейха не интересовался. Бери и стреляй для развлечения! Воображаю, сколько бы сюда нагнали охраны, захвати эту местность Советы!

Сначала я показал спутникам нашу старую землянку. Она уже успела отсыреть. Поэтому мы поселились наверху в избушке, где когда-то жили беженцы, испугавшие нас. В избушке мы нашли полмешка старой картошки. Вместе с оставшейся спрятанной мукой получился прекрасный суп.

Назавтра у нас было много дел. Я хотел, наконец, поохотиться. Ведь мы так и не выстрелили из винтовки ни разу. Алексей пойдет в Арбрюк провести лесничего. У Григория также была важная цель. Дело в том, что при эвакуации кухни, в общем беспорядке, ему удалось спрятать в кустах большую бутылку водки-сливянки. Но бутылка тяжела и Григорию нужна моя помощь. И первым делом мы отправились за водкой. Бутылку легко нашли. Она была в том месте, где мы, с другим Григорием, сидели в кустах, готовясь к спуску в подвал. Хлебнули. Водка была очень хороша.

На охоту я отправился после обеденного супа. Пошел в "Сибирь". Возле горы свернул по заросшей тропинке налево. Сделал только несколько шагов, как увидел шагах в десяти молодого пасущегося оленя. Он меня не слышал. Я поднял винтовку и выстрелил. Олень от неожиданности высоко подпрыгнул, бросился в мою сторону и сбил меня с ног. На этом я и закончил свою охоту.

У Алексея также неудача. Семья лесничего давно уехала в Австрию. Вечером мы пили водку. Напившись, подняли страшную стрельбу из винтовки и автомата.

Утром отправились проведать старика Блезера. В подарок понесли бутылку водки и несколько кусков мыла из моих запасов. Погода испортилась. Накрапывал дождик.

Старик встретил нас как родных. Постарел, осунулся. Но по-прежнему живые глаза. Живет один. Жена умерла. Пьет водку, как русский. Весь сияет. Вот-вот скажет старое: "Leben ist Süß!" Спали, накрывшись пуховыми одеялами, необычайно жаркими. Деревенский сапожник починил нам обувь. В деревне все еще жил доктор-белорус с семьей и украинка со своим немцем.

Последний день в лесу. Алексей решил угостить нас французской едой — жареными улитками. Собрал их целое ведро и на ночь засыпал солью. Наутро все улитки вылезли из раковин. Алексей их почистил и изжарил на подаренном стариком маргарине. Я отправился побродить по лесу. Пошел к малиннику, что рос на склоне горы, перед нашей деревней. Сел и задумался: увижу ли еще когда-нибудь свой лес? Как не хочется ехать домой!

Вдруг мое внимание привлек какой-то предмет, слегка торчащий из-под камня. Предмет оказался немецким полковым знаменем в чехле. Его зарыли, по-видимому в спешке, после разгрома фронта бегущие солдаты. Знамя можно было выгодно продать американцам. Но имею ли я право его присвоить? Кто-то умирал и проливал кровь под этим знаменем. Далеко не всякий солдат был преступником. Он исполнял приказ и отдавал свою жизнь так же, как делают солдаты всех армий. Я снова закопал знамя и ничего не сказал спутникам о находке.

Уходя, тщательно спрятал все оружие в старом месте. Но сделал ошибку, показав захоронку Григорию. Он с двумя другими товарищами позже посетит эти места. В результате мой нож исчезнет, а автомат, израсходовав патроны, просто выбросят... Останется нетронутой только винтовка.

Домой мы шли кратчайшей дорогой, прихватив водку и мыло.

12. РЕПАТРИАЦИЯ

Во время нашего отсутствия в лагере начали циркулировать слухи о скорой репатриации. Но прошло еще более месяца, прежде чем первая партия отправилась на родину, точнее, в восточную часть Германии, оккупированную советской армией. 2 августа, под звуки баяна, 1500 человек покинули лагерь. Некоторые ехали тяжело нагруженными. Тащили в разобранном виде велосипеды. Один репатриант нес швейную машину. Большинство, однако, имело скромную поклажу, умещавшуюся в мешке с пришитыми лямками.

Я по-прежнему находился на распутье и оттягивал отъезд.

За первой партией последовали другие. Лагерь быстро разгружался. Из брошенных частей я собрал велосипед и обменял его в Брандте

на часы. Советовался с немцами. Но они были не в курсе нашего юридического положения. Кроме того, немцы с нетерпением ожидали нашего отъезда. От нас они имели только неприятности. Иногда я склонялся к немедленному уходу из лагеря. Но что дальше? Куда идти, на что жить? Все неясно. Давала знать себя наша тотальная отрезанность от свободного мира и условий жизни на Западе.

5 августа уехали "мой" Григорий, Василий и другие. Я остался без друзей. В громадных казармах, еще несколько дней назад людных и шумных, — непривычно тихо и пусто.

Пришла и моя очередь. 7 августа отходил последний транспорт. Ехали комендант лагеря со своими помощниками и все остальные. Итак, я прибыл в лагерь с первой партией и покидаю его с последней.

Перед погрузкой, под надзором советского и американского офицеров, нам давали на подпись хитро составленную декларацию, объясняющую, что у нас есть единственный выбор — добровольное возвращение на родину. Взглянув в колючие глаза смершевца, репатрианты быстро подмахивали документ.

В час дня посадка и выдача провианта. Мы получаем консервы, хлеб и галеты. Против всяких правил, я прихватываю с собой прекрасное американское одеяло, причем никто не возражает. В 4 часа машины покидают лагерь. Прощай, Ахен!

По словам советского офицера, нас везут в Берлин. Оттуда военнопленных направят в часть. Так ли это?

В 6 часов мы уже сходим во временном лагере в окрестностях Кельна. Дальше нас повезут поездом. На следующее утро мы грузимся в товарные вагоны, и поезд медленно движется на восток. Только теперь, проезжая Германию, мы видим, какие страшные разрушения причинила немцам союзная авиация!

Едем медленно. По мере приближения к границам советской зоны настроение репатриантов меняется. Меньше смеха, больше страха в глазах, тише шепот пар, сблизившихся в лагере.

Вагон охраняют два американских солдата. На станциях охраны больше. Солдаты, однако, охотно отпускают по 10-15 человек в соседний лесок, чтобы наломать веток и украсить ими вагон. Репатрианты должны проявлять максимум радости — это для истории. Но из отпущенных добрая половина не возвращается назад. Именно в дороге, по моему мнению, сбежала основная часть людей, решивших не возвращаться.

На третьи сутки езды мы прибыли к зональной англо-советской границе около города Гельмштедта. До вечера мы ожидаем встречного поезда. В советской зоне оставлены только однопутные пути, и движение поездов еще медленнее, чем в западных зонах.

У границы мы впервые увидели советских часовых. Даже у самых храбрых упало сердце. Каждый понимал, что после близкой

невидимой черты возврата назад уже не будет. Человек станет рабом злой и беспощадной машины. Грешен, я подумал, да вероятно не только я, что лучше бы мне пробыть еще несколько лет в плену, чем возвращаться к "своим"!

Вечером медленно прошел встречный поезд с французскими военнопленными, возвращающимися домой. Они были освобождены советскими войсками и находились в Курске. Французы были шумны и веселы. Щеголяли приобретенным в лагере русским матом. В ватных куртках и ушанках, они вовсе не имели французского вида.

Наступил страшный момент. С нашего поезда сошли все американцы и выстроились на платформе. Мы помахали им руками. Поезд тронулся и медленно пересек границу. Минут через пятнадцать нас выгрузили на маленьком полустанке около цементного завода. Здесь отделили военнопленных от гражданских лиц. Последних куда-то увели, а нас выстроили в одну шеренгу. Вдоль строя прошел сержант и молча сорвал картонные погоны с плеч нашего лагерного начальства. После этого нас распустили. Ночевали мы на полу в заводских зданиях с другими репатриантами, прибывшими раньше нас.

Утром я увидел, что недалеко в поле расположилась примерно рота азербайджанцев в полном немецком обмундировании и даже с рюкзаками. Но палатка у них была только одна — санитарная. Жили эти репатрианты под открытыми небесами, и их часто мочил дождик. Раз в день к азербайджанцам подъезжала полевая кухня и они получали еду. По слухам, их выдали англичане из Голландии. Но самое удивительное, что, кажется, не было никакой охраны вокруг их лагеря.

При заводе стояла какая-то армейская часть. Красноармейцы, или по-новому — солдаты, как-то не похожи на нас самих и тех, каких мы помнили в начале войны. Во-первых, погоны — мятые тряпки на плечах. Затем, обращение с командирами — почти панибратское, вероятно, результат войны. В большинстве молодые лица. У всех гимнастерки и пилотки почернели от пота и с белыми разводами соли. Но вид имеют бравый и составляют как бы одно целое с автоматом.

Солдат кричит через улицу высокой красивой медсестре: — "Сестра! Парашютики привезла?" — Та кивает головой.

К нам отношение разное. Особой нелюбовью мы пользуемся у грудастых баб в гимнастерках. Они бросают на нас косые презрительные взгляды. Многие солдаты дружелюбны. Один в разговоре сказал мне: "Замучают они вас! Нас каждую неделю вызывают в Особый отдел и все выпытывают!" — Но в общем — отчуждение. Иногда с долей зависти: вот, люди побывали на свободе, повидали мир!

Мы же сразу почувствовали себя людьми второго сорта, будто замаравшими себя чем-то постыдным.

Я проклинал себя за нерешительность, за то, что не остался на Западе. Как ни стесняли нашу свободу американцы, но даже те полглотка свободы были достаточны, чтобы теперь, с необычайной сердечной болью и страхом, почувствовать их потерю навсегда.

Среди репатриантов я встретил Ивана Иванова, из нашей лесной команды. Мы были прежде соседями по койке. Я разделил с ним сбереженные галеты. Однажды, греясь на солнышке под домом, я предложил ему бежать на Запад. Запомнился его ответ: — "Знаешь, я был лейтенантом войск НКВД. Если меня поймают, то разговор со мной будет короткий!" — На меня он не донес.

Временный лагерь при заводе перестал пополняться репатриантами. По-видимому главная страда прошла. Возвращенцев партиями отправляли куда-то дальше. Я, как и в Ахене, старался задержаться подольше. Но пришла и моя очередь. Завтра с последней партией должен уходить и я. Перед уходом я решил поговорить с немцами, жившими рядом с заводом в небольшом селении. Встретив неряшливо одетую женщину, я заговорил с ней. Она, кривляясь, сразу же запричитала: "Дай хлеба! Дай хлеба!" Но когда вошли в дом, ее юродство как рукой сняло. В доме были дети. Мужчин немцев на заводе и в селении я вообще не видел. Я спросил женщину прямо, не знает ли она человека, который бы переводил людей через границу? Она ответила, что такой человек есть, но он берет за работу 1500 марок. Таких денег у меня не было. Я дал детям плитку шоколада и ушел.

Утром нас выстроили. Сообщили, что предстоит трехдневный марш. Наша конечная цель — лагерь, из которого нас направят в часть. Построившись в колонну, мы потянулись на восток. Было нас, вероятно, человек полтора. И 10 человек охраны. Каждый час делали десятиминутные привалы. В обед — часовой. Провиант нам выдали сухой.

Первую ночь спали в поле. На второй день тяжело нагруженные репатрианты начали бросать свое имущество. Его подбирали солдат, ехавший сзади на подводе. Барахло затем делилось между охранниками. Все было мирно и тихо. Никто ни у кого ничего не отнимал.

У меня все вещи вмещались в небольшую американскую сумку, которую я подобрал в лесу. Но шерстяное одеяло, взятое мной в лагере, вызывало завистливые взгляды, и я решил с ним расстаться. В первом же попавшемся селении я обменял его на буханку хлеба.

В одном из селений, где мы отдыхали в обеденный перерыв, я впервые увидел немецких пленных под советской охраной. Они работали на конюшне. Внешний вид их не был очень страшен. Но взгляд, как и когда-то у нас, — отсутствующий. Я спросил сержанта, следившего за их работой:

— Когда же вы отпустите их домой?

Сержант встрепенулся, как будто его обожгли:

— Что, тебе их жалко стало? А они тебя жалели? Как ты думаешь, когда бы ты вернулся домой?

Угнетающее впечатление произвела сцена, виденная нами на очередном привале. По дороге мимо нас на мотоцикле медленно ехал молодой немец в солдатской форме. Белая повязка на руке означала, что он полицейский. Навстречу ему шел наш солдат — здоровенный детина в грязном обмундировании и с буханкой хлеба за пазухой. Солдат остановил немца и знаком показал, что забирает мотоцикл. Немец покачал головой и что-то сказал. Солдат схватил за руль мотоцикл и начал тянуть его к себе. Оба упали на землю. У солдата вывалилась из-за пазухи буханка хлеба. Он бил немца, а тот изо всех сил цеплялся за свой мотоцикл. Минут пять продолжалось избиение. Наконец солдат отнял машину, сел на нее и, вилля из стороны в сторону, поехал по дороге. Немец плакал, растирая рукавом слезы по грязному лицу. Все молчали. Чувствовалось, что симпатии были на стороне немца.

По старой привычке я запоминал дорогу. На третьи сутки марша мы достигли Магдебурга. На вокзале вечером долго ждали поезда. Я заметил в стороне небольшую группу людей. Это были командиры, бывшие военнопленные. В разговоре один из этой группы позавидовал нам:

— Вам что! Придете в лагерь, пройдете комиссию и пошлют вас в армию. А нас гоняют из лагеря в лагерь — не опознает ли кто бывшего переводчика или власовца. Так и дрожим в ожидании ошибки или подлости!

Поздно вечером нас погрузили в вагоны, а утром мы уже сходили на небольшой станции под названием Премниц, стоявшей недалеко от городка под тем же названием.

13. ФИЛЬТРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ В ПРЕМНИЦЕ

Лагерь, в который нас загнали, напоминал ахенский. Такие же огромные казармы, разделенные плацем для упражнений. Но кроме казарм, в одной части поля было вырыто с полдюжины больших землянок. Это указывало, что в прошлом здесь были пленные.

Лагерь был переполнен возвращенцами, и нам нашлось место только в корпусе со снесенной при бомбежке крышей. Мы разместились на третьем этаже под открытым небом. Мне достался к тому же третий этаж койки. Когда шел дождик, а шел он довольно часто, меня приглашал к себе сосед на нижней койке — осетин Виктор. Мы с ним быстро разгадали друг друга и делились самыми сокровенными мыслями.

Глядя за проволоку, мы видели только фигуры наших солдат. По-видимому, немцев выселили. Вскоре после нашего приезда лагерь

обнесли второй линией проволочных заграждений. Но на политзанятиях никто не осмелился спросить: "Почему это при немцах была одна проволока, а при Советах две?" Проводилась мысль, что хотя, благодаря мудрой политике Сталина, мы победили фашистскую Германию, но почивать на лаврах рано, на нас точат зубы капиталисты Америки и Англии. Комиссар однажды разошелся и, полагая, вероятно, что мы забыли прелести режима, сообщил нам, что советская власть уже не та, что была раньше: "Мы научились вешать и расстреливать изменников родины!" Намек попал в цель.

Время проводили также на маршировках с веселой песней. Кормили по-армейски на кухне, голодно.

По словам ранее прибывших, репатрианты в этом лагере не задерживались. Проходили фильтровочную комиссию и отправлялись в часть. Но при нас такое положение изменилось. Направления в воинские части прекратились. Началась демобилизация старших возрастов. Вскоре очередь дошла и до меня. Я официально стал гражданским лицом. Демобилизованные солдаты из селения уезжали домой. Они приходили к нам, предлагали хлеб и американскую тушенку за уцелевшие у некоторых вещи. Нас же домой не отпускали. В отношении нас у начальства, по-видимому, были другие планы...

В лагере циркулировали различные слухи. Так, рассказывали о злой судьбе остоков первых волн репатриации в соседнем лагере. Из-за того, кому их насиловать, разгорелось целое сражение между стрелковой частью и танкистами. Победили, говорят, танкисты...

Среди массы репатриантов я встретил порядочное число знакомых не только из ахенского лагеря, но и из прежних пленных лагерей и даже из армии. Так попался мне парень, который лежал со мною рядом на нарах в Больхене — лагере, из которого я бежал в первый раз. Он поправился и не имел больше туберкулезного вида. Производил вполне здоровое впечатление. Мы порадовались встрече. На второй или третий день пребывания в Премнице я столкнулся с человеком, показавшимся мне знакомым. Он также обратил на меня внимание и спросил, где мы встречались? Я не помнил. Несколько дней мы проходили мимо друг друга, скашивая глаза. В напряженной обстановке, которая царила в лагере, все становилось чрезмерно подозрительными. Полагалось вспомнить мне, но вспомнил лейтенант: "Да ты же был в роте лейтенанта Радченко, а я был командиром второго взвода!" Теперь припомнил и я. Они — группа молодых выпускников-лейтенантов — прибыли к нам в дивизию из артиллерийской школы в Баку. Дивизия вместе с другими частями 44 армии была предназначена для десанта на Керченском полуострове в конце декабря 1941. Еще накануне отправки я был в списках уходящих, но на следующее утро меня при построении и проверке уже не вызвали. Дивизия ушла, а я остался с немногими больными в военном городке в Кутаиси. Почему

это случилось — осталось мне неизвестным. Десант постигла та же участь, что и наше окружение, и в том же месяце мае.

В лагере оказался также Григорий, с которым мы ходили в лес из ахенского лагеря.

Не только я, но и большинство репатриантов остро переживали потерю даже той кучей свободы, которую мы имели при американцах. В Премнице оборвались всякие надежды на светлое будущее. А человеку, как известно, трудно существовать без веры, даже иллюзорной, но согревающей и помогающей переносить невзгоды. При мне было несколько случаев самоубийств. Люди вешались в землянках. Скрыть этого было нельзя, и начальство объявило, что вешаются власовцы, боящиеся расправы. Было это, конечно, грубой ложью.

Уход в лучший мир был своеобразным избранием свободы. Попутно отмечу, что самоубийство в плену было чрезвычайно редким явлением, мне лично неизвестным.

Товарищи из нашей лесной команды подходили ко мне и говорили: "Да, ты был прав во всем!" Они вспоминали мои слова, что советская власть ничего не прощает и ничего не забывает. Но я-то, умник, так же попал сюда, как и другие доверчивые...

Я твердо решил бежать. Как и все мои твердые решения, это возникло самопроизвольно. Вместе с этим я стал искать причин, оправдывающих мой поступок, — тех, что мог бы сказать матери. Найти их было не трудно: я не хочу своим трудом содействовать укреплению дьявольской власти; я не хочу порабощения еще свободных народов; в предстоящей войне я хочу быть на стороне Америки; наконец, я просто не в состоянии жить и дышать под их собачьей властью! Но теперь, оглядываясь назад, я могу добавить и еще одну причину: трудно ставшему на ноги снова падать на колени.

Кажется, на седьмой день пребывания в лагере я пошел на фильтровочную комиссию. Комиссия заседала в одном из домов городка. Из лагеря репатриантов водили партиями, примерно по 20 человек, под охраной одного солдата. В день успевали "профильтроваться" две партии. По слухам, комиссия была довольно безобидная. При допросах следователи дальше крика не шли.

Городок утопал в зелени. Домики внешним видом напоминали больше польские или украинские, чем немецкие с типичными островерхими крышами. Нас завели во двор, огороженный невысоким забором, и посадили на траву. Некоторое время мы ждали прихода следователей. Солдат стоял в углу двора и скучал. С нами он не разговаривал. Когда явились офицеры — их было четверо, — первая партия пошла на допрос.

Я внимательно осмотрел небольшой дворик. Одна сторона забора, напротив дома, густо заросла выющимся плющом. Раздвинув

стебли в углу двора, я заметил, что в заборе не хватает двух досок и через образовавшуюся дыру можно пролезть в переулок. В окнах, выходящих во двор, видны были спины следователей. Они сидели так с расчетом, чтобы свет от окна падал на лица допрашиваемых. С этой стороны все было благополучно. Препятствием был солдат. Но он от безделья старался завязать разговор с кем-то по другую сторону внутреннего забора и на нас не обращал большого внимания.

Подошла моя очередь. Я стукнул в дверь и зашел в комнату. За столом против меня сидел молодой офицер в морской форме. Над ним висел портрет Сталина. По ассоциации, я вспомнил допрос в гестапо. Офицер предложил мне сесть. Он явно не был профессиональным энкаведистом. На должность следователя, вероятно, попал по партийной линии в страдные времена наплыва репатриантов.

Допрашивал он меня около часу, тщательно записывая ответы в анкету. Среди заданных вопросов были: где попал в плен, в каких лагерях был, какую носил форму в плену и т.п. Я понимал, что это только начало. Утрамбовывается фундамент, на котором профессиональный чекист потом построит здание обвинения.

Оценивая возможности побега, я пришел к выводу, что наибольший шанс представляет двор фильтровочной комиссии. Бежать из самого лагеря трудно. Лагерь огорожен двойной проволокой и охраняется днем и ночью.

14. ПОБЕГ ИЗ СОВЕТСКОЙ ЗОНЫ

Я обратился с предложением бежать к Виктору. Он ответил: "Знаешь, я обязательно ушел бы с тобой, но у меня дома остались старики родители. Я их никак не могу бросить!" Ответ был прямым упреком мне. Вторым кандидатом был Григорий, о котором уже шла речь. Он сразу же согласился.

Между тем, о готовящемся побеге стало известно и другим знакомым. Некоторые из них подходили и просили взять с собой. Но я отказывал: три человека — это уже толпа. Времени терять было нельзя...

На прощанье Виктор подарил мне электрический фонарик, очень пригодившийся нам впоследствии.

Утром 10 сентября, захватив сумку с вещами, мы пристроились к утренней партии, шедшей на фильтровку. В садике сели поодаль от других, в углу двора, где я обнаружил дыру в заборе. Часа два ждали, пока часовой не осоловеет от скуки. Выбрав момент, когда он отвернулся, мы выскользнули в переулок. Нервничавшим перед допросом репатриантам было не до нас.

Пошли, сначала пригнувшись, а потом во весь рост, по безлюдным улочкам городка к видневшемуся невдалеке леску. Вокруг

все было спокойно. Видно, солдат нашего исчезновения не обнаружил. В лесу повернули и направились к станции. По выходе из леса лицом к лицу столкнулись с двумя такими же, как мы, репатриантами, но из другого лагеря. Они шли проведать своих жен, находившихся в каком-то другом лагере. О том, как они ускользнули из своего лагеря, мы не расспрашивали.

По дороге к станции мы проходили картофельное поле, и я предложил сварить картошки. Один из наших спутников ответил:

— Но у нас же нет котелка.

— Котелок у меня есть!

— Нет же спичек!

— У меня есть!

— Нет же соли!

— У меня есть!

Набрав воду в проточной канаве, мы развели костер и сварили два котелка картошки.

При расставании у станции наши спутники, пошептавшись, сказали нам:

— Ребята! Мы знаем, куда вы идете, мы сами присоединились бы к вам, но у нас жены, мы не можем их бросить! Желаем вам счастья!

В счастья мы нуждались...

Не доходя до станции, мы спрятались в кустах. На путях стояло два одиноких вагона, к которым время от времени подходили люди. Делая независимый и безразличный вид скучающего пассажира, я подошел к вагону и спросил женщину, стоявшую на площадке, куда пойдет поезд? Она ответила, что конечной станцией будет Магдебург. Это нас вполне устраивало.

Уже стало смеркаться, когда вдали послышались гудки и показался паровоз, толкавший вагоны. Пора было и нам садиться. Когда поезд тронулся, мы прошли несколько вагонов, заполненных людьми, и поднялись на крышу. Но здесь уже был пассажир — солдат-немец в мятой выцветшей форме. Он выглядел донельзя худым и изможденным. Солдат нам рассказал, что отпущен из плена: у него третья стадия чахотки. Он совал нам в руки справку на русском языке, как будто боясь, что мы ему не поверим. Едет солдат в Кельн. Рассказывая, он весь сиял от счастья. Я позавидовал: солдата-немца никто не задержит у пограничного столба. А нас? Что ждет нас?

Дым из трубы паровоза низко стелился над вагонами. На головы падали еще горячие частички угля. К сожалению, пленную пилотку я давно выбросил, а другого головного убора у меня не было. Стало очень холодно. Григорий снял свою знаменитую кожанку и мы вдвоем укрылись ею.

Знаменитой я называю ее потому, что она будет много раз спасать нас от холода и дождя. Достал ее Григорий в Ахене уже

сильно поношенной. Я всегда подозревал, что это кожаное пальто, судя по коротким рукавам и шаровидным пуговицам, принадлежало полной женщине.

Согревшись, я стал дремать. Внезапно в голове поезда раздался выстрел. Паровоз стал резко тормозить и остановился в чистом поле. Вокруг забегали солдаты. Из разговоров мы поняли, что они ищут власовцев. Солдаты, оставив часовых по обеим сторонам поезда, стали обыскивать вагоны, начав одновременно от головы и от хвоста.

Что делать? Мы подползли к краю крыши, намереваясь прыгнуть и уйти в поле. Но с этой стороны часовой был совсем рядом. Тогда мы начали спускаться по лесенке с крыши на открытую поездную платформу.

Платформа была полна женщин и детей, возвращавшихся из эвакуации или же выселенных из Польши. Вдруг одна из женщин встала и указала рукой себе под ноги. Мы сразу поняли жест. Легли у ног женщины, а она и соседка прикрыли нас подолами своих длинных платьев.

Послышались голоса солдат. Они шли по обеим сторонам платформы и освещали женщин фонариками. Еще минут через пять раздался свисток и поезд тронулся. Мы сердечно поблагодарили женщину за спасение. Она для нас рисковала очень многим. Только позже нам пришло в голову, что мы и были те "власовцы", которых искали солдаты.

События после нашего побега сложились примерно так. Солдат обнаружил пропажу двух людей только по возвращении в лагерь. Доложили начальству. Стали гадать, куда мы пропали. Наконец, уже к вечеру, решили обыскать поезд и послали вдогонку машину с солдатами. Дальнейшее уже известно. Для лагерных властей бежавшие могли, конечно, быть только власовцами. Остальные ведь с радостью возвращаются домой!

Может быть, спасение нам было наградой за то, что мы пригрели больного солдата? За очень малую толику сострадания?

До Бранденбурга мы ехали втроем на крыше. Но после — окончательно замерзли и спустились в вагон. Дальше поезд шел без остановки. Часам к двенадцати прибыли в Магдебург. Пассажиры сходили и направлялись в здание станции. Через окно были видны солдаты с красными повязками, проверявшие документы. Станцию я успел хорошо рассмотреть при прошлой поездке. Вдоль путей шел целый ряд небольших строений и барачков. В один из них мы и зашли. В барачке был вмонтирован котел, в котором, вероятно, во время войны готовили кофе или суп для проезжавших солдат и беженцев. Возле этого котла мы и расположились.

Отлично выспавшись, мы ранним утром двинулись дальше.

По городу шли по знакомой мне улице. Эта часть города была мало разрушена. Иногда мы заходили во встречные пекарни, чтобы

выпросить хлеба, но всюду получали отказ. Впрочем, следует поправиться. Ходил в пекарню Григорий, я органически не мог заставить себя что-либо выпрашивать.

Во второй половине дня достигли окраины города. Но тут мы заметили советского солдата с автоматом, стоявшего на тротуаре. Он никого из проходивших не задерживал и равнодушно топтался на месте.

Мы решили идти вперед. По нашим расчетам, мы легко могли сойти за немцев. Но ошиблись. У солдата был наметанный глаз. Как только мы поровнялись с ним, он нас окликнул:

— Куда идете, ребята?

Мы ответили, что идем за город нарвать яблок. Яблони, как я помнил, действительно росли по обочине дороги. На это солдат ответил:

— Знаете что — я вас могу пустить. Идите! Но если вас задержит НКВД, из его подвала вы легко не выберетесь!

Мы поблагодарили добросердечного солдата и пошли назад, но в первом переулке свернули налево, затем снова налево и маленькой улочкой снова пошли к окраине города. Уперлись в старое заросшее кладбище. За кладбищем начинались огороды. Правее, на некотором расстоянии, стоял отдельный домик.

Мы решили подождать темноты и стартовать к границе с кладбища. Спрятавшись в густых кустах сирени, мы крепко уснули.

Разбудил нас дождь. Была непроглядная темь. На кладбище мы пережили первый серьезный кризис. Нам было страшно. Не кладбища, о мертвых мы вовсе не думали, — а своего одиночества, неизвестности и неприкаянности. Вероятно, в каждом человеке заложен стадный инстинкт — тяга к массе себе подобных — особенно проявляющийся в критические моменты жизни. Нам теперь казалось, что мы сделали ошибку, уйдя из лагеря. В конце концов, что будет всем, то будет и нам.

Григорий первый нарушил молчание:

— Я пойду назад!

Тот же соблазн искушал меня. Но я вовремя вспомнил, от кого я бегу и почему. Я ответил:

— Гриша, поступай как знаешь, а я пойду дальше!

С этими словами я пошел вперед. Григорий постоял некоторое время и двинулся за мной. Шли мы по капустному полю. Намокшие штанины бились о капустные кочаны и производили большой шум.

Вдруг со стороны домика раздалось негромкое покашливание. Взглянув в ту сторону, мы заметили огонек папирсы. Возле домика стоял часовой! В домике, вероятно, и помещался караул, охранявший выходы из города. Мы залегли между капустных рядов. Как назло, дождевая туча ушла и поле осветила яркая луна. Около домика я ясно различил темную фигуру человека. Решили ждать.

По привычке, несмотря на пронизывающую сырость, я быстро уснул. И снится мне яркий сон. Подходит ко мне часовая, наклоняется и говорит: "Вставай, пойдем!" От страха я проснулся. Луна спряталась за тучку. Тишина. Я толкнул Григория и повторил те же слова, что слышал во сне: "Вставай, пойдем!"

Мы поднялись и пошли, производя по-прежнему большой шум. Домик молчал. В эту ночь мы далеко не ушли. Несколько раз останавливались и шарили по земле в поисках съедобного овоща. Нашли морковку и лук — вся наша еда за последние сутки. Как только показалась утренняя звезда, стали искать убежища на день. Пристроились в старой копне. У немцев они пустые внутри. Спали плохо. Кроме нас, временных постояльцев, в копне жило множество жучков и комашек, обрадовавшихся нашему присутствию. Дождавшись темноты, пошли дальше.

И впредь шли только ночами. В ясное время ориентировались по полярной звезде. В темную ночь по компасу, сбереженному мной с лесных времен. Очень жалел о выброшенной карте. Ее я закопал на цементном заводе, боясь обыска. Шли по-военному — час пути, затем отдых. Ночи уже были холодные. Проспав минут десять-пятнадцать, я начинал замерзать и поднимал Григория, крепко спавшего в своей кожанке. Питались, как и в первую ночь, подножным кормом. Шли и ощупывали ногами растительность. Найдя что-либо съестное, делали запасы на день. Картофеля не находили, да и сварить или спечь его не было возможности. На третью ночь нам повезло. Мы попали на поле, заросшее высокими стеблями. Григорий моментально открыл, что это лен, оставленный, вероятно, на семена. Мы с час занимались вылушиванием семян. Набили полные карманы. В последующие дни мы, как птицы небесные, питались семенами льна.

Местность шла совершенно ровная и безлесая. Двигались медленно, обходя попадавшиеся селения. Трудно было находить подходящие места для дневки. Иногда уже рассветало, а мы все еще искали укрытия. На седьмой день нам встретилась небольшая роща, в которой мы и решили дневать. Разбудил нас треск ломаемых сучьев. Оказалось, что к леску подъехал немец с повозкой и собирает сухие сучья.

Посоветовавшись, мы решили разузнать, как далеко еще до границы. Выйдя из укрытия, мы подошли к немцу. Он оказался разговорчивым и охотно сообщил, что до границы не более десяти километров, но что граница теперь хорошо охраняется. Поинтересовался, почему мы бежим, мы ответили, что не хотим жить при советской власти. Он в свою очередь пожаловался на тяжелую жизнь. Расстались мы дружески. Под вечер мы сумели спечь немного картошки, обнаруженной недалеко от леса.

В приподнятом настроении вечером мы тронулись в путь. Шли всю ночь, стараясь сократить привалы. Все ждали каких-нибудь

знаков, по которым можно было бы судить, что мы уже в британской зоне. До самого рассвета не могли найти укрытого места. В свете блеклого утра заметили слева линию кустов. Свернув к ней, мы вышли к заброшенному полустанку с каменной будкой без двери. Спрятались рядом в кустах сирени. Спали спокойно. Проснувшись, увидели за полотном дороги поле, а рядом недалеко — загородку с лошадьми. Очевидно и люди были вблизи. Вечером, как только мы собрались в путь, вдруг услышали пение: будто даже знакомое. Прислушавшись, разобрали и слова. Несколько голосов пели "Катюшу", затем "Шумел камыш, деревья гнулись". Пробравшись вдоль кустов на звуки песни, мы обнаружили, что совсем близко был барачек, — несомненно пограничный пост. Мы спаниковали и, не зная куда идти, остались в кустах до утра. Подвыпившие солдаты пели до полуночи. Как бы поступили они, если бы мы к ним заявили в гости? К сожалению, сомнения у нас не было...

Утром появился немец и начал пахать поле. Совершенно дезориентированные, мы решили разузнать, в какой стороне граница. Во второй половине дня я пробрался к будке и на виду немца вышел из нее. Уже издали видел, что немец смотрит на меня волком. Но делать было нечего, я подошел и задал вопрос о границе. Немец оглядел меня с ног до головы, немного подумал и, буркнув что-то, махнул рукой в сторону солдатского барака. Видя, что от него больше ничего не добьешься, я пошел назад.

До вечера немец пахал, затем уехал. Но теперь откуда-то появилась стайка детишек. Они начали играть вокруг будки. Мы сидели как на углях. Боялись только одного, что кому-нибудь из детей придет мысль заглянуть в кусты. Так и случилось. Мальчишка раздвинул кусты, всунул голову и моментально увидел нас. Сделав большие глаза, он поспешно попятился назад. Пошептавшись, дети исчезли.

Мы сидели и с тоской считали минуты, оставшиеся до темноты. Наконец стемнело. Мы приготовились к дороге. В это время послышались быстрые шаги. Шел солдат с автоматом. Он прошел в будку, посветил фонариком, затем обошел ее вокруг и быстро скрылся. По тому, что он не искал нас в кустах, мы решили, что о нашем присутствии донес немец, а не дети. На посту поднята тревога!

Не медля ни минуты, мы перебежали, пригнувшись, железную дорогу и вошли в загородку к лошадям. Лошади не шарахались, а тихо ржали. Часовой, если он находился вблизи, в загородке нас заметить не мог. Пройдя загородку, мы направились в сторону границы.

Была облачная ночь. Мы быстро шли по вспаханному полю и начинали успокаиваться. В один из привалов перед рассветом, когда утренний туман еще не совсем опустился на землю, мы легли отдохнуть. Я специально выбрал борозду поглубже, чтобы защититься

от холодного предутреннего ветра. Минут десять я спал. Как всегда, проснулся от холода. Хотел уже будить Григория, но тут услышал какой-то неопределенный шум впереди. Я начал вглядываться. Увидел три странно движущиеся фигуры. Они шли рывками. Пройдут несколько шагов, остановятся и пригнувшись смотрят по сторонам. Мимо нас они прошли в нескольких шагах и не заметили нас, я думаю, только потому, что все их внимание было собрано на поисках идущих, а не лежащих нарушителей.

Я молил Бога, чтобы Григорий не проснулся. Как только солдаты скрылись в темноте, я разбудил Григория и мы почти бегом двинулись дальше. Близился рассвет. Мы пересекли три широких канала. В последнем, где вода достигала груди, я намочил сумку, вспомнил, что там фонарик, достал его и, позабыв об опасности, включил — фонарик загорелся. К счастью, эта оплошность осталась без последствий.

Измученные, мокрые, мы наконец залегли в кустах и заснули. Когда проснулись, светило яркое солнце. Взглянув в сторону канала, мы увидели на другой стороне советского солдата с автоматом. Он ходил вдоль канала и от скуки бросал ветки в воду.

Мы были в британской зоне!

15. В АНГЛИЙСКОЙ ЗОНЕ. ПОИСКИ ПРИСТАНИЩА

Подождав, пока часовой скрылся, мы встали и пошли к видневшейся вдаль дороге. Прежде всего нам надо было привести себя в мало-мальски человеческий вид, но мы решили подальше отойти от опасной границы. Пройдя вдоль дороги минут пять, мы увидели идущую нам навстречу группу людей. Проходя мимо, они с некоторым удивлением смотрели на нас. Мы это приписали нашему нецивилизованному виду. Но шедшая позади женщина с ужасом произнесла: "Куда вы идете, ведь там русская зона!" Мы поблагодарили ее и, повернув, пошли за немцами, также, вероятно, перешедшими границу в эту ночь.

Позже, взглянув на карту, я увидел, что зональная граница возле Гельмштедта петляет, как змея. В ночь перед сиденьем у железнодорожной будки мы уже были в английской зоне, но, повернув, перешли границу снова и спрятались в кустах сирени у самого поста пограничной охраны. Злой немец показал нам не близкую дорогу к свободе, а наиболее дальнюю и трудную.

Наш путь к свободе продолжался девять суток. В ночь мы проходили около десяти километров, считая по прямой. Впоследствии я никогда не пожалел, что ушел от Советов. Легкой жизни я не искал, я готов был к самой тяжелой физической работе, но только в свободной стране, где никто не указывает, как мне жить, как поступать и что думать.

Приведя себя в относительно человеческий вид и сделав запас печеной картошки, мы пошли, следуя указателям дороги, в Гельмштедт. На окраине города мы увидели английского полицейского. Очень хотелось бежать и прятаться. Но мы побороли чувство загнанного зайца и пошли ему навстречу. Полицейский даже не взглянул на нас.

На вокзале мы купили билеты на поезд, шедший в Ганновер, но только до ближайшей станции. Денег у нас было в обрез. На следующей станции мы, конечно, не сошли. Вагоны были переполнены и билеты проверять было физически невозможно, да вероятно и некому.

В вагоне, где мы пристроились, шел разговор, начала которого мы не слышали. Говорила девушка лет двадцати двух, сидевшая в углу со своей младшей сестрой. Она кого-то отчитывала за безверие: "За то мы и страдаем, что позабыли Бога. Вы носились с вашим Гитлером, как будто он Бог!" Сестра согласно кивала головкой. Разговор затем перешел на более нейтральные темы. Но тут девушка заметила мою набитую чем-то сумку и стала часто поглядывать на нее. Сестры явно были голодны. Я с удовольствием угостил бы их. Но предлагать им обугленные на костре картошкины не рискнул. На выручку пришел молодой немец. Он с презрением глянул на меня и предложил девушкам бутерброд.

В Ганновере мы пересели на поезд, идущий в Кельн, и покатали дальше на запад. По-прежнему вагоны были забиты людьми. Казалось, сорвалась с места вся Германия. На одной из станций в вагон протискались два американских военных полицейских. Они держали в руках несколько фотографий, стали всматриваться в лица пассажиров и сравнивать их с фотографиями. Искали военных преступников. На нас полицейские не обратили внимания, чему мы были, конечно, очень рады.

В Кельн мы прибыли засветло. При выходе со станции отдали билеты. Контролер с удивлением посмотрел на билеты, потом на нас, но ничего не сказал.

Вокзал сильно пострадал от бомбежки. Снесена крыша. Наспех залатано полотно. Некоторые участки просто перепаханы бомбами. Дуют пронзительные сквозняки. Мы полностью вписываемся в толпу солдат, беженцев, привокзальных бездомных немков и просто бездомных. Некоторые куда-то спешат, другие, наоборот, сидят с понурым видом на скамейках и на полу.

Наш план, в общем, сводился к разысканию лагеря для иностранцев. В справочном бюро нам сказали, что польский лагерь находится на окраине Кельна, если память мне не изменяет — в Эберсдорфе. В этот день, из-за дальности расстояния, мы туда не рискнули отправиться, а решили заночевать у вокзала или у Кельнского собора.

Время у нас было, и мы пошли осматривать собор. Собор был открыт, и в одном из приделов шла служба, но народа было мало. В собор попали несколько бомб, пробили крышу и разорвались внутри, повредив только отдельные помещения. Легли спать мы вместе с другими бездомными в скверике при соборе. Но скоро пришел полицейский и погнал всех в бункер, вырытый глубоко под собором. Вход в бункер был со стороны вокзала. Это было огромное помещение с сотнями двухэтажных железных коек с пружинными сетками, но без матрасов. В бункере царила крошечная тьма. Вот где пригодился фонарик Виктора.

Ночью у меня начался страшный понос. Хорошо, что тут же была уборная. Я провалялся трое суток и страшно ослабел. Григорий за это время разузнал дорогу в лагерь и раздобыл котелок супа.

В лагерь мы очень долго ехали переполненным трамваем, затем шли пешком. Как и многие другие, польский лагерь помещался в бывшем военном городке, но очень запущенном. Охраны никакой не было, мы перелезли через проволоку и спросили первую попавшуюся женщину — можно ли поступить в лагерь? Женщина оказалась русской, замужем за поляком. Она уверила нас, что в лагерь нас примут, надо только обратиться к коменданту, польскому офицеру.

Обрадованные, мы пошли в комендатуру, но он, узнав, что мы русские, наотрез отказался нас принять: — "Лагерь только для поляков!" — Дал адрес русского лагеря. Каково же было наше удивление, когда, после долгих поисков, мы пришли к советской репатриационной миссии! Ноги сами понесли нас прочь!

У нас не оставалось другого выхода, кроме как идти в лес. Там мы решили отдохнуть, набраться сил и составить дальнейшие планы. В Кельне беспрепятственно перешли понтонный мост и направились на юг правой, не гористой стороной Рейна, с расчетом переправиться снова на левую сторону у города Ремагена, откуда дорога в лес нам была хорошо знакома. По дороге питались главным образом картошкой и брюквой. Иногда удавалось выпросить немного хлеба в деревенских пекарнях. Один раз вечером попытались стащить курицу. Но петух поднял такой крик, что выбежала молодая девица и не долго думая погналась за нами по полю. На ходу она громко ругалась. То ли мы ослабели, то ли девица была чемпионом по бегу, но она стала нас догонять. Во избежание неприятностей, мы малодушно бросили курицу. Интересно отметить, что время это не запомнилось как голодное. Другие мысли и заботы оттесняли голод на второй план. Прежде всего, как спастись от репатриации и где найти пристанище?

Ночевать мы уходили подальше от дороги. Еще не был снят запретный час для немцев, и по дорогам сновали полицейские машины. Как и рассчитывали, у Ремагена уже был наведен понтонный мост. Недалеко от него лежал знаменитый железнодорожный

мост, который при отступлении немцы только подорвали, а американцы успели в спешном порядке переправить по нему несколько дивизий на правую сторону и образовать предмостное укрепление. Позже подорванный мост упал. Сюжет захвата моста запечатлен в голливудской картине "Ремагенский мост". Ремаген остался в памяти местного населения еще и тем, что здесь находился большой американский лагерь для военнопленных немцев, прозванный "смертельным". В нем от голода умерло несколько сот человек. За цифру, однако, не ручаюсь. Сведения о лагере почерпнуты мной от местных жителей и пленных этого лагеря. Сам факт не проник в большую печать, вероятно, по политическим соображениям и с оглядкой на Нюрнбергский процесс.

И здесь на мосту стояли часовые. Убедившись, что они документов не спрашивают, мы перешли на другой берег реки. На последние деньги купили на вокзале билеты до Арбрюка. Дорога оказалась на редкость живописной. Только теперь мы обратили внимание на исключительную красоту местности, где прожили около двух лет. Из Арбрюка мы прямо пошли в лес, без захода в деревню, где стоял наш барак, и прибыли наконец "домой".

В моей захоронке еще сохранилась мука, в лесу еще были грибы и орехи, а в покинутой деревне — фрукты. Все это обеспечило нам приличное питание. Правда, мыши нанесли мелких камешков в муку и она пахлавала, но с этим приходилось мириться.

Прожили мы в землянке две недели, отдохнули и набрались сил. Задерживаться, однако, было нельзя — надвигалась осень, а за ней и грозная для бездомного люда зима. Составленный нами план дальнейших действий был таков: сначала пойти в Ахен и разузнать, существует ли лагерь. Если его нет — отправляться в Бельгию и попробовать там пристроиться. За Бельгию очень ратовал Григорий, все еще надеявшийся на встречу с Кнопкой.

В последний день пошли проводить старика Блезера. Он был очень удивлен нашим появлением и еще более нашими приключениями. Сообщил новости. Не так давно, ночью, советские офицеры забрали доктора-белоруса с семьей. Схватили и бывшую остовку, уже помолвленную с немцем. Девушка очень кричала и разбудила всю деревню.

Нам стало ясно, что обманно-добровольный период возвращения домой кончился, процветала насильственная репатриация. Мы должны быть начеку.

От старика мы пошли к лесничему, нашему бывшему начальнику. Его красивый дом стоял за деревней на холме. Встретил он нас без особой радости. Просьбу исполнил — написал справки о работе в лесу. Пока он писал, меня вдруг осенила мысль — да ведь это он сообщил тогда солдатам, что мы где-то прячемся в лесу, а те устроили облаву на нас. Такие внезапные приступы

откровений еще никогда не обманывали меня. Расстались мирно, но лесник явно побаивался нас.

Шли мы проселочными дорогами, чтобы не привлечь к себе внимания военной полиции. Кроме того, около малоезженных дорог было лучше и с пропитанием. В каждой деревне повторялось одно и то же. Завидев издали на дороге наши фигуры, деревня приходила в большое волнение: не свои ли возвращаются из плена? В конце деревни выстраивался молчаливый строй женщин с фотографиями в руках. Мы также молча проходили мимо и, делая вид, что всматриваемся в фотографии, отрицательно качали головами. Было очень горько сознавать, что где-то в далекой России и нас так же ждут. Может быть, никогда и не дождутся! Удивляло нас всегда, что ни одна из женщин не вынесет бутерброда или стакана молока. Полная противоположность с Россией.

В Брандте жизнь входила в нормальные рамки. Уже были открыты магазины и пивнушки. В нашем лагере обосновались англичане. У ворот стоял часовой, а над ним развевался британский флаг. Делать нам здесь было нечего. На обратном пути мы лицом к лицу столкнулись с двумя советскими офицерами, выходившими из пивной. Один даже извинился. Это были смершевцы, оставленные для ловли невозвращенцев.

Переходить границу возле Ахена мы не осмелились — слишком оживленно все вокруг. Решили пройти на юг, а затем, в укромном месте, свернуть на запад в Бельгию. Дорога, которой мы шли, скоро вбежала в густой лес и стала непроходимой из-за наваленных накрест деревьев. Кое-где мы заметили и мины. Вдоль дороги были расположены американские позиции. Лес выглядел так, как будто американские солдаты только вчера покинули фронт. Так, бросили все и ушли: оружие, одежду, обувь. Больше всего было ботинок. Казалось, что солдат, промочивший ноги, немедленно выбрасывал свою обувь и надевал другую. Как я позже узнал из военной литературы, примерно так и было.

В этом богатом вещами лесу мы выбрали шерстяные вязаные шапки, которые солдаты надевают под шлем, прекрасные носки и другие мелочи. В одной из землянок нашли несколько консервных банок. Развели костер и устроили настоящий пир. Легли спать у ручья. Среди ночи вдруг пошел дождь. К утру, несмотря на кожанку, мы промокли до нитки. Утром развели большой костер. Тем временем и дождь перестал. Но было похоже на то, что пришла настоящая осень.

Обсушившись, мы пошли дальше. Дорога скоро вывела нас из леса. Перед нами невдалеке лежала деревня. На указателе дорог мы прочитали ее название — "Ламмерсдорф", в неточном переводе "Овечья деревня". Расположена — в тридцати километрах от Ахена. Не знали мы, что счастье поджидает нас именно здесь...

16. В ДЕРЕВНЕ ЛАММЕРСДОРФ

Мы стояли на опушке леса. Справа и слева возвышались два больших бункера, принадлежавших линии Зигфрида. Бункеры не были взорваны. За бункером направо шла просека в сторону Бельгии. Она была изрыта глубокими колеями, оставленными танками и машинами, но уже поросшими травой. В действительности, как я узнал позже, просека не вела в Бельгию, а была старой дорогой в Ахен. Свернув на просеку, мы скоро встретили женщину, несущую вязанку досок от снарядных ящиков. Мы разминулись, причем женщина как-то странно посмотрела на нас. Прошли мы шагов пятьдесят, вдруг слышим крик позади. Женщина, бросив вязанку, бежит к нам и кричит: — "Куда вы идете! Там все заминировано!" — Мы смущенно поблагодарили женщину. И в расстроенных чувствах вернулись назад к бункеру. Так в течение короткого времени немецкие женщины трижды спасли нам жизнь.

Присев у бункера, мы стали обсуждать, что делать дальше? Григорий настаивал на Бельгии. Но тут мы услышали голоса. Кто-то невидимый шел из леса в деревню. Еще через некоторое время мы разобрали слова, сказанные по-русски: — "Хочешь, я покажу тебе убитого немецкого фельдфебеля?" — Другой голос ответил: — "А на что он мне? Мало я видел убитых фельдфебелей?"

Мы вышли из-за бункера. По дороге шли два человека. Один повыше ростом и постарше, другой — помоложе и пониже. Молодой, увидя нас, сразу же спаниковал и в большом волнении стал нас уверять, что он поляк и только говорит по-русски. Было ясно, что он с перепуту принял нас за переодетых советских офицеров.

Завязался разговор, выяснилось, что старший был действительно поляк, по имени Доменик Ковальский. Он остался работать после конца войны на старом месте у богатых арендаторов. Высокая политика здесь была ни при чем. Как в свое время мы узнали, подоплека была романтическая. Второй встречный был русский, Евгений Шидловский. Он бежал из лагеря в Ахене вместе с другом еще до начала репатриации. Друг, считая, что эта деревня находится слишком близко к городу, пошел дальше. Евгения же Доменик записал в поляки и устроил на временную работу также у богатого бауэра (крестьянина), усадьба которого была видна нам отсюда. В лес друзья ходили за трубками, собирались конструировать самогонный аппарат.

После первых же слов Доменик предложил и нам оставаться в деревне. Для этого необходимо было также записаться в поляки. Мы, конечно, с радостью согласились. Процесс перехода в поляки был несложный. Доменик хорошо знал местного бургомистра — довольно зловредную личность в прошлом, но теперь готовую на все услуги. Через полчаса все было готово. Мы получили

продуктовые карточки и даже квартиру — целый дом, хозяева которого эвакуировались при приближении фронта к деревне. Официальные документы мы должны были получить после подписи анкет, заполненных нами, через две недели.

Для несведущих сообщу, что полякам, а также жителям балтийских республик, было разрешено при желании оставаться на Западе. Насильственная репатриация на них не распространялась.

Записавшись в поляки, я почти вернулся к своим корням. Дед мой, мелкопоместный шляхтич, бунтовал и был сослан в Сибирь. Освободившись, домой не вернулся, а поселился на юге России. Женился на обрусевшей польке.

Отец был чисто русский, из Симбирской губернии. Другой дед был "крепостным помещика Кошелева", как любил вспоминать отец. Я же, с детства живя на Украине, считал себя украинцем.

Все было как в сказке. Еще час тому назад мы были беспаспортными бродягами, идущими куда глаза глядят, а теперь мы не скрываясь можем ходить под солнцем, как люди. Все благодаря Доменику. Вот после этого и утверждай, что на свете не бывает чудес. В чужом лесу мы должны были встретить своих братьев — славян.

Ламмерсдорф — небольшая деревня. Она вытянулась почти в одну линию вдоль дороги, идущей из Ахена через городок Моншау в Трир. На немногих боковых улочках крыши домов, как в старину, были покрыты соломой. Судя по годам, выжженным на балках некоторых домов, деревня возникла в XVIII веке, а может быть и раньше. Согласно легендам, в этих дремучих лесах охотился еще Карл Великий. Где-то даже сохранилась его охотничья избушка. На центральной улице, как водится, стояла католическая церковь с острым готическим шпилем, пекарня и магазин. Деревня, казалось, затерялась в лесах Айфеля и действительно лежала в центре огромного леса, начинавшегося почти от реки Ар на востоке и вклинявшегося глубоко в Бельгию.

В этих темных лесах, перерезанных глубокоэшелонированной линией Зигфрида, суровой и снежной зимой 44-45 гг. американцы решили пробиваться к Рейну. Теперь мы с Григорием поняли все трудности такого предприятия и почему мы так долго дожидались американцев. В этой закрытой местности американцы лишили себя всех преимуществ в технике и сражались тем же оружием, что и немцы. Танки и авиация были почти бесполезны. Густой и темный лес производил угнетающее впечатление на "ами" — так немцы называли американцев. Даже название этого леса — "Гюрткенский" — ассоциировалось с английским словом "hurt" — ударить, причинять боль. Самые тяжелые бои происходили при выходе из леса в сторону Кельна и у деревни с тем же названием, что и лес. Много позже там все еще лежали неубранные трупы немцев и американцев. Местность была настолько насыщена взрывчаткой, что

разминирование все еще представляло большие трудности. Военные действия первой американской армии на линии Зигфрида описаны во многих исторических и художественных произведениях.

На радостях Евгений поселился также с нами. Я сразу же определился в домашнюю хозяйку. Убирал дом, варил. Дом нам достался с мебелью и посудой. Но пришлось затратить порядочно времени, чтобы привести все в надлежащий порядок. Кончив варить, я отправлялся к соседке и помогал ей копать картофель в огороде и также кое-что прирабатывал. Евгений и Григорий ходили по крестьянам на случайные работы.

История Евгения такова. Родился он в Калуге, где и окончил строительный техникум. Полученная профессия очень помогала ему в критические моменты жизни. В плен попал в большом окружении под Вязьмой поздней осенью 1941. В лагере, весь обсыпанный нарывами, медленно умирал. На него обратил внимание один из солдат охраны. Стал брать на работу, подкормил, а после перевел на гражданское положение и устроил на работу в строительную фирму чертежником, где до призыва в армию работал сам. Фирма находилась в Польше. От контактов с поляками Евгений вынес убеждение, что знает польский язык. Сводилось это главным образом к двум словам, которыми он начинал всякую польскую фразу: "Прошем пана!" А дальше шел уже несусветный польско-русский жаргон. При приближении фронта строительная фирма вместе со служащими эвакуировалась за Рейн. После занятия этой местности американцами Евгений был отправлен в лагерь в Ахен. Неприхотливый Евгений, вкусивший сладкой немецкой жизни, сразу же и бесповоротно решил остаться в Германии.

Был Евгений с хитрецей, но легко отрывался от реальности и строил фантастические планы. Любил шутку и смех. Несмотря на некоторую тшедушность, работал тяжело и с увлечением. С Григорием у них сразу же развился антагонизм. Медлительный и основательный Григорий всегда ожидал от Евгения подвоха. Каждый пустяк возводился ими в принцип, правота доказывалась до бесконечности. Но вместе с этим был Евгений незлобив и быстро забывал обиды.

Прожили мы в доме очень недолго. Из эвакуации вернулась хозяйка с сыном, и нам пришлось спешно выселяться. Новую квартиру мы с Григорием нашли в старом доме, предназначенном на снос, на главной улице. Хозяин дома, маляр Ганс Зиберц, жил с семьей напротив через улицу, у брата. Он собирал деньги на постройку нового дома и магазина красок в нем. Из-за общего тяжелого экономического положения строительство откладывалось на неопределенное время, и Ганс любезно предложил жить в старом доме бесплатно, до лучших времен. Евгений нашел более приличную квартиру у какой-то вдовы.

Мы привели в жилой вид только одну комнату, окна которой выходили на центральную улицу. Из мебели у нас была деревянная двуспальная кровать, стол, два колченогих стула, ветхий шкафчик и чугунная печь-буржуйка с одной конфоркой. Спали вдвоем на кровати, сделав из американской палатки матрац. Укрывались серым немецким одеялом из леса.

Семья хозяина нашего дома состояла из жены Эрики, веселой и легкомысленной дамы, вдвое моложе своего мужа, и красивого мальчика 4-х лет, Ганса-Юргена. Хозяин всю войну просидел в канцелярии писарем. Он успешно притворился глухим на одно ухо.

Очень скоро к нам явилась хозяйка дома, где мы прежде жили. При переселении я прихватил три ее кастрюли, оставив, конечно, достаточно и хозяйке. Кроме кастрюль, у нее пропали и другие вещи. Во всем она подозревала нас. Дама эта была решительная и строгая. Она обежала глазами всю нашу комнатку и сразу же увидела свои кастрюли. Но на этом она не остановилась, а заглянула еще и под кровать. Две кастрюли я отдал, а одну отстоял. На что она горько пожаловалась: — "Ограбили бедную вдову!" — Я ответил: — "Бедную? Посмотри, как мы живем!" — Позже мы с ней примирились, и она даже заказала мне картину своего дома под соломенной крышей и щедро заплатила маслом.

Немного устроившись, мы с Григорием снова отправились в лес. В лес ходить не разрешалось, но мы считали, что запрет нас не касается. Некоторые участки еще были заминированы, о чем предупреждали многочисленные объявления на английском и немецком языках. После ряда походов мы обзавелись обувью, к сожалению, уже пострадавшей от непогоды, рабочей одеждой, котелками, кружками и другими необходимыми предметами. Из продуктов находили консервы, как-то нашли целую бочку сыра. Не обошлось и без недоразумений. Однажды я принес несколько банок со светлым жиром. Долго судили и рядили — что бы это могло быть? Не разгадав, начали жарить на этом жире картошку. Только позже, подучив английский язык, я узнал, что это была мазь для обуви.

Я так пристрастился к бродяжничеству, что каждый день, когда позволяла погода, уходил в лес и оставался там ночевать. Спал под елкой, питался найденными консервами. Однажды, задумавшись, забрел на минное поле. Мины, слегка прикрытые увядшей травой, были расставлены в шахматном порядке. Выбравшись из минного поля, я решил его взорвать. Взрыва ожидал громадного, так как поле было большое. Набрав американских "лимонок", лег в окопчик и бросил первую гранату. Граната ухнула, пошел легкий синий дымок, и все. Бросив с полдюжины гранат, я прекратил бесполезное занятие. Мины в те времена представляли большую опасность. Из нашей деревни подорвалось несколько человек.

Во время бродяжничества я нашел целехонький джип, застрявший в грязи армейский мотоцикл, бочку со смазочным маслом, горы медных гильз, — все это представляло большую ценность. Но, благодаря моей непрактичности, богатство осталось лежать на месте.

Интересовали меня не только вещи, но и люди, их бросившие. На позициях было оставлено много книг дешевых изданий. Значительное количество из них было религиозного содержания, много художественных произведений. Порнографии не было, если не считать портретов "пинап герлс" — известных артисток в соблазнительных позах и купальных костюмах. Популярны были комиксы из военной жизни. Все это свидетельствует о другом духовном облике американского народа по сравнению с настоящим временем.

Могил американцев мне не пришлось встречать. Немецкую могилу нашел одну. Похоронены были два солдата, судя по двум парам сапог, торчавшим из небольшого холмика. В голове был крест из двух дощечек с надписью по-английски: "Здесь лежат два хороших немецких солдата". Сейчас об этом много не говорят, но при вступлении в Германию у американских солдат большой вражды к немцам не было, что очень беспокоило начальство, в частности Эйзенхауэра.

В противоположность американцам, немецкие позиции были пусты. Только в одном леске я нашел семь немецких рюкзаков. Они были брошены при поспешном бегстве. Ценного, кроме авторучки, в них ничего не было. В одном месте нам попался рулон полосатого материала, из которого Григорий за два дня сшил себе и мне выходные брюки.

Постоянной работы в деревне не было. Несколько раз нас брал себе в помощь Доменик. Его хозяева были богатыми арендаторами земли у государства. Арендовали одну и ту же землю из поколения в поколение. Дом был большой, каменный, удобный, такие же сараи. Во дворе силосная башня и всякий инвентарь. Держали скот, но сажали также картофель, брюкву, овес. Семья состояла из давно отсутствующего хозяина (он воевал с Роммелем в Африке, а теперь был в плену у американцев), жены, добродушной и плаксивой немки; дочери Нелли 16 лет и сына 12 лет. Нелли, несмотря на юный возраст, прошла огонь и воду, и только она удерживала Доменика от возвращения домой в Польшу, куда его непрерывно звали старики-родители, не справлявшиеся с большим хозяйством.

Доменик был за хозяина, и его все слушались. Был добрый и хороший человек. Вот с таким дурной женщине или даже девчонке и легко справиться.

Брал нас на работу изредка и другой богатый арендатор — Шиммер.

17. В ИНОСТРАННОМ ЛЕГИОНЕ

Без страха, уверенные в своем легальном положении, мы прожили недолго. Постепенно начали точить нас те же тревожные мысли: смершевцам достаточно только взглянуть на нас, чтобы опознать "своих". О продолжающейся охоте на русских свидетельствовало объявление, вывешенное в конторе бургомистра. Под угрозой больших кар немцам запрещалось давать убежище советским гражданам и принимать их на работу. При появлении таковых лиц бургомистру предписывалось немедленно сообщать англичанам.

В это тревожное время на нашем горизонте появился молодой поляк в английской форме. В Ламмерсдорфе он работал во время войны, а сейчас служил в английских охранных частях. Ко всему, настроен был просоветски. Познакомились мы с ним у Доменика. В том, что он донесет на нас, мы не сомневались. На общем совете мы решили уходить на юг, во французскую зону: авось там послабее с охотой на русских! На следующий день после отъезда поляка, рано утром, мы покинули деревню. Снова мы месим грязь по дорогам недавней войны, голодаем и спим где попало. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, стараемся идти проселочными дорогами. Но и вдоль них та же картина тотального разрушения.

Проходим историческими местами. Деревня Лосгейм. Сколько раз она упоминалась в сводках и сколько здесь погибло людей в последнем отчаянном наступлении немцев в Арденнской битве. У этой деревни пришелся главный удар немецких танковых дивизий.

Густой лес. За поворотом показывается одинокий домик, затерянный в лесу. Подходим. На наши крики на крыльце показывается молодая, красивая женщина. С испугом смотрит на нас. Мы просим чего-нибудь поесть. Женщина отвечает: — "Я вас очень боюсь. Пожалуйста, только не входите в дом! Мой муж лесник, но он в отъезде! Я вам сейчас вынесу бутерброды". — Лицо женщины выражает неподдельный страх. Мы ждем. Она выносит бутерброды, мы благодарим и улыбаясь уходим. Облегченно улыбается и она.

На третий день мы подходим к городку Прюм, также сожженному шквалом войны. Здесь наступали дивизии генерала Патона. Вдоль дороги тянутся могилы немецких солдат с крестами и касками на них. Странно видеть кресты с украинскими именами: "Иван Медведюк умер за великую Германию и фюрера". Что Ивану до "великой" Германии? Ирония судьбы! Иван взял винтовку, чтобы освободить свою родину от большевиков, а упал здесь на западной кромке Германии и лежит в чужой холодной земле!

Небольшой городок Битбург также разбит. Кажется он смешанным с грязью. Грязь везде — на улицах, на полях, изъезженных танками, и даже на уцелевших стенах домов. На этом сером фоне

взгляд сразу замечает белый листок бумаги на срезанном снарядом телеграфном столбе. Это объявление о приеме в Иностранный Легион всех желающих от 18 до 35 лет. Контора легиона — в Трире. Что если нам податься в Легион? Мысль вначале кажется дикой, но постепенно мы к ней начинаем привыкать. Вспомнилось, что многие из белых воинов пошли в Иностранный Легион. По слухам, даже мой родной дядька оказался там.

Следует отметить, что местное население было на редкость неприветливое и негостеприимное. У этих не только хлеба или картошки, воды не выпросишь выпить. Проходя деревни, мы чувствовали враждебные взгляды на спинах. А ведь жители не знали, что мы иностранцы! Еду приходилось добывать на полях, но в это время года почти все съедобное было убрано. Ко всем другим бедам, у меня на руках пошли нарывы, а на левой руке у кисти открылась старая рана и прогнила почти до кости. Днем боль еще была переносима, но ночью — рукам нельзя было найти места.

Не доходя до Трира, мы остановились в небольшой роще и прожили рядом с картофельным полем трое суток. Решали, что нам предпринимать дальше. Я был за вступление в Легион. Евгений был против, а Григорий колебался. Тут мы и расстались. Евгений пошел обратно в Ламмерсдорф, а мы с Григорием направились в Трир. Ночь провели в недостроенном здании римской эпохи — Порты Негра. Спал я плохо, было холодно на камнях, болели руки. Утром, размяв застывшие члены и пообтрусившись, пошли искать контору Легиона. Она оказалась почти рядом — через площадь напротив.

В маленькой комнатке за столом сидел уже немолодой сержант с лицом, навсегда сожженным южным солнцем, и белым шрамом через правую щеку. Мы представились галичанами из Польши. Сержант в свою очередь представился — он был поляк, но польский язык почти забыл. Говорили мы по-немецки. Условия службы звучали как насмешка: за пять военных лет в Африке или Азии — пять тысяч франков и возможность получить французское гражданство. За эти деньги тогда можно было купить средней руки костюм или хорошие ботинки. Дешевы были легионеры в 1945 году! Гораздо дешевле, чем их римские коллеги две тысячи лет тому назад, сражавшиеся с германскими племенами.

Контракт мы подписали. Документов сержант не спрашивал. В мои расчеты конечно не входила служба в Легионе. Нам необходимо было немного отдохнуть и поправиться, а там действовать по обстоятельствам. От немцев бежали, от Советов бежали, убежим и от французов!

Сержант выдал нам справки и направление к бургомистру для получения питания и квартиры. Остаться в Трире мы должны были день или два, пока не соберется достаточно многочисленная группа легионеров. После этого нас отправят в город Ландау, в военный лагерь.

У бургомистра карточки на продукты нам выдали, но квартиру определили где-то на окраине города. Пока стояла хорошая погода, мы решили переночевать где-нибудь ближе к конторе. У бургомистра к нам присоединился еще один легионер — бывший немецкий солдат в зеленой пехотинской форме. Дом его был в советской зоне и он решил податься в Легион. Хотя, может быть, у него были и другие причины.

Втроем мы сидели на скамейке в скверике. К нам подошла молодая девушка. Она быстро договорилась с солдатом, принесла одеяло, и они удалились в укромную часть скверика. Мы пошли осматривать римский амфитеатр и пустые казармы репатриационного лагеря.

Спали в развалинах какого-то дома. Ночью нас разбудили шаги и свет фонаря. Это была военная полиция. Проверили наши справки из Легиона и ушли. Утром Григорий обнаружил пропажу своей шляпы — не помню уж, где он ее раздобыл. Наутро все новоиспеченные легионеры собрались у конторы Легиона — человек с тридцать. Явился пожилой сержант француз, и мы отправились на станцию. На дорогу нам выдали провиант — грамм триста хлеба и кусок колбасы. Солдата провожала его ночная девица.

В вагоне, когда поезд тронулся, все, включая сержанта, набросились на еду и моментально все уничтожили. Мы же, имея опыт, съели одну порцию, другую сохранили. Хотя расстояние до Ландау и недалекое, но ехали мы долго. Во второй половине дня мы достали вторую порцию и при всеобщем неодобрительном внимании ее съели. Но дело так просто не кончилось. Сержант начал нас обвинять в том, что мы украли порцию. Мы были ошеломлены несправедливостью обвинения. Поднялся крик. Причем мы мало понимали друг друга — сержант плохо говорил по-немецки, а мы не знали французского.

Лагерь легионеров помещался в бывших немецких казармах, мало пострадавших от войны. Нас, прежде всего, хорошо накормили на кухне. Затем сержант отвел нас в казарму — большое одноэтажное здание, с комнатами, размером в хороший зал. Легионеры располагались на матрасах, положенных на пол перпендикулярно к стенам. В казарме стоял равномерный гул голосов. Мы с трудом отыскивали два свободных матраса рядом. Познакомились с соседями. Мой — парень лет девятнадцати, представился сыном люксембургского посла. Почему пошел в Легион — не сказал. Сосед Григория был птицей иного полета. Полунемец-получех. По его словам, он был переводчиком у Геринга. Нам он сразу не понравился.

Ухо ловило только немецкую речь. Некоторые легионеры спали, другие лежали, глядя в потолок или беседуя с соседом, — осколки разбитого Третьего Рейха, собиравшегося существовать тысячу лет. Злая судьба теперь объединила бывших обремененной и унтерменшей.

Легион в те времена был убежищем, где прятались все преследуемые, как виновные в чем-либо, так и невинные, вроде нас.

Отдохнув, мы отправились искать земляков в других помещениях. Проходя одно, мы сразу издали распознали русачков. Трудно сказать точно, по каким признакам глаз автоматически выхватывает своих. Сидели они друг против друга на матрасах. Между ними стоял солдатский котелок, закрытый крышкой. Почему-то котелок мне сразу бросился в глаза. Поздоровались. Земляки гостеприимно предложили нам присесть. Имя старшего, с белобрысой щетиной на упрямом подбородке, было Михаил. Молчаливого младшего звали Андреем. Были они здесь уже старожилами — обретались вторую неделю. Сообщили нам много нового. Главная новость была в том, что Легион для нас закрыт. В Марселе, при отправке в Марокко, советские офицеры отсеивают "своих". Поэтому рекомендуется расстаться с Легионом еще до Марселя. Наши знакомые порешили сбежать во Францию.

После новостей разговор перешел на пережитое недавнее прошлое. Я подробно рассказал историю нашего побега из советской зоны. Слушатели приняли наш рассказ без видимых эмоций. Земляки переглянулись, и Михаил сказал: — "Расскажем и мы нашу историю. Но прежде разопьем, вот, спиртного — мы в городе достали!" — С этими словами он придвинул котелок и открыл крышку. Котелок доверху был наполнен водкой или спиртом. Хозяева уступили нам кружки, а сами взяли крышки от котелков. Михаил, колыхнувшись всем телом в такт, точно отмерил порции в сосуды. Мы взяли кружки. Михаил сказал: — "Что же, друзья, необходим тост! — и, помолчав, сказал: — Выпьем за Андрея Андреевича Власова, отдавшего свою жизнь за свободу России! Надеюсь, вы разделите с нами тост!" — Выпили. Водка была необычайной крепости. Задумались. Выпили еще раз за знакомство. Тепло разлилось по жилам. Хорошо помогает водка в тяжелые времена.

Вот история, рассказанная Михаилом. Постараюсь передать ее словами рассказчика и по возможности точно:

"В начале войны я попал в плен в большом окружении возле Белостока. Войны я ждал давно, как и многие другие. Только война могла нас избавить от коммунистической тирании. Как только нас забрали немцы, я сразу же обратился к офицеру с просьбой дать мне в руки винтовку. Глянул он на меня, я на него. Может быть он понял, что я уже дошел до точки. Был офицер молодой, в чине лейтенанта.

Зачислили меня в его взвод. Сначала пулеметные ленты таскал, а потом и сам стал пулеметчиком. Был под Москвой, а в конце концов очутился в Берлине. Все время мы были вместе с Дитловым (звал я его по-русски Федор Федорович). В конце войны был он уже капитаном.

В Берлине знал я только подвалы, да иногда улицы, которые перебегали при отступлении. Совсем мы измотались от наседавших советчиков. Утром 2 мая узнал наш капитан о прекращении огня и капитуляции всех войск, оборонявших город. Собрал капитан нас в подвал, где раненые лежали. Смотрим, а нас от батальона только горстка осталась. Стоят грязные, закопченные, с заросшими лицами. Капитан сказал: "Войне конец! Мы честно сражались, и все вы заслужили награды. Но наградой вам будет плен! Вот вам мой совет. Ждите ночи и пробирайтесь на запад!" Пошли мы к своим щелям и окнам. У выхода я оглянулся. Смотрю, а капитан уронил фуражку, которую держал в руках, и задумчиво смотрит в потолок. Что-то меня как толкнуло. Однако опомнился и пошел дальше. Только сделал несколько шагов по ступеням лестницы — услышал негромкий выстрел. Бросился я вниз, но было поздно. Положил я капитана в углу на шинель, закрыл ему глаза и перекрестил русским крестом. Справедливый был человек. Теперь уже таких мало осталось.

День прошел спокойно. Нас не трогали. У меня одна мысль: как уйти? Немцам плен страшен, а мне, надевшему немецкую форму, как! Да и надежда была. Может, я еще пригожусь России. Опомнятся союзники, поймут, с кем они дело имеют.

Закопал я документы и награды и начал ждать темноты. Стало смеркаться. Вылез я из подвала и перебежал в соседний дом. И вдруг вижу чудо — на ступеньках брошена французская шинель. Буро-желтая — ее сразу узнаешь. Ну, думаю, вот мой шанс. Сбросил китель, снял сапоги, но брюки оставил: как-то неудобно без брюк. Да под шинелью их почти и не видно.

Подождал еще малость и стал пробираться в сторону багрового небосклона. В темноте сразу же разбил ноги в кровь. Обходил теневой стороной горящие дома. Лез через груды кирпича напрямик. Прошло наверно часа полтора. Присел я отдохнуть. Дышать тяжело от дыма и гари. Где-то позади слышны редкие автоматные очереди. Но вокруг все спокойно и ни души. Только потрескивает дерево в горящих зданиях, выбрасывая иногда сноп искр.

Ну, думаю, драпану я теперь по протоптанной тропинке, она вилась между кучами кирпича и зданиями. Но только завернул за угол — прямо напоролся на автоматчика. Он мне: — "Стой, стерва!" — Поднял я руки. Повел он меня в штаб. А там какие-то чины снуют. Все веселые, подвыпившие. Войне-то конец! Непривычно только видеть их погоны. Невольно думаю: "Какие же мне положены за два кубаря?"

Ввели меня к какому-то типу. Я как на штык напоролся на его немигающий взгляд. Спрашивает: — "Ты кто?" — А я еще по пути в штаб состроил французскую фразу. Говорю: — "Франсе!" — И тыкаю себя пальцем в грудь: — "Же парль па рюс!" — мол, не говорю по-русски! Мотнул тип головой и говорит: — "Ты, ж...а, власовец! По морде вижу!"

Ну, дурил я их дней десять, пока не прибыл переводчик, тот меня сразу на чистую воду вывел. Но тут я роль переменил. Стал подыгрывать под колхозную темноту, такого чокнутого откровенного парня: — "Что же, — говорю, — чистил у немцев картошку, не подыхать же от голода в лагере!" — Службу у немцев пришлось признать — брюки подвели!

Следствие было коротким: два раза в зубы — так, для смеху! Не до того им было, чтобы мне настоящую кузькину мать показать. Ликовали. Улов был большой.

Дали мне пять лет дальних лагерей — и то подвезло. Наспех таки — посчитали за рабоче-крестьянскую мелкоту. Солдатам, захваченным с оружием, и офицерам — лепили десятку.

Ну, собрали нас человек двадцать. Кто в гражданском, кто в военном. Охранниками приставили четырех конвоиров. Мордастые. Хоть и по тылам воевали, но, вижу, опытные и с автоматами. Когда уходили, вышел их начальник и напутствовал нас: — "Это, — говорит, — срок вам на дорогу, а на родине довесок получите, нам не жалко! — и захохотал: — А ты, — крикнул сержанту, — количество соблюди: не хватит — сам в строй станешь!"

Тут на этапе я и встретил Андрея. Мы с ним сразу стакнулись. Он у Власова был. Порешили, на штык попрем, а под их собачьей властью не будем!

Спросил я как-то конвоира — куда гонят? А он: — "Не твое, гнида, дело, если дойдешь — узнаешь!" — А мы так предполагали, что до какого-нибудь города доведут, а там — в вагон и в Сибирь. Через неделю мы уже были в Польше. В день километров 25-30 отмахивали. Два конвоира обычно шли по бокам колонны, а двое других ехало на подводе сзади. На ночь в селах они выбирали подвал или сарай и запирали нас там. Паек давали сухой, сухари, немного пшеницы или ржи, селедку. По дороге нам разрешалось собирать щепки, ветки, дощечки, чтобы развести костер и сварить зерно. Я становился в первой шеренге, все на что-то надеялся.

Поляки встречали враждебно. Молча стояли у дороги и плевали нам под ноги. Но было и иное. Какая-то женщина, увидя нас, побежала домой и после долго, выбиваясь из сил, догоняла. Догнала. В руке у нее был кусок хлеба. Покрыл ее конвоир матом. Так она и осталась стоять с протянутой рукой, глядя нам вслед!

Вот, кажется на девятые сутки, идем мы по пыльной дороге. Жарко. Притомились даже конвоиры. Нес я в руках две дощечки. Вдруг вижу — у края дороги в пыли высовывается большой слегка согнутый гвоздь, с ладонь величиной. Такие четырехгранные гвозди отковывают деревенские кузнецы для телег или тачанок. Упал я на колено, будто споткнулся и подхватил этот гвоздь. Иду, а от гвоздя в меня как будто силы вливаются!

Вечером с Андреем все обсудили. Будем подрывать стену, как только попадется подходящий сарай. Для того, чтобы рядом никто

не ложился, стал я ночью метаться да мычать, будто меня дурные сны давят. Ну, все так и стараются от меня подальше пристроиться.

Ждали мы недолго. В одном селе заперли нас в сарай. Перед тем мы все хорошенько обозрели вокруг. Сарай был из глины, смешанной с соломой. Стены толстые, да ничего не поделаешь! Легли в углу, напротив от двери, где часовой стоял. Ждем, пока все уснут. Свои сердца слушаем. Руки чешутся начать работу. Достал я гвоздь. Чтобы шума было поменьше, мы сначала сверлили дыру, а затем откалывали пласт. Долбали у самого пола. Если не успеем — всегда дыру можно соломой прикрыть. Менялись. К полночи заметили, что дело движется. Еще через два часа дыра была почти на всю глубину стены. Руки были растерты до крови, но мы уже ничего не замечали. Последний раз прислушались, не ходит ли часовой позади сарая, и начали выдавливать оставшийся тонкий слой глины руками. Первым полез Андрей, а за ним я. Изнутри дыру прикрыл соломой, чтобы не сразу заметили наш побег. Поползли к забору. Все было тихо вокруг, даже собаки не лаяли. Перелезли и побежали по полю в направлении леса слева. Спрятались на опушке, так, в километре от деревни. Рассвело. Думаем: сейчас построят и начнут считать. Но пока никого не заметно. Вдруг видим, появились две фигуры. Побежали в разные стороны, затем сбежались, и слышим — автоматные очереди. Мы сразу догадались, что они показуху устраивают. Симулируют наш расстрел.

Конечно, жалко было, что мы подвели других. Теперь конвоиры на них злобу вымещать будут. Но, что поделаешь, запишем и этот грех на себя.

Ну, дальше малоинтересно. Как и вы, шли мы ночами. Прятались днем. Главная угроза была от детей. В Германии идти было легче, да и расстояния между населенными пунктами были поменьше, а главное — пропитание доставали в огородах возле селений. Много попадалось разбитых деревень, где прятаться было легко. Попали в английскую зону. Сначала искали лагеря, где бы пристроиться, но, дойдя до Трира, увидели объявление о наборе в Легион. От одного русского, сбежавшего в Марселе и пробиравшегося назад, к знакомому немцу, узнали, что советчики вылавливают всех русских в Марселе”.

Михаил кончил. Мы долго сидели молча.

Потом заговорил Андрей-власовец, с давно накопившейся горечью: — ”Да, союзники нам лепят ярлык коллаборантов и охотятся за нами, как за дикими зверями! Не хотят понять, что мы боролись за свободу России, а может быть и всего мира. Только мы! И у нас не было выбора в союзниках. Нас преследуют те, кто сам пошел на коллаборацию с тираном покрупнее Гитлера. Забрали Польшу у Гитлера и отдали ее Сталину, и это имея в кармане атомную бомбу!

Как же все это понять и объяснить? Скажу вам, что дурят они народ, объясняя все подлостью Сталина и своей наивностью. Они знали, что делали. Берегли кровь своих солдат и меняли свободу чужих государств на русскую кровь! А зачем русскому народу Польша и другие страны? Они нужны коммунистам, чтобы надеть ярмо на всю Европу! Торговали — веселились, подсчитали — прослезились!

Вот против всех этих сил и встал Власов!

А наша задача сказать правду русскому народу, что нет у него союзников на Западе, чтобы впредь не заблуждался, как мы до войны: "Европа-де знает, как мы страдаем, Европа нам поможет!" Никто нам, кроме нас самих, не поможет!"

Условия жизни в лагере легионеров были несравнимы со всеми другими лагерями, в которых мне приходилось бывать. Кормили отлично. В воскресенье и на праздники полагался черпак белого вина. Муштровкой пока не утруждали. Песен не пели: неизвестно какие петь. Кое-кто ходил в солдатские дома терпимости. Развлекались еще страданиями часового у входа в лагерь, где висел французский флаг. Каждый проходивший мимо флага должен был отдать честь знамени: военный козырял, а гражданский снимал головной убор. Улица была довольно оживленная, проходившие мимо немцы норовили шляпы не снять. Они брались рукой за край головного убора и ускоряли шаг. Немцы французов не считали победителями Германии, не боялись и не уважали. Экспансивный француз-часовой метал громы и молнии, угрожал винтовкой, пытался бежать за нарушителем приказа, но, как известно, поста покидать не велено. Через час часовой совершенно выдыхался, начинал спотыкаться и из груди у него вырывался только хрип.

Ко всем моим болячкам прибавилась еще и малярия. Где я ее мог подхватить — не могу себе представить. Ровно в 12 часов меня начинало трясти как осиновый лист. Полчаса помаюсь, потом отпускает. Отпросился я к доктору в город. Доктор сразу же положил меня на операционный стол. Под наркозом вырезали дикое мясо на левой руке. От малярии дали желтые таблетки.

Решили мы с Григорием из Легиона уходить. Можно это было сделать как законным, так и незаконным путем: просто перелезть через проволоку позади нашего барака и исчезнуть. Сначала я попытался уйти законным путем. Ближайшим нашим начальником был тот самый сержант, который нас привез из Трира. С ним происходили метаморфозы. В подвыпившем состоянии, которое выпадало довольно часто, это был душа-человек. Но в трезвом он был придирчив и зол. В одно из его лучших настроений я пошел к нему просить уволить меня из Легиона по болезни. Сержант очень смеялся, узнав, что у меня малярия. Порядочные легионеры возвращаются из Индо-Китая с малярией, а этот заболел, еще не доехав. Кончив смеяться, сержант сказал: — "Я добрый человек, так

и быть, иди в контору, тебе выпишут увольнительную". — Но я продолжал: — "Я знаю, что ты добрый человек, отпусти и моего товарища. Видишь, я совсем болен и за мной некому смотреть!" — Сержант потер щеку и махнул рукой. В канцелярии нам выписали справки об увольнении. После этого мы с Григорием отправились прощаться с земляками. Михаил обещал написать письмо из Франции о своих там похождениях. Слово свое он сдержал. Я просил чеха позаботиться о наших друзьях, тот также свое слово "сдержал".

Когда собирали вещи, я обнаружил, что меня обокрали. Забрали несколько пачек хорошего французского табаку, который выдавался в Легионе. Табак в то время представлял большую ценность. Я прятал пачки под матрас. Григорий был осторожнее, он носил табак с собой.

18. СНОВА В ЛАММЕРСДОРФЕ

По выписанной увольнительной мы у немцев получили продукты на дорогу: по буханке хлеба и немного кровяной колбасы. В Ландау был польский лагерь, и мы прежде всего отправились туда попытать счастья. Но снова получили отказ. Я чувствовал себя очень плохо физически и морально и решил, что если мне станет хуже, то уйду в свой лес, чтобы не быть никому в тягость, и там окончу свои дни.

Обратная дорога в Ламмерсдорф не запечатлелась в моей памяти. Согласно кратким записям в дневнике, из Ландау мы ехали железной дорогой через Майнц, Кобленц, Кельн. В Ахене сели на автобус и приехали в Ламмерсдорф. Деньги на проезд выручили, продав одну пачку табаку.

В деревню мы прибыли 22 ноября, пропутешествовав только три недели. Поселились на старом месте. Плохо было то, что Евгений сообщил о нашем уходе в Легион и нас сняли с учета. А это теперь означало несколько недель без продуктовых карточек. На поляка мы даром грешили. Никому он на нас не донес и никто не приезжал нас искать.

Я все еще чувствовал себя очень плохо. По-прежнему болели руки. Малейшая царапина вела к нарывам. Но приступы малярии, благодаря таблеткам, становились все слабее. Подрабатывали мы с Григорием случайными работами у немцев. Я пилил дрова. В свободное время, если позволяла погода, уходил в лес. Но там уже побывали немцы и редко попадались полезные вещи. Оружия, впрочем, все еще было много и можно было забавляться стрельбой из всех родов винтовок.

Однажды я наткнулся на дом лесничего. В конце войны здесь стояли американцы. Библиотеку лесника они выбросили в сарай. Книги сильно пострадали от сырости, но все же я набрал целый

рюкзак исторических произведений. Попался мне и учебник английского языка. Кроме этих книг, немка, у которой я пилил дрова, давала читать книги из своей библиотеки. Длинными вечерами, при свете коптилки, я перечитал Гамсуна. Его тематика была во многом созвучна с нашей жизнью. Остальные книги, написанные в духе "национал-социалистического реализма", оказались невообразимой дрянью.

Распорядок дня у меня был таков: вставал я в 6 часов утра, затапливал печь, делал физзарядку, чтобы согреться, и садился учить английский язык, попивая эрза-чай или кофе. Григорий продолжал крепко спать. Разбудить его было не так легко. Помню, как в рабочей команде в Дене он проспал налет самолетов. Его разбудили мы, когда вернулись из бункера в простреленный пулеметной очередью барак.

Свободного времени у меня было достаточно, и я решил, по примеру нашего хозяина Зиберца, заняться рисованием. Хозяин любезно поделился красками, дал также вареного масла и пресованного картона, заменявшего полотно. Рисовал я цветы и ландшафты. Сначала дело шло медленно, но постепенно я набил руку. Таланта у меня особого не было и картины были любительские, как и у Зиберца. Но местные крестьяне картины покупали. За картину я обычно получал фунт масла, а то и просто что дадут. Помню даже, содрал с Евгения 70 марок за цветы. Он мне после припоминал мою алчность. Постепенно рынок сбыта картин расширился и стал включать бельгийских солдат. Еще до нашего поселения в деревне англичане передали часть пограничной с Бельгией территории бельгийцам. Образовалась бельгийская оккупационная зона. В крупных селениях стояли небольшие бельгийские гарнизоны. Григорий отправлялся в деревню, где стоял гарнизон и, дождавшись вечера, шел к солдатам продавать картины. Дело в том, что при свете фонарика, в полутьмоте, картина очень выигрышала и бельгийцы брали картины охотно. Платили по фунту кофе, а иногда и больше. Однако во второй раз в этом селении появляться не рекомендовалось...

На местном рынке фунт кофе в зернах равнялся фунту масла или же бутылке водки-самогонки. В городах соотношение было несколько иным. Нам было нелегко понять, почему немцы, даже в эти трудные времена, не могут обойтись без настоящего кофе, но это их национальная особенность.

Немецкое Рождество встретили тоскливо. В праздники, как никогда, досаждают думы о родных. В Сочельник кто-то оставил у наших дверей кулек с пряниками. Впрочем, я знаю кто. Это сестра Зиберца — старая дева. С ее лица не сходит заговорщицкое выражение, и я сердечно благодарю ее. На Новый год ветер рвет и хлопает полуоторванной ставней. Снова одолевают грустные мысли. В 12 часов за селом стрельба. Стреляет Доменик из своей

винтовки. Немцы оружия боятся. Им за хранение положена суровая кара вплоть до расстрела.

Зима в 1945-46 выдалась теплая. Топлива у нас нет, но мы потихоньку ломаем сарай Зиберца. Сарай скоро завалится. В конце января снова приезжает поляк, так напугавший нас недавно. Зовут его Николай. У него связь с местной немкой, но ночует он у нас, и мы даже становимся приятелями. В конце концов, поляк, напившись и вспомнив старые обиды, избивает бургомистра и бесследно исчезает с нашего горизонта.

Евгений и Доменик закончили конструкцию самогонного аппарата и гонят водку из бураков. Водка крепкая, но вонючая. В водочную компанию вступает Григорий, и у нас появляется запас спиртного. Водку иногда удается менять на продукты, что является большим подспорьем для нашего стола. Водка также хорошее средство для поддержания духа и приема гостей.

Наш полуразрушенный дом привлекает внимание жителей деревни. По вечерам в единственном окне виден колеблющийся язычок копилки. Ночным прохожим вероятно немного жутко, они долго оглядываются на слабо освещенное окно.

С некоторыми жителями у нас устанавливаются вполне приятельские отношения. Большинство же поприсмотрелось к нам и проявляет полное равнодушие, кое-кто настроен враждебно. Лучше всего относятся бывшие нацисты, у которых рыльце в пушку. Наиболее частый гость — сынишка Зиберцев Ганс-Юрген. Чуть его оденут утром — он уже летит через улицу к нам и требует сказку. Воспринимает он русские сказочные персонажи иначе, чем русские дети. Я бы сказал, более реалистично. Нас посещают также вернувшиеся из плена солдаты. Их привлекает наше гостеприимство и конечно водка. Взаимопритяжение образуется на почве общих переживаний в плену. Теперь всем известно, что лучше всего было в американском плену на территории Соединенных Штатов, затем у англичан. У французов было тяжело и голодно. Англичане отпускали в первую очередь антифашистов и "перевоспитавшихся". Конечно, многие приспособлялись к требованию момента. Надо, впрочем, сказать, что немецкий солдат давно потерял нацистский дух, если он у него и был. Воевал солдат, и воевал хорошо, в конце войны только потому, что союзники дали Гитлеру в руки пропагандное оружие о предстоящем закабалении немцев, превращении Германии в аграрную страну и тому подобные прелести, объединившие народ с обанкротившейся нацистской властью и затянувшие войну, — политика, игравшая на руку как Гитлеру, так и Сталину.

В американских лагерях военнопленных на территории Германии условия жизни были значительно хуже, чем в лагерях в Америке. Пример: лагерь в Ремагене и ряд других.

К нам однажды зашел молодой солдат, выпущенный из лагеря в Ремагене. Пережив голод, он совершенно опустился. Когда я зачем-то вышел на минуту, он убежал, прихватив мою авторучку и топор. Пришлось его разыскивать. Топор я отнял, а ручка так и пропала.

Особенно памятная встреча произошла с вернувшимся из английского плена солдатом, родственником владельцев местной пекарни — Гюнтером. Он зашел к нам на огонек. После хорошей выпивки, как водится, расчувствовались и начали жаловаться на судьбу. Проводил я его домой за полночь. Выпивки он не забыл...

Солдат, отпущенных из советского плена, еще не было.

Судьба немецких солдат, не хотевших возвращаться в советскую зону, была на первых порах незавидна. Некоторые женились на местных женщинах, но были на правах украинских "примак-ов" времен войны. Другие шли в батраки. Это подводит меня к вопросу о наших успехах на женском фронте. Они были малы. Женского общества, несмотря на переизбыток женщин в деревнях, нам не хватало. Объяснялось это нашей бедностью и традиционным немецким отношением к иностранцам. Как известно, немецкие женщины весьма практичны, хотя и бывают исключения. Кроме того, о вкусах вообще трудно спорить.

Особенно страдали Григорий и Евгений. Они посещали все танцульки. Девушки охотно с ними танцевали. Григорий всегда отличался остроумием. Теперь, быстро научившись местному, довольно варварскому наречию, смешил женский пол до слез, рассказывая истории на "плат-дойч". Но дальше этого не шло, хотя намерения у обоих были самые благородные — жениться и осесть в Германии. Первому повезло Евгению. Но было это уже в 1947. На одной из танцулек он познакомился с девицей из Ахена, из хорошей семьи. Звали ее Бэтти. Ее жених, как она утверждала, погиб на фронте. Красавицей ее нельзя было назвать, но молодость многое скрашивает. Кроме того, у Бэтти оказался ангельский характер. Роман закончился женитьбой и переездом Евгения в Ахен. У меня, несмотря на дикую застенчивость, а может быть именно потому, была возможность остаться в деревне. Но настроения были чемоданные. Казалось, что Ламмерсдорф — только полустанок на жизненном пути.

На кладбище при церкви похоронены два русских "остарбай-тера". Но не вместе с немцами, а отдельно, у забора. Могилки ухоженные. На праздники кто-то кладет несколько свежих цветочков. На белых крестах надписи. "Генри Марныков (?). Умер 50 лет от роду от какой-то болезни". "Мария Роденко (Руденко?). Погибла при бомбежке". Почему бы репатриационным офицерам, несколько лет околавывавшимся в Германии, не собрать имена погибших и не сообщить родным? Это очередное непростительное преступление власти перед народом. Теперь уже поздно, могилы уничтожены, а останки перенесены в общую могилу, чтобы освободить место для

нового пополнения. Для сравнения вспомним, сколько усилий предпринимают Соединенные Штаты для нахождения останков своих солдат, погибших во Вьетнаме.

О событиях в мире мы узнавали из газет. Вначале, еще в конце 1945, мы получали две ахенские газеты. Они стоили буквально копейки. Но затем нам одну срезали. Оставшиеся "Ахенские Известия" давали достаточную информацию о мировых событиях и местной жизни, чтобы не чувствовать себя совершенно отрезанными от всех и вся. Долгое время мы были уверены, что в Германии не осталось русских людей за исключением нас и, может быть, немногих других. Казалось, что репатриационные миссии всех выловили. Но в середине 1946 мы поехали в Кельн. Каково было наше удивление, когда в газетном киоске обнаружили журнал "Посев". С тех пор мы стали его регулярными подписчиками. У нас глаза открылись на существование в Германии многочисленных и многолюдных лагерей невозвращенцев — "дипистов" — в Мюнхене, в Гамбурге, в Ганновере и других местах.

В апреле 1946 мы попытались найти работу через "Бюро работ" (Арбайтсамт) в районном городке Моншау. Нам повезло, мы получили направление на работу в самом Ламмерсдорфе. Открывалась фирма по вырубке леса, шедшего в счет репараций в Бельгию. Мы немедленно записались у подрядчика Йозефа Штолленберга — мужика хитрого и оборотистого. Так снова пригодилась пленная профессия.

Большие трудности у нас возникли с инструментом — топорами и пилами. Только ценою больших усилий и постепенно удалось все приобрести, включая необходимые для больших расстояний велосипеды. Работал я в паре с Евгением. Григорий наотрез отказался иметь с ним дело из-за его неопытности и малосильности. Платили нам сдельно за кубометр. В день мы валили около 20 елок, что составляло примерно 5-7 кубометров. Деревья надо было не только свалить, но обрубить ветви и очистить от коры. Один день в неделю посвящали погрузке леса на машины. Работали неравномерно. Иногда так увлекались рассказами, что бросали работу и целый день проводили у огня. К концу недели уставали и еле тащили ноги. Кроме тяжелой работы сказывалась малокалорийность питания.

Платили нам немецкими марками, имевшими малую ценность, иногда бельгийскими франками и "промтоварами" — велосипедными шинами, покрышками и другим дефицитным товаром. Кроме этого, мы стали ожидать продуктовые карточки, положенные сверхтяжело работающим (около 2300 калорий в день). Постепенно наше питание стало улучшаться. Приходя домой, я начинал варить суп, обычно из овсянки с картошкой, на обед, а также на следующий день на работу. Хлеба было мало, его хватало только на бутерброды на работу.

Однажды сестра Зиберца подарила нам черного котенка. Это было очень забавное и милое существо. Котенок дожидался нас в

кухне, через которую был вход в нашу комнату, и встречал нас громким мяуканьем. Он был голоден. Чтобы не получить шлепка, он забивался под стол и оттуда подавал голос, пока варился суп. Котенку полагалась первая мисочка супа, съедаемая им с жадностью. Наевшись, лез на колени, мурлыкал и играл. Сколько радости и теплоты может дать вот такое малое существо! Как-то позже, уже став почти взрослым котом, он съел отравленную мышь и тяжело заболел. Целую неделю его не было. Однажды вечером мы услышали слабое мяуканье под дверью. Это был наш котенок. Задние ноги его были парализованы. Он приполз умирать. Никогда не забуду его взгляда, обращенного ко мне.

Для Германии зима 1945-46 была очень тяжелой. Не хватало продуктов. Но никто с голоду не умер. В деревне, конечно, голода не чувствовалось. Немцы, во всяком случае в нашей и окружающих деревнях, быстро возвращались к своим старым обычаям, нарушенным поражением. Уже осенью 1946 каждая деревня устраивала традиционный праздник "Кермес", продолжавшийся две недели. Для детей ставились качели и устраивались игры. Взрослые танцевали, пели, пили пиво, рассказывали очень смешные истории и просто веселились. Для нас Кермес оказался также большим развлечением. Григорий и Евгений посещали празднества и в соседних деревнях. Надо отдать немцам справедливость — веселиться они умеют!

С другой стороны, меня возмущало отношение к деревенским дурачкам. В Ламмерсдорфе был такой. Он ходил в потрепанной унтер-офицерской форме. Вся его грудь была украшена орденами и бляшками. Даже взрослым доставляло большое удовольствие сделать этому несчастному пакость. При этом они заливались смехом. Русские, хотя и безалаберные, более сердечный и открытый народ.

Мы открыли, что в ближайшей деревне Паустенбахе живет русская женщина, замужем за немцем. Звали ее Тоня, по мужу Германнс. Она была из Харькова. Тоня и ее муж Грегор иногда в воскресенье, ради приличия, ходили в церковь. Это была удивительно красивая пара, обращавшая на себя всеобщее внимание. Она — шатенка со слегка вьющимися волосами. Он — тип белокурого арийца. Мы познакомились с ними ближе, когда эта чета зашла к нам посмотреть картины.

История замужества Тони очень необычна. Грегор — немецкий военный летчик, познакомился с Тоней в 1942 г. в Харькове. Любовь была взаимной. Разрешение жениться пришлось получать через Геринга у самого фюрера. После занятия Харькова советскими войсками зимой 1943 Тоня с сотней других "коллаборантов" была арестована. Когда ее уже вели в тюрьму или на расстрел — навстречу попался ее одноклассник по десятилетке, работавший следователем в НКВД. Он ее и спас. Вскоре немцы отбили Харьков, и вся семья

уехала в Германию. При капитуляции Германии семья выдавала Грегора за сына. Так он избежал плена. Достав лошадей и подводу, семья, со многими приключениями, проехав всю Германию, прибыла в родную деревню Грегора. Грегор вместе с сестрой Иоганной владели небольшим хозяйством. Все мечты Грегора, однако, были обращены на авиацию.

Тоня — дама не только интересная, но и бойкая. Она вошла в чужую немецкую семью, как в свой дом. Ее злого язычка побаивались не только родственники, но и соседи.

Отец и мать Тони уже при нас благополучно вернулись домой, и Тоня переписывалась с ними. Через Тоню я первый раз послал письмо домой и месяца через два получил ответ. О том, что я жив, родные узнали от кого-то из товарищей, бывших со мною в лесу. Им мог быть только Григорий. Он также написал родным, как в лесу я спасал товарищей, что, конечно, чистая фантазия. Но я навек буду благодарен Григорию за все.

Брат Тони, военный врач, был в плену в восточной части Германии. После освобождения лагеря советскими войсками следы брата затерялись.

С Тоней, Грегором и маленьким их сынишкой Зигфридом мы познакомились совсем близко, когда переехали из дома Зиберца на квартиру, недалеко от дома Германнсов.

28 октября 1946, после долгих и мучительных колебаний, уехал домой Доменик. Мы устроили большие проводы. Жаль было расставаться с человеком, сделавшим столько добра нам! Доменик обещал написать нам из Польши. Но так и не собрался. Пришла только открытка из Гамбурга. Думаю, что он просто окупился с головой в новую жизнь и резко порвал с прошлым.

Вскоре после отъезда Доменика пришло подробное письмо от Михаила, а затем каждый из нас получил от него по фунту сала. Писал он из Парижа. Не одинаково отвечает судьба испытания людям. Жизнь Михаила на новом этапе складывалась так же нелегко, как и в прошлом.

Как и предполагалось, два друга прыгнули на ходу из поезда, не доезжая Марселя. Но перед этим их обокрал тот самый чех-переводчик, которого я просил позаботиться о друзьях. Во Франции попали наши земляки из огня да в полымя. После войны советчики там распоясались еще больше, чем в Германии. Все же друзьям удалось благополучно добраться до своей цели — русской церкви в Париже. Там их взяли к себе добрые люди из старых эмигрантов. Михаил оказался в семье эмигранта с громкой фамилией. Жил он в каморке возле кухни. Ночью иногда пробирался во двор, а оттуда на улицу. Так прожил месяц. Дальше передаю словами Михаила: "И сейчас не могу себе представить, как советчики выследили меня. Вышел я в ту ночь, как и раньше, на улицу размять ноги и поглядеть на ночной город. Вдруг, из-за угла дома, выскакивают две черные

фигуры. Один сует мне в бок дуло пистолета, а другой заламывает руки. Но счастливая звезда меня не покинула. Дальше все происходило, как в фильме. Появились два жандарма. Моментально сообразили, что происходит. Обезоружили советчиков и повели всех в жандармерию, а оттуда еще куда-то, вероятно, в контрразведку. Там выяснилось то, что знал и сам, — нападавшие были советские офицеры-смершевы. Меня посадили в камеру, а смершевцев отпустили.

На следующее утро состоялся допрос. Допрашивали смершевы в присутствии французского офицера и переводчика. Тут на меня вдруг напали усталость и безразличие. Решил я перед этой дрянью не оправдываться и не врать.

Смершевец спрашивает, как звать? — Я сказал.

— Был ли в немецкой армии?

— Да, был! Вступил добровольно и прошел с немцами путь от Белоруссии до Москвы и обратно. В чинах не продвинулся, но награды имел!

— Значит, против своих воевал?

— Да, воевал! Но ты забыл меня спросить, почему я пошел в немецкую армию. Я тебе сам скажу!

Смершевец как закричит:

— Прекратить агитацию!

Но тут вмешался француз и говорит:

— Дайте ему сказать, пусть оправдывается!

Хотел я его поправить, что не оправдываться хочу, а обвинять, но пропустил. Говорю смершевцу:

— Может, ты припомнишь, что твоя власть сделала с крестьянами? Считал ли ты, сколько миллионов вы загнали на тот свет ни в чем не повинных людей? А что вы сделали с церковью? Сколько пролили невинной народной крови? Умылись вы кровью. Посмотри, гад, на свои руки. Ты говоришь, я стрелял в своих. Да, стрелял! Но как я мог достать тебя, когда ты прятался за спинами солдат по заградительным отрядам?

И тут первый раз в жизни случилась со мною падучая. Не помню, что было потом. Пришел я в себя в камере. Ну, думаю, теперь мне конец! Попросил я стражника привести ко мне православного священника. Привели. Говорю ему: "Благословите на смертоубийство и отпустите грехи!" Посмотрел мне в глаза священник и ничего не сказал. Исповедал и причастил.

Решил я, что когда придут меня забирать, вцеплюсь одному в горло, да так отойдем вместе. Одним гадом в России меньше будет!

Но прошел день, другой. На третий день является тот французский офицер, что присутствовал при допросе, и говорит на чистом русском языке: "Нет вашей вины перед Францией. За нелегальный переход границы отсидите месяц в тюрьме. После получите документы и можете оставаться во Франции!"

У меня даже дух перехватило. Какой оборот дела! Поблагодарил я офицера. Пожал он мне руку и ушел.

Отсидел я в тюрьме месяц, вышел и устроился работать водопроводчиком. Собираюсь жениться, пока еще не все волосы вылезли. Через месяца два уезжаю в Аргентину”.

На этом письме связь с Михаилом и оборвалась.

Зима 1946-47 была суровой, снежной, не в пример прошлой. На работу из-за заносов не ходили несколько недель. Рисовал картины, которые скупали, несмотря на мои предупреждения об их малой ценности, Грегор и его сестра Иоганна.

Водочный аппарат после отъезда Доменика переключал к нам в подвал, и водки поприбавилось, благодаря заботам Григория.

Весной 1947 я решил посетить редакцию ”Посева”. Посоветоваться и узнать, каково наше правовое положение. Редакция находилась в хорошо мне знакомом по плену городе Лимбурге. Но по адресу, указанному в ”Посеве”, разыскать помещение было невозможно. Редакция замаскировалась. Тогда я стал на улице и начал спрашивать прохожих. Одна женщина указала дом и этаж...

В редакции все переполошились и встретили меня с большим недоверием. Время было тяжелое для всех русских, тем более активных антикоммунистов. Познакомились. Пошел я в ресторан с представительным господином по фамилии Ольгович. Долго беседовали. Возможностей для меня никаких не предвиделось. Вся организация НТС переживала трудные времена. Я спросил — известно ли им, что в Лимбурге был большой лагерь советских военнопленных? Они знали. Но о судьбе переводчика ничего не могли сообщить. Познакомили меня и с легендарным Околовичем, ходившим еще до войны через границу в Советский Союз.

В редакции передали мне слухи о том, что Жукова сняли за дружбу с Власовым и что он будто бы готовил переворот. Подобными слухами тогда земля полнилась.

22 июля мы перебрались на новое место жительства. Зиберцы решили начать строительство дома и ”гешефта”. Домик мы сняли на отлете, за деревней, у ручья под названием ”Геппенбах”, или на местном наречии — ”Гепшела”, что в переводе означает ”Жабий ручей”. Кроме нашего, у ручья стоял еще один домик, такой же бедный. Там жила странная семья — женщина по имени Франциска с незаконнорожденным сыном и не совсем нормальным братом. Черных, недобрых глаз Франциски побаивались в деревне...

Возле нашего домика росли две огромных ели, а наискось, через двор, шли надолбы линии Зигфрида. К домику примыкал сарай, в котором жила хозяйская рыжая корова. В особой загородке находился огород. Летом это было чудесное место. Но зимой Геппелу, расположенную в низине, по пояс заносило снегом и выбраться

даже в магазин не было никакой возможности. Но здесь, вдали от чужих взглядов, нам было гораздо лучше и спокойней.

Устроились мы по-царски. В домике было три небольших комнатки, и у каждого теперь была не только отдельная кровать, но и помещение. В средней комнате мы устроили кухню и поставили купленную по случаю настоящую плитку, даже с духовкой. Мне досталось светлое помещение с двумя окошками, удобное для рисования. Вся эта роскошь стоила только 100 марок в месяц.

В гости к нам иногда приходил хозяин. Жил он в Паустенбахе. Вырывался от сварливой жены под предлогом ухода за коровой. Скуп и вдумчиво рассуждал о погоде и хозяйстве. На жену никогда не жаловался. У меня в то время была страсть мыть свои два окна. Они всегда были прозрачны как воздух. Хозяин сидел на стуле, курил трубку, и его разбирало непреодолимое любопытство — убедиться, есть ли в раме стекло или оно выбито? Не выдержав, подходил к окну и тыкал пальцем. Затем прощался и уходил.

За одну из картин я получил от Иоганны фунт масла, молодого петушка и котенка. Петушок сразу же подружился с коровой и водил ее по утрам пастись к надолбам. Петух удивлялся несообразительности коровы, когда она не шла на его зов. Спали корова и петух вместе в сарае. Но скоро о петухе проведала лиса из соседнего леса. Один раз, услышав страшный крик петуха, я его спас, прогнав большую лисицу. Но лиса нас все же перехитрила, и от бедного петушка я нашел только перья. Корова очень скучала по суетливому петушку. Надрывно мычала. Звала!

Котенок вырос и оказался привязчивым и благодарным существом. Питался он полевыми мышами, притом не забывал и нас. Бывало, принесет мышонка, положит посреди комнаты и отойдет в сторону с таким видом, как будто говорит: "Ешьте, это для вас, мне не жалко!"

В октябре отпраздновали свадьбу Евгения и Бэтти. Евгений переехал в Ахен. Он нашел разбитый дом, с разрешения хозяина отремонтировал маленькую квартирку на четвертом этаже и поселился там. Устроился на работу. Германия начала подниматься на ноги, и строительство развертывалось во все растущих масштабах. Работа у Евгения была тяжелая. Он штукатурил стены и потолки. Иногда целый день стоял с тяжелым грузом на руках и с поднятым кверху лицом. Позже у него получилось искривление позвоночника.

Евгений и Бэтти очень подошли друг к другу и были абсолютно счастливы в своей тесной квартирке. Не раз Бэтти спрашивала меня: "А правда Ойген очень хороший человек?" Я подтверждал. Бэтти для Евгения была смыслом жизни. Одно его мучило, что он не в состоянии так обеспечить ее, как обеспечивает ее сестру куда более богатый муж-чиновник.

Бэтти умерла в 1978 году от последствий повреждения челюсти при вырывании зуба. Евгений пережил ее на две недели. Он начал пить, чтобы забыться, и когда водка перестала помогать, стал принимать снотворные пилюли. Сердце не выдержало... Похоронены Бэтти и Евгений вместе на городском кладбище, на заранее выбранном ими месте.

Не упомянутой деятельностью некоторых жителей деревни было занятие контрабандой, по местному "шмугелем". Местность на юг от Ахена покрыта густым лесом, пересеченным многими ручьями и вкраплениями болотистых лужков. Некоторые участки были почти непроходимы. Это был тот самый Гюрткенский лес, так напугавший американских солдат. Природа создала идеальные условия для контрабанды, процветавшей здесь с незапамятных времен. Недаром это пограничье издавна носит название "дыры на западе".

В тяжелое послевоенное время шмугель быстро расцвел. Через границу шли наркотики, бриллианты и другие ценные предметы. Но особый размах и значение получила контрабанда натуральным кофе в зернах, так обожаемым немцами и имевшимся в избытке в Бельгии.

Занятие контрабандой, даже таким невинным товаром как кофе, не было безопасным делом. Шмуглеров в густых лесах и на лужайках подстерегали отдельные мины и целые минные поля. Бельгийцы не спешили с разминированием. Но главную опасность представляли не мины и природа, а организованная английскими оккупационными войсками пограничная охрана, состоявшая из вооруженных винтовками немцев. Пограничники имели право стрелять по шмуглерам с предупреждением, а на практике стреляли и без него. За время нашего пребывания в деревне было убито несколько человек. Когда пограничники застрелили только что вернувшегося из плена солдата, собиравшего средства на ремонт разрушенного дома, даже законопослушные немцы взбунтовались и осадили дом, где жили пограничники. Пришлось бельгийцам пограничников выручать.

На бельгийской стороне охраны практически не существовало. Время от времени жандармы и пограничники устраивали облавы по ближайшим к границе деревням, где шмуглеры покупали кофе. Ловили десятки неудачников. Потом на некоторое время снова наступало затишье.

Немецким пограничникам также иногда было несладко. Дело в том, что через границу ходили в одиночку и группами. Группы были большей частью невооруженные, но были и вооруженные. Винтовочные выстрелы и автоматные очереди нередко доносились со стороны близкой границы. Жертвами перестрелки бывали обе стороны.

Бельгийцы в обмен на кофе брали все ценные вещи, но предпочитали франки. Пойманному с франками шмуглеру грозила

добавочная кара за перенос через границу валюты. Всех задержанных с личным шмуглеров отправляли в тюрьму в Ахен. Из тюрьмы, через несколько дней, препровождали на суд. Сроки давали примерно от трех недель до трех месяцев. Рецидивисты и пойманные в групповом переходе границы получали до шести месяцев. Судили два английских чиновника. Один был построже, другой добрее. На голодный желудок судьи склонны были увеличивать наказание. Но решающее значение имела легенда. Сердца судей неизменно трогала история со включением женитьбы: человек собрался жениться, а денег нет даже на цветы невесте! Изобретались и другие успешные сказки, продававшиеся тюремными старожилками новичкам. Иностранцы, как правило, получали немного урезанные сроки, по-видимому из-за бедности.

Мы от участия в шмугле воздерживались, боялись попасть в руки английских властей и быть переданными Советам. Но когда в конце 1946 ловля невозвращенцев ослабела, а в 1947 разбойничьи гнезда советского шпионажа были ликвидированы — путь для нас был открыт.

Нам привелось ходить через границу как в одиночку, так и в составе невооруженной группы. Дорогу в Бельгию проложил Григорий еще зимой 46, когда нас послали рубить лес около большого селения Лосгейм, о котором речь уже была выше. Десять человек лесорубов спали и столовались в частном доме. За нами ухаживали в прямом и переносном смысле три женщины, варившие прекрасные обеды.

Деревня очень пострадала от военных действий. Обитатели практически жили на снарядах, минах и бомбах. Время от времени деревню потрясали взрывы, уносившие все новые жертвы. Лосгейм стоит на самой границе. На той стороне, километрах в двух расположена бельгийская деревня. Григорий, разузнав у местных жителей дорогу и магазинчик, решил выменять несколько фунтов кофе на подобранные в лесу латунные снарядные гильзы. Я ему очень не советовал рисковать: местность незнакомая, минированная, магазинчик в темноте можно и не найти, да и снег, хотя и неглубокий, также не располагал к путешествию без дорог. Но решения у Григория всегда были твердыми. На самой границе он упал в окоп и рассыпал гильзы. На его счастье, шум не привлек пограничников.

Вернулся Григорий к полуночи, удачно. Его безрассудной смелости удивлялись даже местные жители. Второй раз Григорий пошел уже из нашей деревни в мае 1947. От нас до первой бельгийской деревни было километров пятнадцать. Но из-за пересеченной местности и обходов — приходилось идти целый день. У Григория путешествие заняло почти трое суток. Он принес 10 фунтов кофе, на которые смог на черном рынке купить материал и сшить дешевенький костюм. Больше чем на десять фунтов у него денег не хватило.

После Григория, разузнав у него дорогу и подсобрав франков, в том же месяце отправился в поход и я. Как и Григорий, я вернулся домой на третью ночь. Принес 15 фунтов кофе и несколько плиток шоколада. За этот товар я также купил себе дешевый коричневый костюм, очень долго служивший мне.

Как-то на улице в Ламмерсдорфе я встретил Гюнтера, с которым мы как-то выпивали, когда он вернулся из английского плена. Первые его слова были: — "Ты что, все еще работаешь в лесу?" — Я подтвердил. — "Приходи сегодня вечером ко мне, поговорим!" В назначенное время я был у Гюнтера. Он мне открыл, что организовал "банден-шмугель" (групповую контрабанду). Ежедневно, или даже чаще, он отправляет в ближайший бельгийский городок Ейпен десять человек. Каждый должен принести Гюнтеру 50 фунтов кофе. Деньгами снабжает сам хозяин. Если человек достаточно силен — разрешалось принести и себе кофе, сверх 50 фунтов, положенных хозяину. И еще одно условие: в случае поимки Гюнтера не выдавать. Он, со своей стороны, постарается выручить пострадавшего. В отношении пограничников беспокоиться не следует. Один из них подкупленный, и переход границы всегда происходит на его участке. Плата — немецкими деньгами. На предложение Гюнтера я сразу согласился, попросил только включить Григория.

В условленный день мы собрались в подвале Гюнтера. Все были молодые люди, ветераны всех фронтов. Ведущим был дальний родственник Гюнтера — красивый парень лет двадцати пяти. Хозяин каждому вручил, если память мне не изменяет, 2300 франков — плата за 50 фунтов кофе. Деньги тщательно прятались. Большей частью в резиновых сапогах. Отпарывалась внутренняя подкладка на голенище, и деньги вкладывались между подкладкой и резиной. Затем подкладка снова заклеивалась резиновым клеем.

Границу переходили поврозь. Вышли мы с Григорием вечером. У каждого из нас под пиджаком тело обмотано мешком и стянуто поясом. Границу перешли беспрепятственно. Даже не подкупленному пограничнику нас без товара задерживать нет смысла. Сам переход границы не считается даже проступком, так как у каждого из нас, живущих в приграничной зоне, есть справки, разрешающие ходить по самой границе. Как мы узнали впоследствии, у нашего хозяина были большие связи. В определенные дни недели через границу не ходили, так как в эти дни шла более крупная рыба — торговля драгоценными камнями и пр. Кто-то Гюнтера ставил в известность...

Рандеву было назначено у водопада, откуда начиналась тропинка, протоптанная шмуглерами. Скоро все собрались, и мы гуськом последовали за старшим. Каждый понимал, что наибольшей опасности подвергается именно он. Идущие сзади в случае засады имеют шансы скрыться. Старший прекрасно знает дорогу и предупреждает, чтобы при переходе минного поля шагали след в след. Идем

почти без остановки целую ночь. Под утро подходим к предместьям Ейпена. Здесь необходима двойная осторожность: часто выставлены полицейские посты. Долго лежим на лугу у проволоки. Старший куда-то уползает. Возвращается, и мы, пригнувшись, следуем за ним. Задворками пробираемся к хозяину магазина. Хозяин уже ждет нас. Собираемся в маленькой комнатке. На столе — бутылка коньяку и жареный на французский манер картофель. Пока мы отдыхаем и пьем коньяк, лавочник отвечает каждому кофе. Я беру еще несколько фунтов себе.

Кончив дела и расплатившись, мы уходим в сарай, в глубине двора, и ложимся спать на целый день.

Вечером начинаем собираться в обратный путь. Перевязываем мешок с кофе посередине, так, что образуются две как бы груши, которые затем вешаются на шею и свисают на грудь. Я удивляюсь, как это я не додумался до такого способа сам. Идти гораздо легче и руки свободны.

Выходим затемно. С грузом идем гораздо медленнее. Каждый час делаем привалы. Все же под утро — мы недалеко от границы. Днюем в густом леске. Кто спит, кто, разложив небольшой костер, греется. Наш старший рассказывает истории из жизни шмуگلеров: опасности, облавы, суд, тюрьма. Рассказывает интересно и со вкусом. Ночью переходим границу в месте, известном только старшему. За дорогой — темная фигура Гюнтера. Идем снова лесом. Немец рядом толкает под бок, указывая кивком головы в сторону, говорит: "Вон там сидит пограничник и считает нас. Ему положено десять процентов с каждого!" По задворкам пробираемся к дому Гюнтера. Расплачивается он деньгами или, по желанию, кофе. Не жадничает и не обманывает. Все радостны. Хозяин ставит бутылку коньяку. Выпив, все расходимся.

С бригадой Гюнтера мы еще раз ходили через границу, после этого он поставил нам ультиматум: постоянная работа или отказ. На этом мы и расстались. Стать профессиональными шмуглерами мы не были готовы.

Гюнтер разбогател и выстроил роскошный дом. За глаза его называли "шмуглер-кениг" — король контрабандистов.

В конце 1947 мы отправились в далекое путешествие — людей посмотреть и себя показать: навестить известные нам лагеря беженцев. На дорогу запаслись ценными подарками, открывавшими все двери, — хорошим бельгийским табаком и несколькими фунтами кофе.

Ближайший крупный лагерь "дипистов" находился недалеко от Кельна, в городке Браувайтер. В лагере жили поляки, но было немало и наших людей, частично замаскировавшихся под поляков. Лагерь был расположен на территории бывшего францисканского монастыря. Но беженцы жили в современной многоэтажной тюрьме, выстроенной тут же при Гитлере. Тюрьма никак не гармонировала

с монастырскими зданиями мавританского стиля. Все строения были обнесены высокой каменной стеной.

В лагере мы пробыли около недели, поселившись в пустой камере с железной дверью и решеткой на окне. Жить даже короткое время в таком помещении было неприятно.

Лагерь ди-пи в Браувайлере знаменит восстанием. Краткая история этого события такова. Английский комендант передал лагерь под надзор немецкой полиции. Случилось это, вероятно, из-за грабительских походов лагерников в окружающие деревни и недостатка собственно английского персонала. Но тем не менее, учитывая польско-немецкую вражду, комендант совершил непростительную ошибку. Полицейские нередко производили обыски в поисках украденной живности, при этом конфисковали даже плитки шоколада у детей. Когда особенно рьяный немец оставил польку на лагерном дворе и начал ее обыскивать, случилось неизбежное. Муж побежал за револьвером. Выстрел был фатальным и послужил сигналом к общему восстанию. Комендант бежал. Поляки подняли знамя над комендатурой, заперли ворота и начали готовиться к обороне: доставать запрятанное оружие и отковырывать пики из железных прутьев монастырской ограды. Осада продолжалась около недели. Комендант, боясь чуть ли не международных осложнений, — пошел на уступки. С тех пор доступ в лагерь был закрыт. За убийство никого не наказали.

Из Браувайлера мы поехали в известный украинский лагерь в Ганновере. Ехали той же дорогой, что и при репатриации два года тому назад. Разрушения все еще поражали своей грандиозностью. Но вокруг руин уже копошились люди, собирая строительный материал. Кое-где уже вырастали новые постройки. Германия вставала на ноги.

Лагерь в Ганновере, как и многие другие, помещался в бывших военных казармах. Население состояло из восточных украинцев, галичан и немногих русских. Главенствовали, несмотря на малочисленность, галичане. Частично это объясняется легальностью пребывания галичан в Западной Германии. Они, как бывшие польские подданные, репатриации не подлежали. Имела, вероятно, значение и симпатия англичан к западным украинцам. Так, в Англию, значительно раньше начала общей эмиграции, были вывезены солдаты и офицеры дивизии "Галиция".

Против русских да и своих братьев восточных украинцев в ганноверском лагере был организован планомерный террор. Говорить по-русски в лагере никак не рекомендовалось. К инакомыслящим, т.е. не самостийникам, нередко применялись методы физического воздействия. Велась грубая и лживая антирусская пропаганда, смысл которой был прост: "бей москаля!" Программа галичан строилась на обмане и ненависти. Этими средствами они хотели построить независимую Украину.

Героически сопротивлялся насилию престарелый генерал первой эмиграции. Имени его, к сожалению, я не помню. Генерал организовывал собрания, на которых читал лекции о роли монархии в истории России. Приходилось видеть, как он, опираясь на палочку, расклеивал свои объявления на стенах казарм. Сзади следовала группа мальчишек, тут же срывающих объявления. Когда генерал возвращался к себе, в спину его летели камни.

Но и здесь произошла революция. В один прекрасный день восставшие лагерники сорвали "жовто-блакитный прапор" и изгнали всю "управу".

В 1950 г. я провел в этом лагере два месяца, посещая курсы каменщиков. Условия жизни были отвратительными. Политически лагерь был расколот на многие фракции.

Из Ганновера мы поехали в Гамбург. Там первым долгом отправились в "Комитет Православных Беженцев", единственную в те времена организацию, защищавшую интересы русских людей. Надо сказать, что и она была на полуптичьих правах. Встретили нас сердечно. Показали художественную мастерскую рядом. Позже я был представителем этой организации в Эссене. Ночевали мы в русском лагере в предместье Гамбурга — Фишбеке. Здесь еще были живы страхи репатриации. При посещении советских офицеров лагерники бежали прятаться в лес.

Из нашей поездки мы вынесли убеждение, что как ни трудна самостоятельная жизнь "на приватке", она все же лучше лагерного существования.

Радикальные изменения принесла денежная реформа 19 июня 1948 года. Постепенно стал исчезать черный рынок. Германия быстро восстанавливалась. Все стремились найти работу.

В начале марта 1949 года закрылась фирма Штолленберга. Мы остались без работы. Прожив некоторое время на пособие по безработице и не найдя ничего подходящего, мы покинули Ламмерсдорф. Позже я устроился на фирму по ремонту и прокладке газопровода в Эссене. Бил киркой тротуар. Прораб по знакомству продвинул меня в кузнецы. После мешал бетон на строительстве электростанции под Кельном. Как ни тяжела была работа, я ни разу не пожалел, что не вернулся под власть Советов.

В 1950 году мы записались на эмиграцию в Австралию, предварительно сбросив польские одежды и став тем, чем были раньше, — советскими военнопленными.

Все это принадлежит уже другому периоду жизни.

Добавлю только, что летом 1977 года мы с женой посетили Айфель, Арбрюк, Ден и место в лесу, где мы прятались в конце войны. В нашем и других бараках жили теперь беженцы из Восточной Германии. Вдоль течения речушки Ден, глубоко в лесу, были

разбросаны цветные палатки курортников. Мы с женой с трудом взобрались по крутому склону к месту, где когда-то беглецы провели несколько месяцев. Крыша землянки провалилась. Вокруг стояли сухие ели — те, что мы посадили для маскировки. Валялось заржавленное ведро.

Я вспомнил всех товарищей. Что с ними? Живы ли? Затем сказал жене:

— Пойдем по дорожке, на ней должна лежать палка, указывающая место, где спрятана винтовка.

Действительно, палка лежала на месте. Винтовка немного заржавела. На память я взял один патрон.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Солженицын — Предисловие к воспоминаниям четырех советских военнопленных	5
---	---

Ф. Я. ЧЕРОН

НЕМЕЦКИЙ ПЛЕН И СОВЕТСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

1. Тимошенковский год	9
2. Война	18
3. Плен	30
4. В пересыльных лагерях	42
5. В рабочей команде	50
6. Ревир в Ошаце	55
7. Ревир в Мейсене	88
8. Полоса безвластия	97
9. Освобождение из плена	101
10. Репатриационные лагеря	111
11. Демонтаж немецких заводов и демонстражники	129
12. Побег из советской зоны в американскую	136

И. А. ЛУГИН

ПОЛГЛОТКА СВОБОДЫ

1. Харьковское окружение мая 1942	161
2. Плен. Путь в Германию	170
3. Рабочий лагерь во Франкентале	178
4. Лимбургский шталаг	181
5. Рабочий лагерь в Больхене	190
6. Побег	195
7. Лагерь в Фюрте	201
8. Лагерь в Дене	204
9. Второй побег	216
10. Приход американцев	234
11. Американский лагерь перемещенных лиц в Ахене	238
12. Репатриация	247
13. Фильтровочный лагерь в Премнице	251
14. Побег из советской зоны	254
15. В английской зоне. Поиски пристанища	260
16. В деревне Ламмерсдорф	265
17. В Иностранном Легионе	270
18. Снова в Ламмерсдорфе	278

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 15 AVRIL 1987
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 9878

Серия "Наше недавнее"

Вышли из печати:

1. Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии.
2. Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни.
3. О. А. Хрептович-Бутенева. Перелом (1939—1942).
4. А. В. Герасимов. На лезвии с террористами.
5. Кн. Е. Н. Сайн-Витгенштейн. Дневник (1914—1918).
6. Ф. Я. Черон. Немецкий плен и советское освобождение.
И. А. Лугин. Полглотка свободы.
7. П. Н. Палий. В немецком плену.
Н. В. Ващенко. Из жизни военнопленного.